

НОВЫЙ Журнал

162

THE NEW
REVIEW

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Г. Андреев, Л. Ржевский

Сорок пятый год издания

*РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ (главный редактор),
Ю. Д. КАШКАРОВ и Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРИ: О. РАДЫШ и З. ЮРЬЕВА*

NEW REVIEW. MARCH 1986

NEW REVIEW (ISSN 596680) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, NY 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Р. Гуль</i> — "Новому Журналу" 45 лет	стр. 5
<i>А. Штейнберг</i> — Вторая дорога. Предисловие <i>С. Липкина</i> ...	стр. 32
<i>Е. Гаммер</i> — Нам песня строить и жить помогает	стр. 64
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи	стр. 74
<i>А. Фролов</i> — "Посторонним не входить"	стр. 76
<i>Е. Таубер</i> — Стихи	стр. 94
<i>Б. Филиппов</i> — Роман Гуль — прозаик. К 90-летию	стр. 95
<i>О. Ильинский</i> — В Париже	стр. 103
Ю. Иваск — Похвала Российской поэзии	стр. 104
<i>Д. Бобышев</i> — Катящиеся камни Европы	стр. 145
<i>С. Гозиас</i> — Несколько слов о Глебе Горбовском	стр. 153

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

<i>Б. Прянишников</i> — А.Н. Толстой в Барвихе	стр. 169
<i>А.И. Гучков</i> — Из воспоминаний. Публикация <i>С. Ляндреса</i> Приложения: <i>Б. Элькин</i> — "Памяти А.И. Гучкова"; <i>П.Н. Милюков</i> — "Большой человек"	стр. 184
<i>Ю. Фельштинский</i> — Из истории Брестского мира	стр. 228

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

<i>А. Федосеев</i> — Человеческий фактор	стр. 262
--	----------

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

<i>В. Блинов, В. Рудич</i> — Лидия Иванова	стр. 279
--	----------

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

- А. Натов* — *Неизвестный Пушкин*; *Дм. Шляпентох* — *Вести из России*; *Др. Э. Бройде-Трэппэр (Д. Антонов)* — *Западным университетам, славистам*; *Игумен Геннадий Эйкалович* — *Приписки к "Лосевиане"* стр. 284

БИБЛИОГРАФИЯ

- [*Ю. Иваск*] — *R. Hagglund. A vision of unity. Adamovich in exile*; *В. Гребеничиков* — *А. Опульский. Вокруг имени Толстого*; *Е. Климов* — *Н.А. Дмитриева. Михаил Врубель*; *Е. Климов* — *Странный альбом*..... стр. 298

"НОВОМУ ЖУРНАЛУ" 45 ЛЕТ

"Новый Журнал" *существует в Нью-Йорке уже 45 лет.* Это небывалый срок для эмигрантского "толстого" журнала. Но это естественно, ибо и созданная в бывлой России тоталитарная империя — явление в новой истории небывалое.

"Новый Журнал" расходуется в 36 странах, хотя тираж его и невелик. Я редактирую журнал 30 лет. Как же создался этот русский свободный журнал? Когда Гитлер, поддержанный тогда Сталиным ("дружба, спаянная кровью"), занял свободную Францию, парижский русский толстый журнал *"Современные Записки"* прекратился и многие его сотрудники приплыли новыми эмигрантами в Соединенные Штаты.

Здесь у постоянных сотрудников "Современных Записок" — М. О. Цетлина и М.А. Алданова возникла мысль о продолжении издания русского свободного толстого журнала, то есть о продолжении "Современных Записок".

Как рассказывает Алданов, эта мысль впервые возникла у него и у Цетлина еще в 1940 году во Франции, в Грассе, в беседе с Иваном Алексеевичем Бунинным, перед отъездом Алданова и Цетлина в Америку. Совсем уже перед погрузкой на пароход Алданов писал Бунину из Марселя: "В Нью-Йорке я решил первым делом заняться поиском денег для создания журнала". А в 1941 году, уже из Нью-Йорка, Алданов пишет Бунину: "Толстый журнал будет почти наверное... можно будет выпустить книги две, а потом будет видно...".

Никаких субсидий и дотаций со стороны не было. Конечно, тогда Цетлин и Алданов не могли себе представить, что их "Новый Журнал" просуществует 45 лет и будет издано не "две кни-

ги”, а вот уже 162. Если к этим 162-м книгам “Нового Журнала” прибавить 70 книг “Современных Записок”, ибо “Новый Журнал” явился их продолжением, то надо признать, что 230 книг свободного русского толстого журнала, изданного русскими эмигрантами — серьезный вклад в русскую культуру.

В редакционной статье первой книги “Нового Журнала” задачи его определялись так: “Наше издание, начинающееся в небывалое катастрофическое время — единственный русский толстый журнал во всем мире вне пределов Советского Союза. Это увеличивает нашу ответственность и возлагает на нас обязанность, которой не имели прежние журналы: мы считаем своим долгом открыть страницы “Нового Журнала” писателям разных направлений, — разумеется, в известных пределах: люди, сочувствующие национал-социалистам и большевикам, у нас писать не могут”.

Так было сказано 45 лет тому назад, так остается и теперь: люди, сочувствующие идеям, убивающим свободное творчество, не могут быть сотрудниками “Нового Журнала”. И в то же время я хочу подчеркнуть, что на протяжении всех 45 лет редакция “Нового Журнала” давала и дает возможность высказаться всем, кому дорога свободная русская культура. Мы исповедуем принцип самой широкой терпимости ко всякому инакомыслию — политическому, мировоззренческому, к разным литературным направлениям, вкусам, школам, даже модам. Исключались всегда и исключаются поныне только сторонники тоталитарных идеологий, то есть сторонники массовой антикультуры. 69 лет тому назад государственный секретарь в администрации президента Вудро Вилсона Колби так писал американскому послу в Лондоне Дэвису: “Правительство США разделяет *отвращение цивилизованного мира к тирании, которая ныне господствует в России...*”. Вот, в течение 69 лет мы и сохраняем это “отвращение”, и оно помогает нам, порой в очень трудных условиях, продолжать издание нашего журнала, посвященного русской свободе. К сожалению, в наши дни на Западе многие либералы-демократы это “отвращение” утеряли. Кстати, один из бывших редакторов “Нового Журнала”, М.А. Алданов, автор многих замечательных романов и политических эссе, очень хорошо, по моему, говорил о взаимоотношениях Свободного Мира и Со-

ветского Союза, используя название знаменитой драмы Шиллера: “Отношения между Европой и Советской Россией — трагикомедия коварства и любви”. А о капиталистическом строе Алданов добавлял: “Поистине, должна быть какая-то внутренняя сила в капиталистическом мире, если его еще не погубила граничащая с чудесным глупость нынешних его руководителей”.

Но основатели “Нового Журнала” — Цетлин и Алданов — недолго были его редакторами. В 1945 году смерть прервала работу М.О. Цетлина над 11-й книгой журнала. До последней минуты, уже тяжело больной, в постели, Цетлин все еще редактировал рукописи, читал корректуру. И один из ближайших его друзей говорил: “Если бы М.О. отказался от этой своей работы, он, вероятно, умер бы раньше: только эта работа его и поддерживала”.

Говоря о первом периоде журнала, я хочу (и я должен) остановиться на его основателях. Из всех редакторов “Н.Ж.” я не знал лично только М.О. Цетлина. Но его облик я представляю себе ясно по рассказам близких ему людей и по тем воспоминаниям, которые о нем опубликованы. М.О. Цетлин родился в 1882 году в Москве, в богатой семье. Тихий, болезненный человек, чьи интересы смолоду были — поэзия, музыка, живопись. Правда, в 1905 году он примкнул к партии с.-р., но это была некая “дань времени”; партийцем, политическим человеком он никогда не был и не стал. С 1906 года Цетлин долго жил за границей. Он был прекрасно образован, владел всеми главными европейскими языками, по своему складу был типичным русским интеллигентом дореволюционной формации. Некоторые писатели, знавшие Цетлина, отмечают в нем некую старомодность вкусов. Это в каком-то смысле должно быть верно. Во всяком случае, кораблю современности он предпочитал корабль вечности. И был не из тех, кто при всяком удобном и даже при неудобном случае, “задрав штаны бежит за комсомолом”, будь это “комсомол” московский, или английские битлс, или поп-арт, или оп-арт. В своей статье “О критике” Цетлин ясно выражает свое литературное кредо. Говоря о критиках-формалистах (вернее, о крайних формалистах, которых я бы назвал “механистами”), Цетлин пишет: “Для критиков-формалистов не существует

в произведении вопроса "что", а только "как"; для них единственный вопрос — *как это сделано?* Это очень любопытно, но такой вопрос задает себе часто ребенок при виде игрушки и для удовлетворения любопытства ломает игрушку и не употребляет ее для игры.

Критики-формалисты так и думают: игрушки существуют не для игры, но для того, чтобы быть сломанными. Критики-формалисты не только отрекаются от своей личности, но и уничтожают личность автора. Для них не существует биографии. Для них литература — безличная эволюция литературных приемов, отдельные группы, которые носят случайные псевдонимы — например, Лермонтов или Гоголь". Цетлин был сторонником философской критики (Влад. Соловьев, Розанов, Шестов, Мережковский). "Здесь, — пишет Цетлин, — критик является представителем человеческого в самом общем и углубленном его выражении. И в самых высоких своих образцах критика философская переходит в критику религиозную".

За годы своей жизни Цетлин выпустил пять сборников стихов. Поэзию он чувствовал тонко, но приметным поэтом не стал. Книги его стихов забыты, хотя в них бывали подлинные строфы. Так, в одном из стихотворений, несколько напоминающем русскую латынь Валерия Брюсова, Цетлин так говорит о современности, в своем сознании связывая ее с падением античного мира:

Он с обреченными связал свою судьбу.
Он близких к гибели и слабых на борьбу
Звал за бессильные и дряхлые законы.
Но с триумвирами — и рок, и легионы,
Но императорских победен взлет орлов,
А у Сената что? Запас красивых слов!

Это стихотворение называется "Цицерон". Оно довольно "актуально", если в "Цицероне" видеть русскую демократию во главе с А.Ф. Керенским, полную "красивых слов". А в триумвирах и легионах — Ленина, Троцкого, Сталина с победоносным, все захлестывающим охлосом. В Париже в журнале "Современные Записки" Цетлин был бессменным редактором отдела поэзии. И эту работу выполнял прекрасно. Но главное литератур-

ное наследство, оставленное им, была не его поэзия, а две книги его прозы — “Декабристы” и “Пятеро и другие”. Первая посвящена теме декабрьского восстания 1825 года. А “Пятеро и другие” — знаменитой “могучей кучке” русских композиторов и людей, их окружавших — Мусоргский, Балакирев, Римский-Корсаков, Бородин, Стасов, Глинка, Даргомыжский, Серов, Кюи. Алданов назвал обе книги Цетлина — “высокими образцами историко-биографической литературы”. Я не думаю, чтобы в этой оценке было чрезмерное дружеское преувеличение. К обоим этим книгам Цетлина русский читатель будет не раз возвращаться. А если бы они были изданы в свободной России, то их успех и у широкого читателя и у знатоков эпохи, мне кажется, был бы обеспечен.

Я хочу думать, что эти беглые отрывки о Цетлине дадут все-таки какой-то литературный облик основателя и первого редактора “Нового Журнала”.

Теперь об М.А. Алданове. Алданов родился в 1886 году в богатой семье, в Киеве. Получил хорошее образование: окончил два факультета Петербургского у-та: физико-математический и юридический и парижскую Ecole des Sciences Sociales. Много путешествовал по Европе, бывал в Азии, в Африке, в Америке. Начал писать еще в России, до революции выпустил три книги: “Ошибка Толстого”, “Армагеддон” и “Толстой и Роллан”. Но только в эмиграции литературная работа Алданова развернулась широко. За рубежом он написал около 30 книг. Из них 24 были переведены на иностранные языки, переводы были даже на бенгальский (чему Алданов шутливо радовался!). Многие книги Алданова, особенно его историческая тетралогия (“Св. Елена, маленький остров”, “Девятое Термидора”, “Чортов мост”, “Заговор”) имели очень большой успех как у русских, так и у иностранных читателей. Кроме исторических романов и романов из современной жизни, Алданов писал рассказы, выпустил философскую книгу “Ульмская ночь” и четыре книги очерков, в которых его блестящие политические портреты разных государственных деятелей обнаруживают необычайную эрудицию, остроумие и меткость характеристик.

Н.И. Ульянов в статье “Алданов-эссеист” дает некоторые образцы такой писательской меткости. Приведу некоторые из

них. О Леоне Блюме: "Блюм в социалистическом лагере — профессионал любезности. Жаль, что он улыбается преимущественно левой стороной". Еще о Блюме: "Программа Леона Блюма очень хороша. Осуществить ее невозможно". О крайне левых партиях: "Левому крылу нередко надо бросать кость — быть может, с искренним пожеланием, чтобы оно этой костью подавилось". О графе Эстергази, виновнике дела Дрейфуса: Эстергази заявлял: "У меня в жизни было 22 дуэли: две из-за собак и ни одной из-за женщин".

Некоторые критики считают, что политические эссе — лучшее в творчестве Алданова. Другие, напротив, высоко ставят его исторические романы. О вкусах, как известно, не спорят. Но бесспорно одно, что М.А. Алданов был своеобразным и выдающимся писателем и человеком. И живи он в свободной России, его книги расходились бы миллионными тиражами.

По характеру Алданов был сродни Цетлину. Оба были мягки, ко всем благожелательны, очень терпимы к чужому мнению. По своему мировоззрению Алданов был скептик и пессимист. Но, не питая никаких иллюзий в отношении ближнего, он в общении решительно со всеми был изысканно вежлив и неизменно доброжелателен. Карпович говорил, что в основе благожелательности Алданова лежало прежде всего то, что он был человеком культуры. Это верно. Недаром Бунин называл Алданова "последним джентльменом русской эмиграции". Впрочем, эта роль была не очень трудна.

Алданов отошел от редакторства после выхода четвертой книги. Вскоре он уехал в Европу. Умер Алданов в 1957 г. в Ницце.

В 1945 г., с 11-ой книги руководство журналом перешло к Михаилу Михайловичу Карповичу, профессору Гарвардского университета. Я знал М.М. долго и хорошо, работая вместе с ним с 1952 года и до его смерти в 1959 году. Но о нем я скажу позже. А сейчас, я думаю, надо подвести некий итог первому периоду "Нового Журнала": с основания и до конца мировой войны.

К недостаткам этого периода, по-моему, надо отнести переполнение первых книг "Нового Журнала" политически-злободневными статьями. Конечно, была война и печатание таких

статей было понятно. Даже сейчас некая ценность их остается, как отображение тогдашних военных и политических событий и оценка их демократическим сектором русской эмиграции. Но для журнала, каким он был задуман, это все-таки был недостаток, что, кстати, сознавали и сами редакторы. В первой книге “Н.Ж.”, в редакционной статье, говорилось: “Быть может читатели простят нам, что во втором отделе настоящей книги политика, “рок наших дней”, частью вытесняет другое. “Современные Записки”, “Русские Записки” и те старые русские журналы, традициям которых мы хотим следовать, издавались в мирное время и могли, естественно, уделять больше места общекультурным, философским, научным вопросам. Мы, однако, надеемся, что нам удастся в дальнейшем исправить этот большой недостаток первой книги”. Свои извинения редакторы приносили читателям и за некоторую политическую одномастность своих сотрудников. “В посильном нам масштабе мы хотим осуществлять идею единения в подборе сотрудников “Н.Ж.”. Но, по случайности, в публицистическом отделе первой книги преобладают люди левого лагеря. Во второй книге будут статьи публицистов иного направления”, — так писала редакция.

Другим недостатком начальных книг журнала был плохой стихотворный отдел. Сейчас всякий человек более менее чувствующий поэзию, в комплекте “Н.Ж.” увидит, что первые книги, наряду с ценными стихами, часто содержат не очень интересную поэзию, говорящую только о необычайной терпимости его редакторов. Конечно, и этот недостаток отчасти обуславливался отрезанностью от Европы, но и мягкость М.О. Цетлина была тоже виною. По своей деликатности Цетлин не мог отказать многим, писавшим стихи без всякого к тому основания. Но, в конце концов, все это мелкие недостатки по сравнению с тем замечательным и ценным материалом, который был опубликован в “Н.Ж.” за этот период. У меня нет возможности перечислять *все* ценное. Я отмечу только некоторые произведения, чтобы показать значимость публикаций “Н.Ж.” с 1942-го по 1945-й год.

За это время в отделе художественной прозы были напечатаны прекрасные рассказы Ив. Бунина — “Речной трактир”, “Пароход ‘Саратов’”, “Таня”, “Генрих”, “Дубки”, “Натали” и

другие; роман М. Алданова "Истоки"; вещи Б. Зайцева, В. Набокова, М. Осоргина, В. Яновского. Но что мне хотелось бы особенно выделить, так это изумительные записки Михаила Чехова, известного актера МХТ — "Жизнь и встречи". "Жизнь и встречи" Михаила Чехова, я думаю, одна из самых примечательных публикаций "Нового Журнала" за "военный период". Очень хороши и воспоминания известного художника М.В. Добужинского. Среди других ценных воспоминаний и статей отмечу воспоминания бывшего царского министра графа П.Н. Игнатьева, известного композитора А.Т. Гречанинова, знаменитого химика проф. В.Н. Ипатьева, статьи проф. Бабкина об академике И.П. Павлове, воспоминания быв. советского дипломата А.Г. Бармина, воспоминания быв. редактора газет "Речь" и "Руль" И.В. Гессена, статьи музыковеда И. Яссера. В публицистике за этот период было тоже много ценных статей — известного историка П.Н. Милюкова, известных социологов Н.С. Тимашева и П.А. Сорокина, философа и публициста Г.П. Федотова, проф. Г. Гинса, известного экономиста В.С. Войтинского, А.Ф. Керенского, А.А. Гольденвейзера, В.М. Чернова, М.В. Вишняка, Б.И. Николаевского, Г.Я. Аронсона, Д.Ю. Далина, В. Александровой, Ю.П. Денике, Д.Н. Шуба, С.М. Шварца и других.

Второй период "Нового Журнала" начался со времени окончания войны, когда редакция могла уже связаться с русскими писателями, оставшимися во время войны в Европе. Это началось, примерно, с книги 14-й. Тогда стал печататься роман Б. Зайцева "Путешествие Глеба", отрывки из его книги "Жуковский", "Плачущая канава" А. Ремизова, проза Н. Берберовой, Вл. Варшавского, Г. Газданова, Р. Гуля, Л. Зурова, М. Иванникова, Ю. Марголина, И. Одоевцевой. В это же время впервые в "Н.Ж." стали сотрудничать советские послевоенные эмигранты. В отделе прозы — повесть о концлагере Г. Андреева "Трудные дороги", повесть П. Ершова "Нинель", рассказы Н. Ульянова и других. В отделе поэзии, наряду с стихами И. Бунина, Ю. Балтрушайтиса, М. Волошина, З. Гиппиус, М. Цветаевой, Ф. Сологуба, Н. Клюева, Георгия Иванова, И. Северянина, Вл. Корвин-Пиотровского, И. Елагина, В. Набокова, Странника, Ю. Одарченко, К. Померанцева, И. Одоевцевой, Вл. Смоленского, А. Величков-



М.О. Цетлин



проф. М.М. Карпович



М.А. Алданов

ского, Лидии Алексеевой, Е. Таубер, Г. Евангулова, Ю. Терапиано, Г. Кузнецовой, Н. Туровой, Н. Оцуа, Вл. Злобина, Я. Бергера, И. Чиннова, стали печататься стихи — Ольги Анстей, Глеба Глинки, О. Ильинского, Д. Кленовского, В. Маркова, Н. Моршена и других. По-моему, особенно ценны — за этот период — были публикации в отделе воспоминаний и документов: — Зинаида Гиппиус о Мережковском, Федор Степун о предреволюционной России, Юрий Анненков о Блоке, Е.К. Брешковская о революции 1917 года, Н. Валентинов — "Встречи с Андреем Белым", Н. Евреинов о театре "Кривое зеркало", известный пушкинист Модест Гофман о предреволюционном литературном Петербурге, А. Гумилева — "Н.С. Гумилев". Были опубликованы письма М. Горького к В. Ходасевичу и к Л. Андрееву, студенческие воспоминания П.Н. Милюкова, размышления В.А. Маклакова о 1-й Государственной Думе; личные воспоминания известного итальянского слависта Этторе Ло Гатто о поэте Николае Ключеве; воспоминания члена Временного правительства И.Г. Церетели о революции 1917 года, протопресвитера о. Георгия Шавельского — о первой Мировой войне, Б. Погореловой — "Валерий Брюсов и его окружение".

Особенно хочу отметить превосходно написанные воспоминания известной публицистки Е.Д. Кусковой — о детстве, юности, о предреволюционном времени. К сожалению, эти воспоминания были прерваны смертью их автора. Я очень многого, конечно, не отмечаю. Скажу только, что в общий поток мемуарной литературы влились тогда интереснейшие работы советских послевоенных эмигрантов: М. Корякова — очерки о войне; бывшего беспризорника Н. Воинова — "Беспризорные"; художника Мориса Шаблэ — "Дом Предварительного Заключения", о терроре времен ежовщины; Е. Богдановича (проф. Зоргенфрея) "Я гражданин Ленинграда" — о блокаде Ленинграда во время войны; воспоминания Л. Дадиной "М. Волошин в Коктебеле"; В. Позднякова о советских партизанах — "Республика Зуева"; Т. Кошеновой — о буднях советской женщины; подполковника Ершова — о работе НКВД во время войны; Н. Витова — рассказ латышского крестьянина, бежавшего из СССР; Вл. Орлова — "Из записок гвардейского политработника"; Т. Фесенко — о Киве времен войны; Ю. Елагина — театральные воспоминания;

проф. К. Штеппы — о массовом терроре ежовщины. Были напечатаны письма Марины Цветаевой к Федотову и Р. Гулю и письма Зинаиды Гиппиус и В. Ходасевича к М. Вишняку.

За этот второй период “Новым Журналом” было опубликовано много ценного и в отделе “Политика и культура”. Отмечу статьи известных религиозных мыслителей — Н.А. Бердяева, прот. о. В. Зеньковского, проф. Н.О. Лосского, Г.П. Федотова “Россия и свобода”, “Судьба империи” и др., С.Л. Франка “Ересь утопизма”, Л. Шестова “Лютер и церковь”. Отмечу и работы известных славистов Д.И. Чижевского “Баадер и Россия” и Р.В. Плетнева “Федоров и Достоевский. Из истории русского утопизма”; интересная работа знатока русского масонства П.А. Бурьшикина “Филипп — предшественник Распутина”; статьи Н. Валентинова о Ленине под общим заглавием “Ранний Ленин”; статья В.А. Маклакова “Еретические мысли”; интересная большая работа известного американского ученого и дипломата Джорджа Кеннана “Америка и русское будущее”. Много статей опубликовал за этот период проф. Н.С. Тимашев — “Пути послевоенной России”, “Окаменение коммунистического строя”, “Очернение Сталина” и др.

Проф. М.М. Карпович давал в каждой книге всегда интересную редакционную статью на темы истории, политики, литературы под общим заглавием “Комментарии”. Было много ценных публикаций на политические и экономические темы — А.Ф. Керенского, Д.Ю. Далина, Ю.П. Денике, Е.Д. Кусковой, М.В. Вишняка, проф. Д.Н. Иванцова, Н.И. Ульянова, А.В. Тырковой и других. Одним словом, на мой взгляд, за второй период “Н.Ж.” опубликовал множество литературных произведений, мемуаров, документов и статей, значение и ценность которых несомненны и которые останутся вкладом в русскую литературу и науку.

Психологическая трудность для редакции “Н.Ж.” в это время была в том неизбежном для эмиграции ощущении оторванности, в понимании того, что журнал читается лишь русской эмиграцией и иностранцами, занимающимися вопросами России. Руководство журнала чувствовало себя в некоем безвоздушном пространстве, не находя (или почти не находя) доступа к современному русскому читателю в Сов. Союзе.

По-моему, в эмиграции мы живем более-менее благополучно только потому, что у нас как-то нет времени задуматься о том, как страшно это наше безвоздушное существование, как страшна всегда всякая эмиграция, а затянувшаяся на полвека — в особенности. Многие эмигранты неосознанно волокут эту жизнь — до конца, до кладбища на Сент-Женевьев-де-Буа, под Парижем, или до Нового Дивеева, под Нью-Йорком. Эту страшность эмигрантского бытия в свое время остро ощущал Герцен, так и умерший в Париже, и похороненный на знаменитом Пер Лашез, откуда позднее его останки были перевезены в "лазурно-голубую" Ниццу. Остро ощущал эту страшность эмиграции и мой земляк, пензяк, почти сосед по имению, друг Герцена Николай Огарев, спившийся в Лондоне и похороненный где-то в Гринвиче на окраине британской столицы. Что же спасает нас от страшности этого существования? Нас спасает — как это ни банально звучит — только духовная связь с Россией. С какой Россией? С советской? С Советским Союзом? С другой, с той *вечной Россией*, которой мы — сами того не сознавая — ежедневно живем, которая непрестанно живет в нас и с нами — в нашей крови, в нашей психике, в нашем душевном складе, в нашем взгляде на мир. И хотим мы того или не хотим — но так же неосознанно — мы ведь работаем, пишем, сочиняем только для нее, для России даже тогда, когда писатель от этого публично отрекается. "Если кончена моя Россия — я умираю", — писала в одном стихотворении Зинаида Гиппиус, подчеркивая эту нашу ничем неразрываемую, метафизическую связь с музыкой русской культуры. И когда эмигрант времен Герцена, поэт и ученый Владимир Сергеевич Печерин, возненавидевший Россию, уехал из нее и писал в стихах — "и тяжелый крест изгнания добровольно я подъял", а в прозе — "Россия никогда не будет иметь меня своим подданным" — он все-таки уносил именно Россию в себе. Известно, что став католическим монахом, Печерин устроил на какой-то площади в Ирландии публичное сожжение протестантской Библии. Кто знает, чего в нем было больше в том момент: горячо взятого католицизма или России?

В 1952 году М.М. Карпович и издававшая тогда журнал М.С. Цетлина предложили мне войти в редакцию в качестве секретаря. Я вошел. И с тех пор — 33 года — я отдаю все свои ли-

тературные силы работе в “Новом Журнале”. Перед тем, как перейти к обзору третьего периода “Нового Журнала”, я хочу дать хотя бы беглый набросок облика М.М. Карповича, 12 лет редактировавшего “Новый Журнал”.

М.М. Карпович родился в 1888 году в Тифлисе, в нем была польская, грузинская и русская кровь. По окончании гимназии М.М. поступил в 1908 г. в Московский университет на историко-филологический факультет и был оставлен при университете по кафедре русской истории. Но научной карьеры в России Карпович сделать не успел. В 1917 году, в составе “чрезвычайной миссии”, вместе с своим другом, послом Временного правительства Б.А. Бахметевым, он выехал в Америку — на “шесть месяцев”. Увы, эти “шесть месяцев” стали всей последующей жизнью Карповича, потому что в России произошел октябрьский переворот.

По своему характеру М.М. Карпович был схож с Цетлиным и Алдановым. Та же мягкость и такт в обращении со всеми людьми, то же внутреннее отталкивание от всякой резкости и любовь к философии англо-саксонского компромисса. Политически Карпович был русским либералом, “рыцарем свободы и законности”; этот тип человека уже бесповоротно ушел из русской современной жизни. К сожалению. Став с 11-й книги единоличным редактором “Н.Ж.”, Карпович еще раз так определил его задачи: “На страницах нашего журнала нет и не может быть места для отрицателей свободы и проповедников нетерпимости, как нет его и для сторонников соглашательства с ними, но в этих широких пределах журнал наш представляет своим сотрудникам полную возможность высказывать самые разнообразные общественно-политические, философские или эстетические взгляды. Стремясь по мере наших сил и возможностей откликаться на политическую злобу дня, мы не хотим, однако, целиком уходить в злободневность, памятуя о том, что поддержание культурной традиции и признание автономии культуры являются необходимым условием духовного здоровья — и одним из могущественных средств в борьбе против тоталитарного варварства. На этих путях мы остаемся верны тому духу, в котором “Новый Журнал” был задуман”.

Конечно, мягкость и терпимость Карповича, как редактора, были не безграничны. Там, где Михаил Михайлович считал

нужным, он бывал тверд, хоть и мягок по форме. Приведу такой пример. В "Новом Журнале" мы печатали роман Алданова "Бред". Алданов — маститый автор и рукописи его редактированию, разумеется, не подлежали. Но вот в присланном очередном отрывке у Алданова одно действующее лицо, американский полковник, ультра-американски произносит известную фразу Юлия Цезаря — *veni, vidi, vici* (пришел, увидел, победил) — винай, вайдай, вайсай. Прочтя это, Карпович расстроился и говорит мне: — "Ну, нет, эту пилюлю я проглотить не могу. И зачем Марку Александровичу это понадобилось? Не понимаю. Во-первых, интеллигентные американцы так не говорят, в этом я уж могу его заверить. Это нехороший, вульгарный гротеск, и его надо опустить, я напишу об этом Марку Александровичу". Михаил Михайлович написал Алданову и это ультра-американское преобразование фразы римского полководца было вычеркнуто из романа.

Но иногда мягкость характера М.М. и его благожелательное отношение ко всем пишущим и нежелание их обидеть брали верх. Помню, мы получили одну довольно большую вещь, против помещения которой я возражал по многим причинам. Доводы свои я высказал М.М., он был со мной совершенно согласен. Но, как бы и меня и сам себя уговаривая, М.М. говорил: — "Но все-таки как же нам быть? Ведь мы же убьем его, ведь человек пишет, у него есть какой-то свой собственный творческий мир, есть какое-то право писать именно так..." И вдруг, как бы чувствуя всю несостоятельность своих доводов, М.М. сказал: — "Знаете что, Р.Б., давайте просто зажмуримся и сразу проглотим эту пилюлю... ну, что случится? Ну, покричат, пошумят, а потом же ведь забудут". Так "пилюля" и пошла в набор при полном зажмуре редактора.

Михаил Михайлович был очень заботлив в отношении сотрудников журнала. Расскажу один случай, который может быть даже интересен исторически. Нам прислал свои воспоминания о 1917-1918 годах доктор Иван Иванович Манухин. Манухин — известный врач, ученый, много лет работал в Пастеровском Институте в Париже. Политически Манухин был человеком левого лагеря, дружил с Максимом Горьким, был хорош с многими членами Временного Правительства. И в своих воспоминаниях он рассказывал, как следственная комиссия Временного

Правительства послала его в Петропавловскую крепость, в Трубецкой бастион, освидетельствовать заключенных там царских министров, из которых многие жаловались на разные недомогания. Манухин с удовольствием согласился, ибо, как он пишет, “хотел хотя бы врачебной помощью облегчить тяжелое положение этих несчастных монархистов”. Он поехал и состоянием одного заключенного — бывшего директора Департамента полиции Белецкого — Манухин был потрясен: Белецкий оказался заключен в абсолютно темный карцер, очень тесный, так что он не мог встать и сидел в этом карцере на хлебе и на воде. В крепости Манухин узнал, что такое заключение предписано Белецкому по “личному распоряжению Керенского”. Манухин возмущился. Поехал к представителям Временного Правительства и заявил, что если Белецкого немедленно не освободят из карцера, то он отказывается от своей работы в Петропавловской крепости. Белецкого, разумеется, тут же перевели из карцера в обычную камеру.

Но упоминание Манухиным факта, что в темный карцер Белецкий был посажен по “личному распоряжению Керенского” поставило редактора Карповича в тяжелое положение. Не напечатать воспоминания Манухина нельзя, воспоминания очень интересны. Но напечатать “о личном распоряжении Керенского” — тоже нельзя: — Керенский был сотрудник “Нового Журнала” и Карпович был очень дружен с Керенским. Он знал, что упоминание о таком “личном распоряжении” чрезвычайно расстроит Керенского. Керенский был очень импульсивный человек; к тому же в эмиграции Керенского и без того травили с разных сторон. Как же тут быть? Пришлось Карповичу писать длинное письмо доктору Манухину о том, что произойдет с Керенским, если оставить в воспоминаниях это его “личное распоряжение”. Но все уладилось. Манухин понял и Карповича, как редактора и друга Керенского, понял и возможность тяжелой реакции Керенского. И “личное распоряжение” было в воспоминаниях опущено. Кстати, я А.Ф. Керенского знал довольно хорошо и могу засвидетельствовать, что жестоким человеком он совершенно не был. Вероятно, это “личное распоряжение” было каким-то случайным демагогическим жестом для “революционной демократии”, о котором и сам Керенский, наверное, забыл.

За семь лет совместной работы с М.М. было много интересных и забавных историй, из которых не всё еще можно предать гласности. В целом, этот, второй период журнала, я бы охарактеризовал, как удачный. И в этом была большая заслуга М.М. Карповича, хоть ему и трудно было заниматься "Новым Журналом", ибо он был и деканом и профессором Гарвардского у-та, где читал курсы русской истории и истории русской общественной мысли, что отнимало много времени. И тем не менее почти к каждой книге "Н.Ж." Михаил Михайлович успевал написать — иногда в поезде между Бостоном и Нью-Йорком — очередной "Комментарий".

Было бы трудно установить дату, когда второй период "Н.Ж." перешел в теперешний, третий. Это, разумеется, произошло не сразу после смерти Сталина в 1953 году. Этот период начался с т.н. "оттепели", когда внезапно до нас стали доходить отдельные голоса писателей и читателей из Сов. Союза.

Все, конечно, началось с "Доктора Живаго", пробившего окно в Европу. По-русски за рубежом впервые отрывок из этого романа Бориса Пастернака был напечатан у нас в 1958 году, в 54-й книге. Затем вскоре мы стали получать разные отклики, отзывы, даже приветы от некоторых советских писателей. Первый привет был передан нам с одного научного конгресса, через известного русского профессора-слависта от Анны Андреевны Ахматовой. Причем вместе с приветом Ахматова указывала, что в своем очерке о Гумилеве в книге 46, его свояченица А. Гумилева "много напутала и наврала". Так мы узнали, что Анна Ахматова читает "Новый Журнал". А если читает она, то, вероятно, читают и другие писатели из советской элиты? Вскоре этому пришлось подтверждение. Приехавший в Англию советский прозаик Парфенов получил от кого-то в Лондоне "Новый Журнал" — весь тогдашний комплект — и, как нам передали, запершись в комнате гостиницы, читал и день и ночь. Парфенову журнал понравился, он хвалил многое, особенно хвалил — стихи Ивана Елагина, и увез с собой в Москву книги "Нового Журнала". Потом от одного американского профессора, побывавшего в Москве, мы узнали, что директор одного из высших учебных заведений Москвы (я умышленно не называю какого) аккуратно читает "Новый Журнал", о котором он отзывался американско-



проф. Н.С. Тимашев



Р.Б. Гуль



Ю.П. Денике

му коллеге весьма хвалебно, особенно отметив "прекрасный русский язык журнала". После советского языка-"канцелярита" эта похвала нас не так уж удивила и была понятна. Дальше, от литератора француза русского происхождения, ездившего в Москву, мы узнали, что он видел "Н.Ж." в редакциях "Литературного Наследства" и "Нового Мира". И на его недоуменный вопрос: "Разве вы получаете этот эмигрантский журнал?" — последовал несмущенный ответ: — "Мы следим за *всей* русской литературой". Потом один видный деятель советской культуры (*popina sunt odiosa*), встретившись в Европе с своим приятелем, известным американским профессором, за завтраком в разговоре о советских "толстых" журналах, вдруг сказал своему американскому коллеге: "Но больше всего я люблю нью-йоркский "Новый Журнал". Американец так и ахнул. И приехав в США, конечно, сообщил нам об этом, желая нас обрадовать. И, разумеется, обрадовал.

В эти же годы, наряду с такими конспиративными и полуконспиративными отзывами и приветами, мы твердо, фактически убедились в том, что писательской и ученой элитой в Сов. Союзе "Новый Журнал" читается. В этом убеждали нас ссылки на наш журнал, которые стали появляться в "Литературной Газете", в "Огоньке", в "Литературе и Жизни", в "Литературном Наследстве". Но особенно нас порадовали многочисленные ссылки на "Н.Ж." в книге известного ученого-слависта, академика Виктора Владимировича Виноградова "Проблема авторства и теория стилей". В ней Виноградов ссылается на "Новый Журнал" много раз; и на статью известного музыковеда Леонида Сабанеева о музыке Стравинского, и на статью Юрия Иваска о поэзии Баратынского. А больше всего ссылок академик Виноградов делает на две статьи о творчестве Достоевского — проф. Николая Трубецкого и проф. Ростислава Плетнева. Факт, что "Н.Ж." стал пробиваться в Россию давал нам новые силы в деле издания журнала. Мы увидели, что журнал, скромно основанный Цетлиным и Алдановым в 1942 году в Нью-Йорке, стал нужен в России, являясь там некой отдушиной в свободный мир.

Правда, как известно, за оттепелью последовали некие заморозки, которые сказались и на том, что в советской печати уже нет ссылок на "Новый Журнал" даже тогда, когда советская

печать прямо, без зазрения совести, перепечатывает, например, из "Н.Ж." всё, что мы печатаем из архива И.А. Бунина: наброски его рассказов, записи, его литературное завещание, письма. Но отсутствие ссылок на наш журнал — беда небольшая. Зато у нас давно уже есть — через американские агентства — официальные подписки на "Н.Ж." от ленинградской Академии Наук, от Библиотеки Ленина в Москве, появились подписки и таинственные, где указан только номер почтового ящика. Последнюю такую подписку мы получили даже из Улан-Батора, из Монголии. По своей наивности мы полагаем, что это, вероятно, некие "органы" гос. безопасности под псевдонимами изучают "Н.Ж." для "пополнения своего образования".

Вместе с проникновением в Сов. Союз в этот третий период своего существования "Новый Журнал" стал проникать и в славянские страны-сателлиты: в Польшу, в Чехословакию, в Югославию. Туда он идет в научные учреждения, в библиотеки. Есть и частные проникновения. Мы знаем, например, что наш журнал читал Михайло Михайлов, этот завидно смелый и истый поборник свободы мысли. Знаем мы, что "Н.Ж." регулярно читал А. Твардовский, редактор "Нового Мира", и И. Зильберштейн, редактор "Литературного Наследства". Знаем, что в один из приездов Евгения Евтушенко в США он увез отсюда много книг "Н.Ж.", причем когда на съезде славистов в Нью-Йоркском у-те ему дали последнюю тогда — 85 книгу — он сразу обнаружил свое знакомство с "Новым Журналом". Беря 85-ю книгу, Евтушенко сказал: — "А, это тот журнал, где меня всегда ругают". Он, конечно, неправ. Мы его не "ругали". Вообще мы никого не "ругаем", а стараемся объективно оценивать, отдавая Божье — Богу, а кесарево — кесарю.

К сожалению, М.М. Карпович, который всегда рассматривал "Н.Ж." как некое свое служение России, не дожил до того времени, когда "Н.Ж." проник в Советский Союз. Карпович скончался в 1959 г.

После кончины М.М. у нас создалась редакционная коллегия в составе проф. Н.С. Тимашева, Ю. П. Денике и меня. В научном мире Н.С. Тимашев известен, как социолог с международным именем, автор многих трудов, переведенных на многие иностранные языки. Н.С. родился в 1886 году. Высшее образова-

ние Н.С. получил в Страсбургском у-те, в Германии, и в Александровском лицее, в Петербурге. В 1914 г. в Петербургском у-те за свою работу "Условное осуждение" Н.С. получил степень магистра права, а в 1915 был приглашен читать в этом университете лекции. С 1916 г., будучи уже доктором права, Н.С. преподавал в Политехническом Институте в Петербурге. В 1918 г. Н.С. — уже ординарный профессор экономического отделения Института. Но в 1921 г. научная деятельность Н.С. в Советской России обрывается. Из-за арестов по делу о т.н. "Таганцевском заговоре" (по которому многие были расстреляны) Н.С. был вынужден покинуть Россию.

За годы жизни на Западе многие труды Н.С. по социологии и праву сделали ему международное имя. Кроме книг, Н.С. опубликовал за рубежом множество статей. И, в частности, с самого основания "Н.Ж." был его сотрудником, напечатав здесь ряд ценных статей — "Сила и слабость России", "Перестройка в Сов. Союзе", "Религия в Сов. России", "Пути послевоенной России", "На карательно-террористическом фронте" и многие другие. По его взглядам, Н.С. надо определить как либерального консерватора. Так же, как М.М. Карпович, Н.С. — подлинный русский европеец, человек большой культуры, широкой терпимости ко всем инакомыслиям, за исключением одного — тоталитарного варварства. Вступление Н.С. в редакцию "Н.Ж." было большой поддержкой. Но, к сожалению, из-за тяжелой болезни фактического участия в редакционной работе Н.С. принимать не мог, оставаясь другом и постоянным ценнейшим сотрудником журнала.

Ю.П. Денике родился в Казани в 1887 году. Фамилия его — случайная, как у Герцена. Отцом Ю.П. был казанский помещик Осокин. В Казани Ю.П. окончил среднее учебное заведение и в 1915 г. университет по историко-филологическому факультету, после чего был оставлен для подготовки к профессорскому званию. В 1920 г. Ю.П. на короткое время стал профессором Московского университета по кафедре истории или точнее — исторической социологии. В начале 20-х годов Ю.П. покинул Россию. Серьезный публицист, разносторонне образованный человек, Ю.П. из всех членов редакции "Н.Ж." за все годы его существования был единственным партийным человеком — социал-демо-

крат (меньшевик). Но социалистом он был жоресовского типа, ценившим всегда и свободу противника. К сожалению, переобремененный всяческой работой, Ю.П. фактического участия в редакционной работе принимать не мог. В 1964 году Ю.П. внезапно скончался в Бельгии.

Так что после смерти М.М. Карповича мне пришлось вести “Новый Журнал” одному. Это время, с 1959 года и до сегодняшних дней, входит в третий период “Нового Журнала”, когда журнал пробился к читателю и писателю за “железным занавесом”. За эти годы, так же как и за предыдущие, “Н.Ж.” опубликовал много примечательных вещей во всех отделах. Отмечу опять-таки только немного. В отделе художественной прозы мы опубликовали много коротких рассказов и записей И.А. Бунина, которые, как я уже говорил, перепечатаны советской печатью; две вещи Б.К. Зайцева “Река времен” и “Звезда над Булонью”; очерки В.В. Вейдле “Равенна” и “Бессмертная ошибка” (о Петербурге); пьесу Евг. Замятина, повесть Гайто Газданова “Пробуждение”; большую вещь Д.С. Мережковского, неопубликованную при его жизни — “Св. Иоанн Креста”; несколько рассказов Л.Д. Ржевского и Н.И. Ульянова; отрывки из романа Б. Темирязева “Рваная эпопея”; Юлия Марголина “Книга жизни”; рассказы Христины Керн. Но все эти авторы — давние сотрудники журнала. Отмечу прозу, полученную из СССР: повесть Лидии Чуковской “Софья Петровна”, которая уже вышла на нескольких иностранных языках; “Нарым. Дневник ссыльной” Елены Ишутиной — потрясающий документ о советской нарымской ссылке; “Находка в тайге” автора, которого мы подписали псевдонимом “Неизвестный”. Опубликовали мы и вещи многих советских невозвращенцев: — концлагерные рассказы известного армянского писателя Сурена Санниняна; рассказы из московской современной жизни Аллы Кторовой; сатирические сцены “Сталин” московского драматурга Юрия Кроткова, ставшего невозвращенцем только в 1963 году. В отделе поэзии — неизвестную поэму М. Волошина “Святой Серафим”, посмертные стихи Зинаиды Гиппиус, неизвестную поэму Игоря Северянина, “Посмертный дневник” Георгия Иванова, поэмы Т.С. Эллиота в переводе Н. Берберовой и множество стихотворений как зарубежных поэтов, так и полученных из Сов. Союза от поэтов, которых там не печатают из-за “несозвучности”.

В отделе "Литература и Искусство": — статьи Г. Адамовича под общим заглавием "Оправдание черновики", его же "Наследство Блока", "О чем говорил Чехов", В. Вейдле "О ранней прозе Пастернака", "Похороны Блока", "О смысле стихов", Н. Берберовой "Советская критика сегодня", К. Брауна "Тайная свобода О. Мандельштама", Вяч. Иванова "Мысли о поэзии", композитора Н.К. Метнера "Мысли о музыке", проф. В. Ледницкого о Льве Толстом, композитора Артура Лурье "Вариации о Моцарте", "О мелодии", С. Маковского "Случевский, предтеча символистов", проф. Р. Плетнева "О лирике Тютчева", А. Раннита "Рильке и славянское искусство", "Вяч. Иванов и его 'Свет Вечерний'", Н. Ульянова "Алданов-эссеист", "После Бунина" и др., М. Гофмана "Клевета о Достоевском", Вяч. Завалишина "Заболоцкий", "О Б. Зайцеве"; ряд статей о творчестве Достоевского проф. Н.С. Трубецкого, В. Александровой "Прошлое сегодняшними глазами" (о советской литературе), Евг. Замятина "О языке", "О сюжете и фабуле", Л. Зурова "Герб Лермонтова", Зои Юрьевой "О творчестве И. Витлина", "Ремизов о Гоголе", Ю. Иваска "Фет", "Бодлер и Достоевский", С. Карлинского "Вещественность Анненского", проф. Дм. Чижевского "О поэзии футуризма", "Что такое реализм", "О литературной пародии" и др., прот. А. Шмемана "Анна Ахматова", Ю. Офросимова "О поэзии Вл. Корвин-Пиотровского", Р. Гуля "Цветаева и ее проза", "Солженицын и соцреализм", "Георгий Иванов"; о романе "Доктор Живаго" были напечатаны четыре статьи — Ф. Степуна, М. Корякова, М. Слонима, Р. Гуля; Т. Петровская "Об эстонской поэзии"; Е. Кох "Марианна Веревкина". И много других интересных литературно-критических статей было напечатано за этот третий период.

В отделе "Воспоминания и Документы" было опубликовано много ценных работ и по истории России и по истории русского искусства и литературы: "Дневники" известного политического деятеля и историка, бывш. министра Временного правительства П. Н. Милюкова за время его пребывания в Белой армии и за время его переговоров с немцами в Киеве в 1918 году; Н. Валентинова "Встречи с Горьким", "О людях революционного подполья", "Ленинец раньше Ленина" (о большевике Вилонове), Р. Арсенидзе "Из воспоминаний о Сталине", А.Ф. Керенского

"Моя жизнь в подполье" — впервые рассказанная Керенским история его подпольной жизни после захвата власти большевиками; А. Белобородова "В Академии Художеств"; доктор Эдинбургского у-та Милица Грин опубликовала "Письма М. Алданова к И. Бунину", Д. Далин — "Дело Кравченко", Л. Дан "Бухарин о Сталине", И. Ильин "На службе у японцев" (во время Второй мировой войны), Г. Кузнецова "Грасский дневник" (воспоминания о Бунине); письма известного советского писателя 20-х гг. Льва Лунца из-заграницы к "Серапионовым братьям" (публикация Гари Керна), С. Маковский "Н. Гумилев по личным воспоминаниям", И. Одоевцева "На берегах Невы" (воспоминания о Гумилеве, Мандельштаме, Кузmine и других поэтах-петербуржцах), Леонид Пастернак "Воспоминания", Ю. Анненков — воспоминания о Ленине, о Троцком, о Мейерхольде; письма к художнику Е. Климову известного деятеля "Мира Искусства" художника А. Бенуа, К. Вендзягольский "Савинков", М. Бочарникова "Бой в Зимнем дворце" (воспоминания солдата женского батальона), Е. Брешковская "Как я ходила в народ", И. Бунин "К моему завещанию", воспоминания Вл. Бурцева о его возвращении в Россию из эмиграции в 1914 г. ("Арест при царе и арест при Ленине"), письма Гершензона и Вяч. Иванова к Вл. Ходасевичу, "Страницы воспоминаний" гр. В. Зубова (о последних днях власти Временного правительства в Гатчине), воспоминания В.А. Муромцевой-Буниной "Беседы с памятью", Андрей Седых — литературные портреты М. Алданова и И. Бунина с их многими письмами к автору, воспоминания о февральской революции 1917 г. бывш. министра Временного правительства И.Г. Церетели, воспоминания проф. К. Штеппы о терроре ежовщины в 1937-38 гг.

Я вынужден оборвать перечень опубликованных материалов... Но совершенно особо я хочу отметить некоторые документальные публикации, полученные тогда из Советского Союза. Это: — "Очерки по истории русской церковной смуты" А. Левитина и В. Шаврова; воспоминания Е. Тагер об О. Мандельштаме (публикация Г. Струве); "Стенограмма заседания Союза советских писателей" по вопросу об исключении Бориса Пастернака из Союза, — большой ценности документ, показывающий

тот градус духовного террора и растрения, при котором живут советские писатели. По-моему, правильно сказал один зарубежный писатель, что "это документ на 100 лет". Таким же ценным документом является "Послание из СССР на Запад", которое мы подписали "Икс", чтобы не повредить автору. Заграницей это послание уже вышло на многих иностранных языках. Хочу еще подчеркнуть большую и документальную и литературную ценность опубликованного нами "Письма мистеру Смит" Юрия Кроткова о том, как и почему он, будучи в Москве, написал антиамериканскую пьесу "Джон — солдат мира".

В отделе "Политика и Культура" за третий период "Нового Журнала" отмечу работы известного русского историка проф. Г.В. Вернадского — "Милюков и месторазвитие русского народа" (по поводу выхода заграницей "Очерков по истории русской культуры" Милюкова), "Повесть о Сухане" (по поводу книги советского историка В.И. Малышева), "Из древней Евразии" (по поводу книги советского историка Льва Николаевича Гумилева), "Человек и животный мир в истории России", "Усть-Цилемские рукописные сборники". Из других работ отмечу: Н. Валентинова "О предках Ленина и его биографиях", прот. о. В. Зеньковского "Мифология в науке", Ю. Гринфельд "Произвол работодателей в СССР" (о фактическом бесправии рабочих в Советском Союзе), С.А. Сатиной "Об истории женского образования в России", известного экономиста Наума Ясного "Начало второго послесталинского десятилетия в сельском хозяйстве", Ю. Денике "За фасадом 22-го съезда партии", "Купеческая семья Тихомировых" (правда об основании газеты "Правда" на деньги купцов Тихомировых), проф. Д. Иванцова "Легенды о советской деревне", Д. Анина "Вожди уходят, проблемы остаются", "Русская революция и либерализм", "Советы и международное положение" и др., А. Иванова "Биология и идеологическая борьба" (о Трофиме Лысенко и положении биологии в СССР), Н. Нарокова "Русский язык там", М. Карповича "Два типа русского либерализма" (Милюков и Маклаков), прот. Д. Константинова "Подтверждение неопровержимого" (об известном письме двух московских священников Н. Эшлимана и Г. Якунина), С. Левицкого "Место Н.О. Лосского в русской философии", проф. С. Верховского "О Гоголе", Б. Ловцкого "Философ библейского откры-

вения" (к 100-летию со дня рождения Льва Шестова), Д. Мережковского "Что сделал Св. Иоанн Креста", Б. Двинов "Назад к Ленину?", В. Некрасов "Московские чудачки" (о московской школе математиков: Бугаеве, Цингере, Вернадском, Умове, Бредихине и других), Н. Нижальский "Эволюция академика Павлова" (правда о взглядах акад. Павлова в последний период его жизни), Н. Полторацкий "Проф. Н.С. Тимашев о путях России", Е. Петров-Скиталец "Кронштадтский тезис сегодня", К. Померанцев "Во что верит советская молодежь?", Федор Степун "Вера и знание в философии Франка", "Москва — третий Рим", "Россия между Европой и Азией", проф. Н.С. Тимашев "Сталинский террор и перепись 1959 года", "На правильном ли пути Америка", "Три книги о Питириме Сорокине" и др. Н. Ульянов "Тень Грозного", Дм. Чижевский "Новое в истории русской культуры", Т. Чугунов "Всеобщая декларация прав человека и гражданина и диктатура КПСС", прот. А. Шмеман "Церковь, государство, теократия", А. Шик "Первопечатник Федоров", проф. А. Штаммлер "Ф.А. Степун" (к его кончине), Д. Шуб "Европейский социализм и советский коммунизм", "Три биографии Ленина", "Мемуары Керенского" и др.

Хотя ссылки на "Новый Журнал" в советской печати в конце 60-х гг. прекратились, мы начали получать из Советского Союза рукописи, что было лучше всяких "ссылок". Самым большим подарком для "Нового Журнала" была объемистая рукопись Варлама Шаламова — "Колымские рассказы". Произошло это так. Один известный американский профессор-славист как-то позвонил мне по телефону и сказал, что был в Москве и привез большую рукопись для "Нового Журнала". Я поблагодарил и на другой день профессор привез мне на квартиру рукопись "Колымских рассказов". Это была очень большая рукопись, страниц в 600. Передавая ее, профессор сказал, что автор лично виделся с ним и просил взять его рукопись для опубликования в "Новом Журнале", Профессор спросил автора: — "А вы не боитесь ее опубликования на Западе?" — На что Шаламов ответил: — "Мы устали бояться...". Так в "Новом Журнале" началось печатание "Колымских рассказов" Варлама Шаламова из номера в номер. Мы печатали Шаламова больше десяти лет и были первыми, кто открыл Западу этого замечательного писателя, взяв-

шего своей темой — страшный и бесчеловечный ад Колымы. Когда рассказы Шаламова были почти все напечатаны в "Новом Журнале", я передал право на их издание отдельной книгой приехавшему ко мне покойному Стипульковскому, руководителю издательства "Оверсиз Пабליкейшенс" в Лондоне, где они и вышли книгой.

Потом мы стали публиковать уже не только приходившие к нам (как мы всегда писали в примечаниях "с оказией") рукописи советских писателей, но и рукописи писателей, бежавших из Советского Союза — Анатолия Кузнецова, Юрия Кроткова, Аркадия Белинкова. В первом письме ко мне Аркадий Белинков писал: — "Из всех русских изданий заграницей я лучше всего знал именно Ваш журнал... В Москве я прочитал по крайней мере половину вышедших номеров. Дело это не простое, но по своему положению... я имел доступ в Отдел специального хранения Библиотеки имени Ленина, а кроме того его привозили друзья из заграницы". И в другом письме ко мне Белинков писал: "Все мы без меры обязаны существованию "Нового Журнала". Для меня, как редактора "Нового Журнала", это была большая моральная поддержка, ибо это было доказательство того, что издание *свободного* русского журнала за рубежом действительно нужно людям, живущим в тоталитарном Советском Союзе. Незадолго до Белинкова, тоже бежавшая на Запад Светлана Аллилуева из своего гонорара за первую ее книгу выделила пять тысяч долларов на поддержку "Нового Журнала".

Были ценные отзывы и других писателей-беглецов. Но особенно было ценно полученное мной в 1970 году письмо из Европы от некоего анонима. Приведу его полностью: "Многоуважаемый г-н Гуть! Большое вам спасибо за ваш чудесный "Новый Журнал", который я получил от одного нового знакомого, эмигранта. Я приехал в Европу, как турист из СССР, уезжаю обратно и увожу журнал домой. Хотя я и член партии, но Ваш журнал произвел на меня ошеломляющее впечатление. Я поражен тем, что в эмиграции есть силы, которые нам близки по духу. Вам, конечно, странно: член партии и *близость духа*? (слова "близость духа" подчеркнуты автором). Но, поверьте, что это так. Партия это лишь *мертвый* (мертвый — подчеркнуто автором) символ для нас, для молодежи. Мы тоже люди и *добро*

(добро — подчеркнуто автором) для нас ближе, чем позолоченный труп. Очень жалею, что остаюсь анонимом — вы должны мне простить и понять. *Читатель из СССР*" ("Читатель из СССР" подчеркнуто автором письма).

Было бы лицемерием, если б я не сказал, что такие отзывы о журнале давали и дают силы — в очень трудных условиях — вести "Новый Журнал". Это — мой посильный вклад в борьбу с антикультурой большевизма, борьбу за творческую свободу — а стало быть и политическую и гражданскую свободу человека. Когда-то в 16 веке на съезде в Вормсе Мартин Лютер произнес знаменитую формулу непримиримости: "Hier steh' ich. Ich kann nicht anders" ("На этом стою. По другому не могу"). Так и я: "по другому не могу".

За последние годы в журнале печатались новые сотрудники: В. Блинов, В. Крейд, проф. А. Опульский, Н. Ишутина, проф. А. Федосеев, М. Бернштам, М. Михайлов, Ю. Фельштинский, М. Гольдштейн, Д. Штурман, Лидия Иванова, Д. Бобышев, И. Белоусович, Ю. Зорин, Н. Моравский, полк. М. Гардер, Б. Закович.

Из прозы были напечатаны рассказы или отрывки из повестей Э. Абросим, А. Ершова, С. Ильина, Ю. Кашкарова, П. Палия, В. Писарева, А. Шепиевкера и др. Особо следует отметить "Похвалу Российской поэзии" только что скончавшегося Ю. Иваска. А. Раннит опубликовал неизданные стихи Б. Пастернака "Неизвестный Б. Пастернак в собрании Т. Витни". В нескольких номерах печаталась переписка И. А. Бунина и М. А. Алданова, подготовленная проф. А. Зверсом. На протяжении нескольких лет мы печатали (и надеемся продолжить) интереснейшие воспоминания умершей в Сов. Союзе М. Л. Шапиро "Женский концлагерь". Были напечатаны воспоминания спутницы адм. Колчака А. В. Тимиревой, воспоминания А. И. Гучкова, воспоминания А. Штейгера, отрывки из дневника гр. Е. Н. Разумовской, письма Рцы (И. Ф. Романова) к В. В. Розанову.

"Новый Журнал" во многом обязан своим существованием большим друзьям этого старейшего русского журнала заграницей (и второго по старшинству на русском языке — в мире) — Т. Витни и С. Виштаку.

Роман Гуль

АРКАДИЙ ШТЕЙНБЕРГ

(1907 — 1984)

ВТОРАЯ ДОРОГА

О СЕБЕ САМОМ

Родился в декабре 1907 г. в г. Одессе, в семье врача. Учился в Одесском реальном училище св. Павла, окончил среднюю школу после переезда в Москву, в 1923 г.

В 1925 г. поступил во ВХУТЕМАС. Живописью занимаюсь по сей день и считаю ее второй профессией.

Был дважды репрессирован и дважды реабилитирован. Участвовал в Великой Отечественной войне в чине майора. Награды: "За боевые заслуги" (1941), орден "Отечественная война I степени" (1944).

Стихи пишу с шестнадцати лет. Впервые опубликовал в 1928 г. До начала тридцатых годов довольно широко печатался в центральных журналах; позже стал, в основном, публиковать переводы — главным образом поэзии народов СССР. Наиболее значительная работа: переложение якутской эпической поэмы-сказания "Богатырь на гнедом коне".

Тринадцатилетним подростком прочел "Потерянный Рай" в переводе О. Чюминой. Поэма произвела на меня ошеломляющее впечатление и сыграла огромную роль в формировании моего мироощущения; в

*Редакция "Н.Ж." публикует те стихи из сб. "Вторая дорога", которые никогда не печатались в советских повременных изданиях.

Печатается без ведома и разрешения С. Липкина и наследников А.А. Штейнберга.

дальнейшем, по мере повышения уровня понимания существа поэзии и знакомства с оригиналом, я осознал всю недостаточность этого перевода, его бойкого ямба и уравненного, гладкого и бесцветного языка; понял, что стихотворная информация о содержании — это еще далеко не Милтон, что поэма должна быть не только переведена, но и *пережита*. Давным давно я твердо решил рано или поздно предпринять попытку создания русского переложения поэмы, но понимал, что еще не готов к этой работе, продолжавшейся 11 с лишком лет. Поэма опубликована в соответствующем томе Библиотеки Всемирной Литературы. Опубликовал переложение стихов великого китайского поэта и художника Ван Вэя (8-е столетие), 1979 г.

Издание оригинальных стихотворений наталкивается на трудности из-за принципиальных разногласий с редакцией издательства "Советский Писатель" по составу книги. В свое время я был одним из инициаторов, составителей и редакторов сборника "Тарусские страницы", в котором опубликовано около 1000 строк моих стихов.

А. Штейнберг

ВТОРАЯ ДОРОГА

В 1928 году литературная Одесса еще продолжала жить. Хотя ее звезды первой величины уже покинули неповторимый город ради Москвы, где засияли всероссийской славой, их отсветом еще светились менее подвижные астероиды. Литературные взгляды отнюдь не были провинциальными, барабанное виршеписание презиралось. Не прекратило своего существования Южно-Русское Общество писателей, к которому до революции были близки подолгу жившие в Одессе Бунин и Куприн. Оно респектабельно заседало два раза в месяц в Доме Ученых на Елизаветинской улице. Седые профессора, адвокаты читали свои длинные старомодные поэмы, написанные неправильным белым ямбом. Душой Общества был настоящий писатель и видный специалист в области виноградарства Александр Кипен, автор некогда знаменитого "Бирючьего острова", когда-то печатавшийся в столичном "Русском Богатстве" и в горьковских сборниках "Знания". Кажется, председателем Общества был Наум Осипович, в прошлом народоволец, — известны были в свое время его очерки тюремной жизни, замеченные Короленко. Сем-

надцатилетний автор этих строк был горд и счастлив, когда его приняли в Общество.

Молодежь — студенты, безработные, школьники старших классов — собирались каждую субботу в помещении редакции одесских "Известий". То был кружок при газете, задуманный как "рабкоровский". Рабкоров я там не припомню, начинающие читали свои стихи и рассказы, их слушали девушки и юноши, писавшие тайно; среди них выделялся своей сосредоточенностью и молчаливостью большеголовый, чуть склонный к полноте, бедно, но чисто одетый паренек, о котором говорили, что он будущий великий математик. То был Сережа Королев, впоследствии прославленный конструктор ракетно-космических систем.

"Станком" руководил блестящий, образованный П.А. Пересветов. Первая половина заседания была посвящена его лекциям. Он доказывал нам, что Фет и Полонский были несравненно выше Маяковского и Сельвинского, а громкоречивый Гюго тускнеет в сравнении с Бодлером и Верленом. Увы, самонадеянная молодость плохо его слушала, смеясь и болтая в нетерпеливом ожидании своего выхода, но, к счастью, ему не мешала: он страдал глухотой. Он читал русские и французские стихи, поглаживая лежавшую у него на коленях плебейскую собачку Жужу. А когда наступала наша очередь читать, он раковинной прикладывал ладонь к уху, закрывал глаза, и, вдруг их открыв, радовался каждой живописной, музыкальной, на худой конец — внятной строчке.

И вот однажды на субботнем заседании появляется незнакомец. Его, как выяснилось, привел постоянный посетитель "Станка", поэт и художник Стамати. Он попросил предоставить своему товарищу, приехавшему из Москвы, возможность прочесть стихи вне очереди. Незнакомец стал читать. Слушатели (которые, как видно из вышесказанного, вовсе не были периферийными темными виршеплетами, а находились на уровне стихолюбивых обеих столиц) восхитились уже первыми строчками:

Шито-крыто. Ночь — ворона.

Спит дебелая Верона.

Голос автора с южными вопросительными интонациями гремел, карие глаза, то левантийски-лукавые, то магически-безумные, сверкали. И весь он — смуглый, стройный, высокий, самоуверенный и в то же время робкий, показался нам чудным вестником истинной поэзии. Вот, поняли мы, как надо писать!

Поражал мускулистый, упругий и нервный стих, очень богатые, глубокие рифмы, построенные по классическому образцу, но почему-то неожиданные, да и вся поэма о Вероне была неожиданная, смелая какой-то благородной, отнюдь не модернистской смелостью, все в ней дышало нашим смутным временем. Мы, влюбленно читавшие поэтов Серебряного века, взволнованные и более поздними, но еще не умевшие отличить живую, теплокровную новизну Пастернака от муляжной новизны Асеева или Сельвинского, увидели, поняли, слушая Аркадия Штейнберга — так звался незнакомец — что классический русский стих таит в себе небывалые возможности. Пересветов торжествовал. Даже Сережа Королев впервые принял активное участие в заседании, выкрикнув "Ух!" Другой посетитель кружка сочинил большое стихотворение, которое начиналось так: "Скажите, Штейнберг вам знаком? О, как владеет он стихом!"

За каких-нибудь две недели Штейнберг стал у нас общепризнанным мэтром. Он читал и на заседании Южно-Русского общества писателей. Характерно, что даже немолодые завсегдатаи Общества, застрявшие на Надсоне и Фруге, в лучшем случае на Бальмонте, были обворожены словесным волхованием необычного, но притягательного таланта.

Он и как человек казался необычным. Не будучи провинциально литературной, наша молодежь была провинциальна по-мещански, и вот приехал из Москвы двадцатилетний поэт, нигде не печатавшийся, нигде не работавший, нигде не учившийся. Странно! Теперь я думаю, что прежде таких поэтов в России не было ни среди дворян, ни среди разночинцев, ни, тем более, среди крестьянского сословия. Мне кажется, что молодой Штейнберг всем своим существом был чем-то похож на таких французов, как Аполлинер или Андре Сальмон.

Мы подружились. Как оказалось — на всю жизнь. Он был на четыре года старше меня, гораздо начитанней, знал не только русскую, но и немецкую поэзию — он отлично владел немецким языком, так как учился в Одессе в реальном училище Св. Павла, где все предметы преподавались по-немецки. От него я впервые услышал имена Рильке и Георге.

Штейнберг и юная его жена Нора, худая, высокая, большеглазая, настойчиво подчеркивающая свое сходство с цыганкой, занимали комнату в квартире одесских родственников Аркадия на Ремесленной улице. Комната была пуста. Единственная мебель — два венских стула. Супруги спали в углу на матрасе. Утром матрас свертывался вместе с подушкой и простынями и превращался в валик для сидения. Впрочем,

мы сидели и прямо на полу.

На какие средства жила молодая чета? Кажется, Штейнбергу помогала мать, присылая ему немного денег тайно от отца, доктора Аким Петровича Штейнберга, крайне недовольного ранним браком сына, непутевого художника, отказавшегося продолжать учение во Вхутемасе, потому что когда Аркадий был на четвертом курсе, Вхутемас переехал из Москвы в Ленинград.

Мамина помощь, однако, была скудна. Аркадий через биржу труда устроился недели на две на черную работу мостовщиком при укладке дороги от Александровского парка до Ланжерона. Запомнилось: мы возвращались с моря беспечной гурьбой вдоль этой дороги, увидели Аркадия, он подошел к нам, в трусах, босой, в рваной красной в белую полоску рубахе и церемонно поцеловал руку девушкам. Рваная рубаха сидела на нем как смокинг.

В пустую комнату на Ремесленной мы приходили с купленным в складчину на постоялом дворе у молдавских крестьян ведром дешевого вина и несколькими караваемы ситного хлеба. Аркадий разговаривал стихами и прозой, а мы внимали. Восхищенные, внимали ему и молодые художники — и те, кто поклонялись Кандинскому и Малевичу, и те, кто вслед за "таможенником Руссо" и Пиросмани увлекались базарным лубком, стилизованными вывесками. Аркадий с пониманием всех тонкостей ремесла оценивал эти работы доброжелательно, но при этом умно; с южной страстностью говорил о старой живописи, вечная новизна которой, по его мнению, должна быть направляющей силой для настоящего мастера. С пылким восторгом говорил о голландской живописи, он видел в ней, казалось, и то, к чему не всегда — полагал он — успешно стремились современные художники, начиная от первых импрессионистов и кончая Гончаровой и Ларионовым. Собственно говоря, те же положения он развивал, рассуждая о современной поэзии. Замечательным в его рассуждениях было то, что в нашей классике он видел не ее классичность, а прежде всего ее живое движение, ее жизненную необходимость нам. Получалось так — и это очаровывало и волновало — что Рембрандт, Рубенс, Ван Дейк, Державин, Батюшков или Жуковский уже хорошо знали и умели делать то, чего не знают и не умеют делать новомодные художники и стихodelатели. Я до сих пор благодарен ранним урокам Штейнберга.

Через год я приехал учиться в Москву. Я был ошеломлен изобретательной ловкостью моих ровесников, столичных штучек-стихотворцев.

Мои писания казались мне жалкими, никчемными. В тяжелом унынии пришел я к Аркадию. Но, выслушав мои стихи, он похвалил их с уже знакомой мне южной, громкой страстностью, с уверенностью мастера, он развеял мое уныние, помог мне поверить в себя. И так было всегда и не только со мной.

Аркадий обладал редким и благородным свойством: он умел радоваться чужому успеху, радоваться от души, заразительно — и доказательно. Он мне сказал: "Я тебя познакомлю с двумя поэтами, лучше которых нет среди молодых. Мы вчетвером составим могучую кучку". Так я узнал Марию Петровых и Арсения Тарковского. С тех пор прошло пятьдесят шесть лет, и я, как и тогда и сейчас, считаю, что Тарковский, Петровых, Штейнберг — самые значительные поэты моего поколения.

Из "могучей кучки" один только я успел кое-что напечатать в толстых журналах. На счету у Тарковского была тогда лишь одна публикация в журнале "Прожектор" — стихотворение "Хлеб" размером в восемь строк. Штейнберг совершенно серьезно именовал это стихотворение "трудом Тарковского".

Под водительством Штейнберга мы вчетвером устроили вечер в Доме Печати. Докладчик А. Миних назвал нас неореалистами. Мы имели успех. Это не удивительно: половину зала составили знакомые Штейнберга.

Трудно объяснить, почему нас неохотно печатали. Проще всего, как будто, дело обстояло со мной. Мои стихи имели религиозную окраску. При желании (а оно было упорным), можно было отвергнуть стихи Петровых и Тарковского: грустные, интеллектуальные, без примет "нашей бучи, боевой, кипучей". Но стих Штейнберга — блестящий и оптимистичный — чем он настораживал редакторов? Конечно, все мы, все четверо, не писали на газетные темы дня, но беда наша заключалась не только в этом. И самый тон, и настроение наших вещей, и лексика, и даже — трудно поверить — строфика, и неприятие расхлябанности, неряшливых усеченных рифм — все это вызывало отталкивание, порой враждебное. Мы были чужими своему литературному поколению.

История поэзии, да и вообще история искусства, есть история преодоления естественного недоверия читателей, зрителей, слушателей к тому, что с помощью слов, звуков, красок, глины можно создавать живые существа. Как раньше делали Пигмалионы всех родов? Они завоевывали доверие, опираясь на разум и воспроизведение действитель-

ности. Чем безудержнее фантазировали Гоголь или Гофман, тем крепче они вбивали в землю опоры разума и действительности. Художники начала нашего века решили разрушить эти две опоры. Разум они заменили заумью, реализм — сюрреализмом. А нам хотелось, чтобы каждый из нас, вслед за Ходасевичем, имел право сказать о себе: "Умен, а не заумен". Мы хотели создавать живые существа, выпекать хлеб, а не "картонные напоказные булки". Это встречалось, в лучшем случае, недоумением — как со стороны признанных мастеров, так, тем более, и со стороны официальных литераторов, заведующих поэзией в журналах, издательствах.

Впрочем, бывали исключения. В "Литературной Газете" от 24 марта 1930 года Штейнберг опубликовал стихотворение "Волчья облава", надо полагать, написанное под впечатлением "Смерти волка" Альфреда де Виньи. Маяковский похвалил метафору из этого стихотворения: "И курки осторожно на цыпочки встали". Если поразмыслим над тем, что интервью было взято у Маяковского за несколько дней до самоубийства, то похвала приобретает особое значение. Вероятно, был знаком с этим стихотворением и Осип Мандельштам: "век-волкодав" из более позднего его стихотворения очень ясно указывает на "Волчью облаву" многими приметами, вплоть до ритма.

Высоко ценил талант Штейнберга знаменитый в то время Эдуард Багрицкий. В печати промелькнуло несколько "заказных" произведений за совместной подписью Штейнберга и Багрицкого, они вместе перевели "проклятого" французского поэта Мориса Роллина (увы, эти переводы пропали). Наконец, широко известен и по сей день переиздается перевод "Парижской оргии" Рембо, впервые опубликованный в те же годы за этими двумя подписями. Честь здесь была двойная: "отметиться" переводом из Рембо (в те годы в СССР невероятно популярного) было честью и для Багрицкого и для Штейнберга. Но если у Багрицкого художественно-ценных переводов из европейских поэтов — считанные единицы, то для Штейнберга поэтический перевод стал одним из главных занятий на всю жизнь. Тогда же, около 1930 г., он, например, уже без соавторов стал одним из первых переводчиков Брехта на русский язык ("Песня железнодорожников из Форт-Дональда" в журнале "Интернациональная литература", если не ошибаюсь, появилась в 1931 г.).

В краткой автобиографии Штейнберг вспоминает: "До начала тридцатых годов довольно широко печатался в центральных журналах". Это самообман. Я думаю, что в период 1929-1937 гг. он опубликовал

едва ли десяток оригинальных стихотворений, но среди них были крупные, зрелые вещи — та же "Волчья облава", "Взморье" (в "Новом Мире"), "Могила неизвестного солдата" (в "Молодой Гвардии").

Материальные дела его складывались неважно. Родился ребенок, пришлось уйти из родительского дома, снять комнату на Якиманке. Он писал песни для музыкального издательства — их никто не пел, но одна из них была включена в спектакль "Последний решительный", поставленный Мейерхольдом. Писал (вместе с Тарковским) многостраничные очерки для радио. Мне запомнился один, посвященный истории стекла, он начинался цитатой из Ломоносова: "Неправо о стекле те думают, Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов". Но заказы для радио были нерегулярными, подступало безденежье. Однажды Штейнберг изготовил копии нескольких картин голландских мастеров XVII века и продал их, не скрывая, конечно, что это копии, но цену запросил за них как за копии старые, созданные чуть ли не в ту же эпоху, что и подлинники. Покупатели верили — так искусно была сделана работа.

Тут надо понять Штейнберга. Эти копии были не только возможностью получить мелкий заработок, но и выражением озорства его богатой, южной натуры. Другим выражением озорства были абсурдистские стихи, отчасти навеянные только что вышедшими "Столбцами" Заболоцкого. Штейнберг придумал и устно разработал биографию автора этих забавных стихов, караима Симхи Баклажана. Хорошо было бы найти эти остроумные сочинения, да, видно, они пропали во время двух его арестов. Озорство, игра были свойственны Штейнбергу до самого последнего дня и составляли пленительную черту его характера. Не случайно, а поэтически постигая себя, он написал:

Я ж снова мальчик с карими глазами,
Играю лодками и парусами,
Играю камешками и судьбой,
Летучей рифмой и самим собой.

Наш старший друг и по сей день недооцененный поэт Георгий Шенгели, став редактором в Гослитиздате, привлек нашу четверку к стихотворным переводам литератур народов СССР. Штейнберг и Тарковский стали совместно переводить черногорского поэта-политэмигранта Радуде Стиенского. Эту работу я не сумею обозначить лучше, чем термином "переводы нового типа". Автор не столько писал, сколько пересказывал своим переводчикам произведения фольклора, замечательным

знатоком которого он и в самом деле был, а дальше все уже сочинялось втроем. Стихи Стийенского, живописные, как черногорский наряд, в переводах Тарковского и Штейнберга стали широко известны. Казалось, нашли свое продолжение иллирийский вымысел Мериме, пушкинские Песни западных славян. Об этих переводах восторженно высказался (кажется, в "Известиях") вернувшийся тогда из эмиграции Святополк-Мирский. Дела налаживались, обоих переводчиков приняли в Союз Писателей. Штейнберг даже получил возможность приобрести дом в Тарусе. И тут его арестовали.

Что послужило причиной ареста? Об этом тогда не спрашивали. Был бы человек, а статья найдется. Может быть, его взяли потому, что он слишком броско, ярко одевался, вообще был вызывающе ярко? Или потому, что был знаком с каким-нибудь иностранцем, работавшим в Советском Союзе? Лишнего он, во всяком случае, никогда не болтал.

Он просидел недолго — ровно год. Отец его был членом партии с 1920 года, но хлопоты легли на мать, Зинаиду Моисеевну, и увенчались успехом. Ее брат был давно и близко знаком с Ворошиловым. По словам Штейнберга, Вышинский затребовал его "дело", где оказался... один листок: фамилия, имя, отчество, год рождения — и все. "Как могло так произойти?" — "Очень просто. Я отказался разговаривать со следователем. Меня несколько дней лупили, а я молчал. Потом прочитали приговор и отправили в лагерь". Год Штейнберг провел в лагере на Дальнем Востоке. Потом так же внезапно был выпущен.

Пришла огромная беда — война, мы расстались: я был направлен на Балтику, стал военным моряком, он — на один из южных фронтов.

Он служил в так называемом "седьмом отделе", целью которого была пропаганда в войсках противника. Доходили сведения, что Штейнберг вступил в партию, отлично работает, даже пишет стихи по-немецки, агитируя гитлеровских солдат сдаваться в плен. (Скажем в скобках, что, как впоследствии стало известно, в партию он вступил по рекомендации начальника политотдела 18-й армии Л. Брежнева). И вдруг ужасный слух — его снова арестовали.

Причина второго ареста несколько более понятна, чем причина ареста первого. Когда, отсидев длинный срок, Аркадий в полушубке "московке", сшитом зековским портным, вернулся в Москву, он показал мне свое письмо, обращенное снова к Ворошилову с просьбой о реабилитации. Вникнув в письмо, я стал понимать суть дела. Аркадия в армии охватил восторг: он приобщился к власти, сделался коммунист-

том, майором, орденосцем, как и всюду, приобрел любовь сотоварищей. Когда наши войска вступили в Румынию, он, в состоянии восторга — а в Аркадии всегда жил Тартарен, солнце русского Прованса пылало в его крови — начал, как сотрудник седьмого отдела, устраивать приемы, самовольно приглашая на них видных румын, которые с достаточным на то основанием казались ему "нам нужными", но командование (и особенно руководство румынской компартии) рассматривало их как ненужных. Оно было крайне раздражено, обвинило Аркадия в трате средств на эти приемы, — и вот — семь лет каторги. Один зек, сидевший с ним, потом мне рассказывал: "Прибыли на место, нас погнали на лесоповал. Штейнберг сидит на пенечке, не шелохнется. Бригадир его толкает, а Штейнберг: "Никуда я не пойду, я в законе".

Для несведущих: "в законе" означало, что он вор, аристократ лагеря, а не политический, работать не собирается. Конечно, над ним посмеялись, те же воры притом, работать заставили.

Вскоре он устроился фельдшером: сын врача, он разбирался в медицине. К тому же он, помимо таланта поэта и живописца, обладал разнообразными способностями, у него были ловкие руки, хорошая голова. Быть в лагере фельдшером означало жить в сыти и в тепле. Медицина спасла Штейнберга, он даже побывал на лагерных курсах повышения квалификации среднего медперсонала. Возникла в лагере и любовь. Он рассказывал мне об этой женщине, родом с Западной Украины. Он писал о ней:

Нас не одно и то же поле
Взрастило в давние года,
Но здесь, в безвыходной неволе,
Свела всеобщая беда.

Кажется, эта "лагерная любовь" жива и по сей день в Киеве.

Он вышел из лагеря не как реабилитированный, а по амнистии, и день смерти Сталина застал его в глухой тайге: опытный зек, Штейнберг из лагеря далеко отлучаться не стал, зная, что все равно снова посадят. Но пришел срок и для Сталина.

Оказалось, что он даже не исключен из Союза Писателей: его дело не проходило ни через ЦК (там Андреев визировал все исключения писателей из числа живых), ни через Союз Писателей (там тем же самым занимался Фадеев) — поэтому он числился в "пропавших без вести": он получил справку с невообразимой формулой: "Выдать новый

членский билет взамен утраченного". Пришлось только внести за все свои каторжные годы членские взносы: сумма небольшая. В партии же он, в отличие от большинства, решил не восстанавливаться, несмотря на попытки убедить и уговорить его сделать это.

Штейнберг занялся переводами — по подстрочникам — современных поэтов Средней Азии. Делал он это с техническим блеском, но, кроме скудного гонорара, ничего не извлек, переводы не имели успеха ни государственного, ни литературного. Он слабо чувствовал мусульманский Восток, а воспроизведение тамошнего национального характера его не увлекало. Лучше пошло дело с Молдавией, с Якутией, возвратилась "старая любовь" — снова стали издавать в его переводах Радуге Стийенского (тот умер в 1964 г.). Но, в общем, жил Аркадий бедно. Он вспоминает об этом в одном из самых важных своих стихотворений этого периода ("Вторая дорога"):

Когда мне едва не пришлось в Ашхабаде
Просить на обратный билет Христа ради...

Тяжелый для Аркадия год стал и годом его творческого счастья. Вышел в свет созданный при его ближайшем участии (по сути дела, он составлял там весь поэтический раздел) нашумевший альманах "Тарусские страницы", в котором была помещена внушительная подборка стихотворений Штейнберга. Прочитав их, я убедился в справедливости изречения Камознса, пересказанного Жуковском: "Страданием душа поэта зреет". Огромные стихи!

Альманах подвергся удару со стороны официальной. В частности, было закрыто само издательство, выпустившее его. Но знатоки, истинные ценители прекрасного, запомнили имя доселе им неизвестного поэта. "Листопад" перевел на иврит Абрагам Шлионский, собирався — но не успел — перевести что-то из его стихотворений и Пауль Целан, посвятивший вдохновенную поэму самим "Тарусским страницам". Но справедливости ради надо сказать, что многочисленная масса читателей и слушателей, увлеченная несколькими молодыми именами (заслужившими свою знаменитость не случайно, впрочем), осталась к поэзии Штейнберга равнодушной.

Это закономерно. Поэзия Штейнберга жива содержательностью. Содержательность есть основа всякого искусства. Не надо путать содержательность с содержанием. Содержательность — дух, а содержание — одна из телесных оболочек. Кто видел дух без тела? А тело, даже ли-

шенное духа, доступно всеобщему обозрению. Содержательность является нам облаченной в то тело, какое ей потребно. Она может являться нам в любом облике, и мы легко принимаем облик за содержательность. Короче. Вы хотите отличить истинное искусство от ложного? Вникайте в его содержательность — не в содержание! — и вы познаете дух в соответствующей ему плоти. Можно подражать телу, облику, оболочке, но невозможно подражать содержательности. Ибо кто видел, чтобы подражали духу?

Стихотворение Штейнберга "Человек", одетое в обычный пятистопный ямб, обутое в привычные строфические сандали и перекрестных рифм, находится в авангарде поэзии благодаря своей содержательности. Речь идет о пожилом лилипуте:

Коротконогий, щуплый, безбородый,
Неравный нам по росту и судьбе,
Ограбленный безжалостной природой,
Он главное сумел вернуть себе.

И стал он в нашем царстве гулливерском
Таким, как мы, с начала до конца.
На старческом лице, по-детски дерзком,
Сквозила мысль того же образца.

Мы видим не платье оригинального покроя, не оболочку, это дух сквозит сквозь тело слова. Содержательность — это Бог искусства.

Вершиной штейнберговской содержательности я считаю его неопубликованную поэму "К верховьям". Развитие русской поэмы еще не исследованно. Грандиозные успехи нашей прозы привели к тому, что пушкинские и лермонтовские романы в стихах уступили место некрасовским поэмам натуральной школы, поэмам-символам Блока, поэмам-монологам Маяковского, пленительно-загадочной, многосодержательной "Поэме без героя" Ахматовой. Из-за внешних обстоятельств за пределами интересов наших литературоведов остались, например, поэмы Бродского, зачинающие собой новое направление русской стихотворной эпики.

Поэма "К верховьям" построена с дорической простотой и совершенством: на маленьком суденышке, плывущем вверх по реке, собрались люди разных судеб. Это очерк в стихах — именно такой подзаголовок к поэме "Бродяга" сделал в свое время Иван Аксаков. И какая

высокая поэзия в этом очерке в немногим более чем в 1000 поэтических строк, какая пронзительная. музыка, какая восхищающая душу содержательность! Я убежден, что "К верховьям" — одно из тех творений, которые, обогатив представление читателей о жизнеспособности русской поэмы, откроет многое в понимании человека. А это — вечная задача искусства.

Штейнберг предложил издательству "Советский писатель" свою книгу, в которую вошли поэма и часть лучших его стихотворений. Отзывы рецензентов носили в общем положительный характер, хотя поэму известный поэт и прозаик Александр Яшин назвал скучной и вялой. Другой рецензент, В. Сикорский, в своей десятистраничной рецензии не высказал ни одного замечания "против" и высказался всецело за издание книги. Книгу — первую книгу немолодого автора — приняли к печати, даже выплатили "аванс". Однако, поэму было предложено переработать — иначе говоря, изувечить. По их настоянию Штейнберг убрал из числа пассажиров речного парохода юношу Гуревича (еврейская тема). Редакторов эта "операция", казалось бы, удовлетворила. Но вот рукопись попала в руки главного в издательстве сотрудника, ведающего поэзией — Бориса Соловьева. Это был непростой малый. Он хорошо знал русскую поэзию XX века, мог приватно восхищаться, цитируя наизусть, Гумилевым, Ходасевичем, Мандельштамом, но его редакторская алебарда действовала беспощадно. Я это испытал на себе. Он зарезал поэму Штейнберга. Была заказана еще одна рецензия — черносотенному "поэту" Цыбину, который высказался "за стихи, но против поэмы". Удар был нанесен совершенно точно: согласиться на то, чтобы книга вышла — как предложил Соловьев — без поэмы, Штейнберг не хотел. Он считал, что было бы бессмысленно предстать перед читателем без самого совершенного из своих оригинальных произведений. Я его понимал, поддерживал в том, что в его годы не надо издавать первую книгу без поэмы. Теперь я вижу, что мы оба ошибались. Еще тогда друзья Штейнберга собрали, "с миру по нитке", небольшую книгу его стихотворений — "Вторая дорога". Будь она издана, она все же открыла бы читателю одного из лучших поэтов современной России.

Я испытывал боль оттого, что попытка Штейнберга кончилась крахом. Какую же боль должен был чувствовать сам поэт, оставшийся без изданной книги. Я не верил Штейнбергу, когда он говорил, что самой главной его книгой будет не эта, оригинальная, а перевод "Потерянного Рая" Мильтона. Я думал, что он утешает себя. Я и тут ошибся.

Для меня самое важное в переводческой работе заключалось не в лирическом излиянии. Меня притягивала возможность выразить по-русски черты национального характера восточных народов, их мусульманское или буддийское мирозерцание. Для Штейнберга же англичанин Мильтон или китаец Ван Вэй были интересны не как поэты своих наций. Их стихи он ощущал как продолжение, вариацию своего поэтического "я". Моими путеводными звездами были Гнедич с его "Илиадой", Бунин с "Песней о Гайавате". Суть названных книг составляли греческий и индийский эпос: сначала — они, а переводчик — потом. Путеводной звездой для Штейнберга был Жуковский, который заявлял: "В моих стихах все чужое и все мое". Штейнберг с полным правом мог сказать эти слова о себе.

Он переводил "Потерянный Рай" одиннадцать лет. Ему помогала его молодая жена Наташа, хорошо знающая английский язык. Аркадий был женат четыре раза, три предыдущие спутницы его жизни были хорошие, красивые женщины, две из них родили ему трех сыновей. Наташа украсила последние двадцать лет его земного бытия не только своей молодой любовью, но и творческим пониманием его работы: и результатов ее, и ее трудностей.

Эти двадцать лет Аркадий Штейнберг был счастлив. Вспоминаются его довоенные строки:

Я счастлив, я страдаю вновь, —
Тем вечным счастьем, тем страданьем,
Перед которым все мертво,
Страданьем, ставшим оправданьем
Существованья моего.

Не прекращал он и занятий живописью. Мне нравятся его картины. Он никогда не писал с натуры, но всегда о ней помнил. Если его стихи построены по известной волошинской формуле — "безвыходность, необходимость, сжатость, сосредоточенность", то его картины — видения, призраки: видения трав, призраки башен, сочетание современного чувства цвета с композиционными приемами старых мастеров.

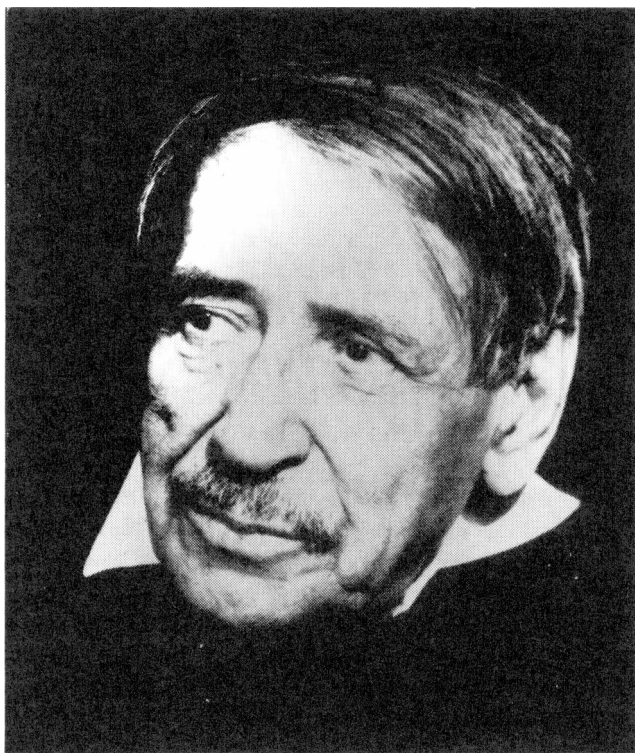
Он получил признание как поэт-переводчик, вошел у нас в стране в самый первый ряд мастеров этого нелегкого искусства. У него появились ученики, обожавшие своего образованного, требовательного, но всегда добросердечного наставника. *Его нельзя было не любить. Я не был обделен судьбой, был знаком с великими поэтами: очень близко с*

Ахматовой и Мандельштамом, случалось беседовать с Андреем Белым, Волошиным, Пастернаком, Цветаевой. Я не стану сравнивать с ними Штейнберга-поэта, но уверен, что, как человек, он был так же значителен, крупен, как и они. Он неохотно рассказывал о лагерных годах, но часто говорил, что благодарен судьбе за все тяжкое, выпавшее на его долю. Страданием душа поэта зреет. Он умер, как поэт, — недалеко от своей деревенской избы, упав на августовскую траву возле своей моторной лодки, на тверской реке Хотче. А собирался он в дорогу, во вторую дорогу.

Семен Липкин

Апрель 1985 г.

Москва



* *
*

Набегают голубые тени;
День истлел, на западе темно.
В этой грусти, в этом запустеньи
Что земля, что небо— все одно.

На полянах, на проселке пыльном
Никого; крапиве благодать.
Лишь по колеям автомобильным
Возраст века можно угадать.

Я сойду к заборам и домишкам,
К рыболовам, спящим над рекой,
К старым ивам, что полны с излишком
Гордой, человеческой тоской.

Лес миную, обогну овраги,
И бегом, густую пыль клубя,
Вниз, к реке, чтоб в неподвижной влаге,
Не увидеть — угадать себя.

Там, изрытый зыбкими кругами,
Сломанную ветку ухватив,
Он висит в пространстве вверх ногами
Обращенный, словно негатив.

Но в глазах, в изборожденной коже,
В каждой капле с радужной каймой,
Наобум я различаю все же
Возраст века, вечный возраст мой.

* *
*

Кроме женщин есть еще на свете поезда,
Кроме денег есть еще на свете соловьи.
Хорошо бы укатить неведомо куда,
Не оставив за собой ни друга, ни семьи.

Хорошо бы укатить неведомо куда,
Без оглядки, без причины, просто ни про что,
Не оставив ни следа уехать навсегда,
Подстелив под голову потертое пальто.

С верхней полки озирая чужие города
Сквозь окно, расчерченное пылью и песком.
Хорошо бы укатить неведомо куда,
Запотевшее окно обстреливать плевком.

Полоскать в уборной зубы нефтяной водой,
Добывать из термоса дымящийся удой,
Не оставив ни следа, уехать навсегда,
Раствориться без остатка, сгинуть без следа.

И не дрогнуть и не вспомнить — как тебя зовут,
Где, в какой стране твои родители живут,
Как тебя за три копейки продали друзья,
Как лгала любовница твоя.

Кроме денег есть еще на свете облака.
Слава Богу, ты еще не болен и не стар.
Мы живем в двадцатом веке: ставь наверняка,
Целься долго, сразу наноси удар!

Если жизнь тебя надула — не хрипи в петле,
Поищи другое место на земле,
Нанимайся на работу, зашибай деньгу,
Грей худую задницу на Южном берегу!

Верь солдатской поговорке: горе — не беда.
Хорошо бы укатить неведомо куда,
Раствориться без остатка, сгинуть без следа,
С верхней полки провожать чужие города.
Сквозь окно, зашлепанное проливной луной,
Сквозь дорожный ветер ледяной...

ПОЖАРИЩЕ

Я вижу город детства моего,
И мне не надо больше ничего.
Доходный дом, в котором я родился,
Домовый двор, которым я гордился,
Гнилого неба маленький кусок,
Печной трубы опухшее колено,
И дерево — рогатое полено,
Уткнувшееся головой в песок.

Я вижу город, где меня встречали
Былой любви восторги и печали.
Я вижу пыль его дрянных садов,
Я вижу гавань, полную судов,
Окраины, заставы и задворки,
Органчики, бумажные цветы,
Плеск поцелуев, запах дынной корки,
И женский смех на грани темноты.

Здесь я мечтал в мансарде заповедной,
Здесь я кичился нищетой наследной.
Я жил один. Мне было все равно.
По вечерам я открывал окно
На море крыш, на тлеющие гребни
Кирпичных гор, на городской предел,
И я не знал, — что может быть волшебней
Живого сна, который мной владел.

Передо мной дымились пирамиды,
И подымались сомкнутой стеной
Висячие сады Семирамиды,
Учебники науки жестяной.
И я зубрил наглядные уроки:
Глубокий двор и горизонт широкий.
Подмыв локтями гипсовый карниз,
Я до отказа наклонялся вниз,
В бродило тьмы, где золотой калачик
Изображал насущный хлеб людской,

И голоса трудолюбивых прачек
Переполюбливались подлинной тоской.

Я совершал далекие прогулки,
Торчал часами в каждом переулке.
Облюбовав какой-нибудь фасад,
Я голову закидывал назад,
Потом кидался со всего размаху,
Как на арену — головой вперед,
Под бутафорский купол у ворот,
Похожий на черкесскую папаху.

Кого искал я? Что меня влекло
На лестницу, обитую железом?
Она, как орудийное жерло,
Вела мой шаг по винтовым нарезам.
Я подымался, и не чуя ног,
Дрожащим пальцем нажимал звонок.
Дверь отворялась. Легкие воланы
За ней мерцали, белизной дразня,
Но этот рай, постылый и желанный,
Дыханьем лжи окаменил меня.

И тени, что слетались к изголовью,
Благословить двойных объятий плен,
Глухие просьбы, шопот клятв:

"I love you...

Ich liebe dich..."

Все это прах и тлен.

Я строил храмы, опьяненный зодчий,
И вот — лежат в развалинах, в пыли,
У ног моих... Бессовестные ночи!
Они меня вокруг пальца обвели!

И снова ночь — коварна и тениста.
Все затопила смоляная тьма.
Подобно книгам в лавке букиниста,
На мостовой валяются дома
И между ними, в каждом промежутке,
Где гаснет даже месяц молодой,

Таятся опечатанные будки
С гремучей газированной водой.
Я шествую вдоль улицы пустынной,
Сжав кулаки поросшие щетиной,
И вижу город моего стыда:
Он был, он есть, он будет навсегда,
Как узелок, завязанный на память,
Как след происхожденья моего,
Я не могу его переупрямить
И мне не надо больше ничего.

Пусть он сгорит со всеми потрохами,
Доходный дом, где я грешил стишками,
Домовый двор, наполненный трухой,
Вся эта гниль, весь этот скарб сухой,
Чумные стены, дыры и заплаты,
Заборов угловатые края, —
Пускай сгорят лачуги и палаты,
И та тетрадь заветная моя!

Беспечной спичкой, праздничным огарком,
Ему судьба как пальцем погрозит?
Назло громоотводам и флюгаркам,
Негаданная молния сразит?
Иль может быть играющие дети,
Куря табак в заброшенном клозете,
Затеют бой, свернут газетный жгут,
И незаметно город подожгут?
Быть может ночью мне поможет случай,
Слепой зарей, иль на исходе дня, —
Из всех щелей прорвется дым колючий
И вспыхнет эпидемия огня.
Под хлопанье простынь и полотенец,
Развешанных на гулких чердаках,
Проснется в зыбке розовый младенец
С египетскими змеями в руках.

Он кажется подростком безбородым,
Он слишком юн, чтоб доверить свой суд,

Но небеса подушку с кислородом
К его губам, как соску, поднесут.
Теперь огонь мужает с каждым часом,
Он ширится, он обрастает мясом,
Бодает стены козлорогим лбом,
Мурлычет, изгибается горбом...

Гори, гори, мой город обреченный,
Летучим пеплом прыгай по волнам!
Пусть твои беспомощные стоны
О мужестве напоминают нам.
Когда ж, сраженный солнечным ударом,
Весь в пламени, умрет последний дом,
На черепках, на пепелище старом,
Мы новый город за ночь возведем.
Из гекатомбы переулков тесных
Он вырастет, как дерево, живой,
Дыша грозой, касаясь туч небесных
Своей неукротимой головой.

1932

* *
*

Страх разрушенья, страх исчезновенья
Меня не смог ни разу уколоть;
Я не пугаюсь грубого мгновенья,
Когда моя изношенная плоть
Утратит жар, что дан ей был на время,
Как гаснет искра на лету.
Но отвергая детскую мечту,
Бессмертия бессмысленное бремя,
Я думаю о неизбежном зле,
И не боюсь распада.

Мне не надо

Ни рая, ни чистилища, ни ада,
Ни даже вечной жизни на земле.

Воистину меня страшит иное:
Остолбененье старости людской,
Ее самодовольство записное,
Безверье, сухость, чопорный покой.
Боюсь лишиться молодых стремлений
Бог весть куда, в любую глушь и дичь,
Боюсь увязнуть в паутине лени,
Всезнания бесплодного достичь.
Боюсь прийти к заведомым пределам,
Где, может быть, подстерегает страх
Небытия, преображенья в прах,
Разлуки с жизнью, расставанья с телом...

1940 г.

* *
*

Опять под красною чертою
Грядет невзрачное число;
Как, в сущности, я мало стою,
И, если уж на то пошло,
Как я немного стоять буду,
В чертополох преобразясь,
Иль попросту в земную грязь,
Распределенную повсюду, —

Люблю трепещущую гать
Стелить сквозь топкое забвенье
И отгоревшее мгновенье
Хоть на секунду зажигать!
Люблю и почитаю счастьем
Ночами странствовать в былом,
С кладоискательским пристрастьем
Перебирая пыльный лом.

Как самобытный археолог
Люблю случайно, по пути,
Подняв бесформенный осколок,
Свою же клинопись найти;
И вопреки природе строгой,
Назло стремительным годам,
Люблю возвратною дорогой
Шагать по собственным следам!

Но я клянусь последним вздохом,
Что наяву или во сне,
Я обращаюсь к этим крохам,
Оставленным на память мне,
Не ради жизни или смерти,
Не ради друга или жены,
Не для тщеславия, поверьте,
Они так часто мне нужны!

Нет, не свиданий пламень зыбкий,
Не блеск покорных женских глаз, —
Одни утраты и ошибки
Я вспоминаю всякий раз.
И мне вовек не перепрыгнуть
Малейший промах и пробел,
Все то, что я хотел воздвигнуть,
Но не сумел иль не успел.

Я вспоминаю камень каждый,
Лежавший на пути моем,
И пересохший водоем,
И жар неутоленной жажды.
Когда меня берет тоска,
Я исчисляю в днях минувших
Одних бекасов ускользнувших
И щук, сорвавшихся с крючка,
Морщины горя, слезы боли,
Изнеможения неволи
И тысячи других вещей...

Тогда струится горячей,
По-молодому, по-былому
Моя стареющая кровь,
И отдаваясь чувству злему,
Я счастлив, я страдаю вновь
Тем вечным счастьем, тем страданьем,
Перед которым все мертво,
Страданьем, ставшим оправданьем
Существованья моего.

1940 г.

* *
*

Она стоит все там же, где стояла,
Затерянная посреди тайги.
Густое торфяное одеяло
Глушит неосторожные шаги.

Развесив лапы над землей пахучей,
Косматых елей темные шатры
Оберегли ее на всякий случай
До лучших дней, до нынешней поры.

Залетная, лазоревая птица
Расщебеталась ото всей души,
И тень моя, скользя за мной, ложится
На шелковые стрелки черемши.

Нога во мхах по щиколотку вязнет,
И сладкой хваткой сердце сведено,
Когда его опять хмелит и дразнит
Лесное приворотное вино.

От можжевела тянет хмарью тонкой,
Медовым дымом дышит зверобой,
Меж диких трав, мерцаая сизой пленкой,
Просыпан гонобобель голубой.

На заросли душистой облепихи,
На каждый куст, на каждый стебелек,
Едва лучась, торжественный и тихий,
Небесный ответ благодатно лег.

Исполненное радостного смысла,
Мгновение остановило бег.
В последний раз качнулось коромысло
Весов Судьбы, чтоб замереть навек.

И хижина, сколоченная грубо,
Стоит, не потая передо мной
Ни кругляков бревенчатого сруба,
Ни лебеды на кровле земляной.

Как позабытый бред, как морок давний,
В последний раз мне явлены теперь
Крест на крест заколоченные ставни,
Щелистая, разошедшая дверь.

И некуда от наважденья деться,
Лишь только бы не знать разлуки впредь,
Мне б только надышаться, наглядеться,
И жизнью захлебнувшись — умереть.

*Март 1948 г.
Ветлосян*

* *
*

Истлело все, что нам казалось раем,
Любовь и жизнь почти замкнули круг,
Лишь мы с тобой никак не умираем,
И трудимся, не покладая рук.

Мы тратим страсть без счета, без оглядки,
Швыряем на кон, как заветный грош,

Хоть знаем, что с партнера взятки гладки,
Для игрока — и проигрыш хорош!

17.VI.1948

Ветлосян

* *
*

Снежный саван сходит лоскутами,
За неделю побурев сперва,
На пригорках и буграх местами
Показалась прелая трава.

А земля, покорствуя сурово,
И страшна, как Лазарь, и смешна
В рубище истлевшего покрова
Восстает от гробового сна.

Будто выходцы из преисподней
Отчужденно жмутся по углам
Перестарки жизни прошлогодней,
Разноперый, безымянный хлам.

Ржавые железки и жестянки,
Шорный мусор и стекольный бой,
Цветников зловещие останки
За щербатой дряхлой городьбой.

В грозном блеске правды беспощадной,
Хлынувшей с лазурной вышины,
Некуда им спрятаться от жадной,
Все крушащей молодой весны.

Им деваться некуда от света,
Не уйти от властного тепла,
Горе тем, которых сила эта
Из могилы насмех подняла!

Горе тем, кто маяте весенней
Предал сердце, сжатое в комок,
Муку неминучих воскресений
Одиноко выплакать не смог.

И, рывком одолевая стужу,
Раскатясь, как снеговой ручей,
Призрак страсти изbleвал наружу
Горстку опозоренных мошей.

1948

Ветлосян

* *
*

Нас не одно и то же поле
Взрастило в давние года,
Но здесь, в безвыходной неволе,
Свела всеобщая беда.

Мы не одной и той же песней
Баюканы от первых дней,
И встреча наша тем чудесней,
И цепи наши тем прочней.

Тюрьма сковала эти звенья
И закалила в горький час,
И языку сердцебиенья
Насильно обучила нас.

Мы разных станом, разной крови,
Но стоит нам сойтись вдвоем,
И мы тотчас же в каждом слове
Знакомый говор узнаем.

И нет роднее в целом свете,
Чем этот смысл, возникший вдруг
В бессвязной смене междометий,
В безмолвной перемычке рук.

Август 1948 г.

Ветлосян

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Я День Победы праздновал во Львове.
Давным-давно я с тюрьмами знаком,
Но мне в ту пору показалось внове
Сидеть на пересылке, под замком.

Был день, как день: баланда из гороха
И нищенская каша — магара.
До вечера мы прожили неплохо.
Отбой поверки: значит, спать пора.

Мы прилегли на телогрейки наши,
Укрылись чем попало с головой,
И лишь майор немецкий у парашаи
Сидел, как добровольный часовой.

Он знал, что победителей не судят.
Мы победили. Честь и место нам.
Он побежден, и до кончины будет
Мочой дышать и ложки мыть панам.

Он, европеец, нынче самый низкий,
Бесправный раб. Он знал, что завтра днем
Ему опять господские огрызки
Мы, азиаты, словно псу швырнем.

Таков закон — в неволе и на воле.
Он это знал, он это понимал,
А потому — не корчился от боли,
Губ не кусал и пальцев не ломал.

А мы не знали, мы не понимали
Путей судьбы, ее добро и зло
На досках мы бока себе намяли,
Нас только чудо вразумить могло.

Нам не спалось. А ну засни, попробуй,
Когда тебя корежит и знобит,
И ты листаешь со стыдом и злобой
Незавершенный перечень обид.

И ты гнушаешься, как посторонний,
Своей же плотью, брезгуешь собой,
И трупным смрадом собственных ладоней,
И собственной зловещей худобой.

И грязной, поседевшей раньше срока
Щетиною на коже впалых щек,
А Вечное, Всевидающее Око
Ежеминутно смотрит сквозь волчок.

1964 г.

КОРОЕДЫ

В непролазной, буреломной чаще
Обитает испокон веков
Грамотный народец работающий,
Гильдия типографов-жуков.

Не успела плод запретный Ева
Накусить, как тотчас же в раю
Жук-типограф на волокнах Древа
Выгрыз надпись первую свою.

По примеру пращура доныне
Подвиг жизни каждого жука —
Выедать изгибы сложных линий
Литер нелюдского языка.

И строчить на заболони бренной
С помощью природного резца
Подлинную хронику Вселенной
От ее верховья до конца.

Шестиногий Нестор неизвестный,
Скромный жестоккрылый Геродот,
Продвигаясь под корой древесной,
Летопись подробную ведет.

Так из года в год порой весенней,
Сокровенный кодекс мировой
С каждой новой сменой поколений
Новой пополняется главой.

Цепь событий в их связи причинной,
Вплоть до наименьшего звена
На скрижалях Библии жучиной
Всеохватно запечатлена.

В этих рунах ключ к последним тайнам,
Истолковано добро и зло;
То, что людям кажется случайным,
В них закономерность обрело.

Сущность бытия, непостоянство
Мирозданья, круг явлений весь,
Вещество, и время, и пространство
Формулами выражено здесь.

Наше суесловье, всякий промах
Утлой мысли, тщетность наших дел,
В хартии дотошных насекомых
Внесены в особенный раздел.

Нами нерешенные задачи,
Вера, коей не воскреснуть впредь,
Истины, которые незрячий
Разум наш пытается прозреть,

Перечень грядущих судеб наших,
Приговоры Страшного Суда,
Судьбы звезд — горящих и погасших
Внесены заранее сюда.

В книге, создаемой во мраке,
Скрыта не одна благая весть,
Но ее загадочные знаки,
К сожаленью, некому прочесть.

Нет у нас охоты и сноровки,
За семью печатями она,
И не поддаются расшифровке
Эти нелюдские письма.

10.IX.1969

Грызино

ВТОРАЯ ДОРОГА

Полжизни провел как беглец я, в дороге,
А скоро ведь надо явиться с повинной.
Полжизни готовился жить, а в итоге
Не знаю, что делать с другой половиной.

Другой половины осталось немного:
Последняя четверть, а может — восьмая,
Рубеж, за которым вторая дорога
Широкая, плоская лента прямая.

Не ездят машины по этой пустынной
Дороге, на первую так непохожей;
По ней никогда не пройдет ни единый
Случайный попутчик и встречный прохожий.

Лишь мне одному предназначена эта
Запретная для посторонних дорога;
Бетонными плитами плотно одета,
Она поднимается в гору полого.

Да только не могут истлевшие ноги
Шагать, как бывало, по прежней дороге.
Мне сделать за вечность не более шагу,
Шагну, спотыкнусь и навечно прилягу.

Когда мне едва не пришлось в Ашхабаде
Просить на обратный билет Христа ради,
И я ковылял вдоль арыков постылых,
Дурак-дураком, по жару трежлятой,
Не смея вернуться в свой номер, не в силах
Смириться с моей невозвратной утратой.
А позже, под вечер, в гостинице людной,

Замкнувшись на ключ, побродяжка приبلудный,
Впотьмах задышался от срама и горя,
Как Иов на гноище с Господом споря,
И навзничь лежал нагишом на постели,
Обугленный болью, отравленный желчью,
Молчком нагнетая в распластанном теле
Страданье людское и ненависть волчью, —
В ту ночь мне открылась в видении сонном
Дорога, одетая плотным бетоном,
Дорога до Бога, до Божьего рая,
Дорога без срока,
Дорога вторая.

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

(Эпический роман в архитезисном изложении)

Было так: пришла Фемида Убогая, сказала слово.

А слово такое:

— Завтра явится Мессия. Да убойся его, Человек!

Назавтра пришла продразверстка в буденновском шлеме.

Сказала: "Зерно!". И сказала: "К стенке!"

Слово ее не разошлось с делом: отыскав зерно, поставила к стенке.

Фемиду Убогую искали, искали. Не разыскали.

Определили: ее слово к делу не пришьешь. Вот мужа ее, деда Фемида, пришить можно.

Дед Фемид родился с пулей в груди. С ней и вырос. Любил похлопывать себя по животу и приговаривать:

— Я пуленепробиваемый!

Его расстреляли до рассвета, когда деревня еще спала.

Дед упросил расстрельщиков:

— Бейте меня в одиночку, как лютого шатуна. На людях не надо. Не поверят вам люди. Я ведь пуленепробиваемый.

Пошли навстречу пожеланиям трудящихся — расстреляли в одиночку. Трудящиеся все равно не поверили. Дед-то был пуленепробиваемый.

Жил человек, искал дары природы.

А ему наган в ухо.

— Не ищи, чего нет. А ухо востри востро.

А он — глупец из породы ученых самобытков — рот раскрыл и...

Закон: рот раскрыл — получай! Вот и закатали ему в желудок девять грамм наивысшей учености.

А народ? Воды — в рот. Ибо в душе — пламень.

"И в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим!"

У человека была душа. А жил человек в колхозе. Хотел душу вырастить, да поглядеть: что это такое?

А ему говорят:

— Душа не волк, в лес не убежит. Расти поросят, будут свиньями.

Поросята выросли. Стали свиньями. А человек? Тоже вырос. Вырос и выучился.

— Душа не волк. В лес не убежит.

С тем и живет человек. Впрочем, как и весь его колхоз, который не волк — в лес не убежит.

Жил был поп. Богу молился. А тому ли Богу молился, в Губчека никак не могли прознать. Очень уж их неверие заедало — и в Бога, и в человека.

Провели дознание. Установили: молился — это точно. Кому? Неизвестно.

Поискали статью. Нашли!

У попа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса. И попала в Губчека. Вместе с попом.

На допросе показала: мясо колхозное. Более того, народное. Поп же опаивал прихожан опиумом для народа.

На суде определили меру высшей социальной защиты: собаке за вредительство — живодерня, попу за шпионаж в пользу потусторонних сил — Соловки.

Было: головокружение от успехов. И человек потерял голову.

Надо бы зерно сажать. А сажали людей.

Надо бы урожай снимать. А снимали головы.

Вынесли резолюцию: разобрать человека на партсобрании.

Разобрали. По сей день не соберут. Разбирали-то как? С умом! На запасные части. А запасные части — дефицит во все

времена. Самим себе пригодятся...

Человеку дали армию. Сказали:

— Бей чужих, чтобы свои боялись.

Свои-таки боялись. Чужие нет.

Накостыляли человеку по шее. И любят на него, не на любят.

Откуда ты такой темный?

— От сохи.

— Как же ты от сохи и в командармы вышел?

— А у нас всегда так: кто был никем, тот станет всем. А кто был всем, тот, курице понятно, стал никем. Высшее достижение советской власти!

— О да, с такой властью вы далеко пойдете!

И, действительно, пошли — далеко. Сначала до Москвы, потом до Берлина. По пути миллионами жизней землицу засеяли, чтобы, вернувшись с победой в родные края, собрать рекордный урожай — генералиссимусову звезду.

Человеку вручили палку. Сказали:

— Винтовка! Бей, коли, режь, убивай! В плен попадешь — враг! Из плена сбежишь — домой не воротишься!

Пошел человек на фронт. Попал в плен. Из плена сбежал. Домой не вернулся. Золото мыл на Колыме. В окружении винтовок, тех, которые не палки и, значит, предназначались не для фронта. А для чего? Для охраны намытого золота? Или же его, человеческого молчания? Молчание ведь тоже золото, коль скоро оно выдается за знак согласия.

Свои не оборонили, не защитили.

Пришли чужие. Мордой в грязь потыкали.

Оскорбился человек:

— Мало от своих, так и от чужих сносить? Где это видано?

Вытащил из плетня кол и пошел гулять колом по вражьи головам.

Отдышался, видит — кругом мертвяки. А податься некуда, разве что в лес.

Подался в лес. Прибился к таким же.

Стали праздновать вольницу — чужих против шерсти причесывать.

Дождались своих.

Свои учинили дознание. Кому припомнили подневольный труд на чужих, кому лесную вольницу. Рассортировали: кого в лагерь, кого на фронт.

Потом для тех, кто с фронта вернулся, придумали анкету: находился ли на оккупированной территории? Затем, чтоб и сами не отмылись в случае чего, и дети их поменьше в институты шастали.

— Есть грамотей? — спросили чужие.

— Чай, я грамотный, — ответил человек.

Назначили старостой. Мучился человек. Пил горькую.

Пришли свои.

— Ага, попался, голубчик!

— Чист я перед вами, братцы, Христом Богом клянусь!

Не поверили. Наказали показательным процессом, чтоб другим было неповадно — на случай новой войны, священной, народной, отечественной.

Лес рубят — щепки летят.

Человек пахал на жене. Подписывался на заем. Выигрывал по облигациям Востановления Народного Хозяйства. Когда — шиш с маслом. Когда — от осла уши.

Получал трудодни. Объядался беленой. Умывался слезами. А по праздникам пел:

— *Я другой такой страны не знаю...*

Головокружение от успехов уже прошло.

Догоним и перегоним еще не наступило.

С построением развитого социалистического общества повышалась активность классовых противников — как в городе, так и в деревне.

Недобитки добивались. Затаившиеся враги разоблачались. Председатели сменялись: то их принимали за недобитков и добивали, то их принимали за притаившихся врагов и разоблачали.

Страна залечивала свои раны. А человек пахал на жене. Проще было бы пахать на батьке, все-таки мужик! Да батька на Колыме! На дядьке тоже не попашешь. В Соловках. Братана в тягло не впряжешь. В Воркуте!

На них пашет советская власть.

Пашет и слушает про себя песни:

— *"Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!"*

Человек подался на завод. А ему сказали:

— За опоздание — три года.

Человек испугался. Давай вмазывать в начальственные руки заявление: "По собственному желанию..."

Ему говорят:

— Где твоя рабочая честь? В летуны наострился? Летун — главный враг на сегодняшний момент. Кодекс читал?

— А кто его читал? Мы только за него голосовали...

— Так вот, в кодексе летун нынче помещен между вредительством и шпионажем.

Человек — в мелкий озноб. И ну вкалывать. Перекрывать норму. К Доске Почета подкатываться. Деньгу заколачивать за свою тысячу процентов выработки.

А ему говорят:

— Рвачество!

— Так я ведь свои кровные... своими, вот этими руками загребая — по честному.

Ему опять:

— Рвачество!

Попросил человек пересмотреть нормы: чтобы нормы были повыше, а зарплата пониже.

Человека уважили. Нормы пересмотрели. И ему, и всем прочим тоже — за компанию.

Теперь пятилетку он мог выполнить в три года. Но вот на зарплату свою протянуть все эти три года не мог.

Стал делать зажигалки. Таскать их на базар.

Подловили.

Потолковали про рабочую честь.

— Не уберег, — сказали, — смолоду.

И вмазали срок. А чтобы человек не очень расстраивался, "воронка" ему подружили с репродуктором:

— *"И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет".*

Человек написал стишок — *"Мы редутов своих не сдали"*.

Понравилось. Попросили еще.

Человеку что? Написал еще — *"Мы с победой вернулись домой"*.

Опять понравилось. Человека приняли в Союз Писателей. Сказали:

— Продолжай в том же духе!

Расчувствовался человек. Вывалил от души: — *"Очень трудно мы воевали в свой последний бой"*.

Не понравилось. Придумали человеку псевдоним. И тут же разоблачили.

Псевдоним остался на газетной странице. А человека поперли от гонорарных ведомостей и из Союза Писателей.

В белую горячку.

А в минуты просветления втолковывали ему на уголке, скидываясь на бутылку:

— *Новые песни придумает жизнь, не надо, товарищ, по песне тужить.*

— *Не надо, не надо, не надо, друзья* — отзывался он не своим голосом, потому что о нем продолжали писать в газетах: поет с чужих, враждебных голосов.

Человек стихов не писал. Но братишку выручить вздумал. Считал: таланту погибать негоже.

Взял в руки песенник, послюнявил его пальцем.

— Э-э, — сказал, — и мы так можем!

Две братановых строки оставил в неприкосновенности понравились ведь когда-то. Две добавил из песенника — любви, должно быть, народу, коль их из одной песни перекидывают в другую.

И получилось: краше — не придумаешь.

"Мы редутов своих не сдали.

Мы с победой вернулись домой.

Словно солнце товарищ Сталин

Освещал нам путь боевой!"

Хотели было стихи положить на гимн. Но у Михалкова дружки оказались попроворнее.

Человеку сказали:

— Не горюй! Пусть на гимн ты не вытянул, но за Сталинскую премию будь спокоен!

— Мне бы премию с братаном напару. Мы мастаки творчески работать в соавторстве. Все эти строчки тоже настругали вдвоем. Он половину. И я половину.

— Братану премия не положена. У него псевдоним. А у тебя фамилия.

— Диалектика!

— Да, друг, да, диалектика! Мы диалектику учили не по Гегелю!

И человек стал учить диалектику не по Гегелю. А по Сталинской своей премии. И выучился! Основы соцреализма потом преподавал в Институте всемирной литературы имени Горького.

"Мастером" его величали, хотя предмета не знал. Впрочем, кто его знал — этот предмет? Однако, книги писал, и какие! Теперь их ни в одной букинистической лавке не найдешь: библиографическая редкость!

Сталина разоблачили. Ленина не тронули. "Мы на правильном пути". "Коммунизм строить молодым".

Папу, поэта, — разоблачил. Маму, домохозяйку — не тронул. Зубрил моральный кодекс строителей коммунизма. На торжественной линейке вместе со всей красногалстучной пионерской гвардией захоронил в металлическом ящике брошюрку до восьмидесятого года. Наступил восьмидесятый, выкопал брошюрку — самому припомнить, да и деткам прочесть о том, какой рай на земле отгрохали.

Читает. Строчки пляшут, в глазах двоится.

"Четырехчасовой рабочий день!"

"Бесплатный общественный транспорт!"

Ни тебе жилищной проблемы!

Ни тебе нехватки продуктов на душу населения!

Ни тебе того! Ни тебе этого!

Так ничего-то и нет!

— Братцы-люди! Строили, строили! А ничего-то и нет, ничегошеньки! Что же это такое мы построили?

Набежали люди. Зырк глазом туда, зырк сюда. Что дадут? Видят: "Программу строителей коммунизма". Набросились на духовную пищу. Чтобы хоть чем-то червячка заморить.

Заморили. Смехом.

Правда, и людишек потом заморили. Уже не смехом. Лекарствами, от которых — не до смеху... Ибо читая книгу, должен видеть фигу. А видишь нечто иное, не верь глазам своим!

“Человек человеку — друг, товарищ и брат.”

— Выучился! Следующий!

Человек выучился. И тут к нему, как к человеку, по-дружески, по-товарищески, по-братски:

Дан приказ тебе на Запад!

— Что?

— С дружеским расположением, по-товарищески нелицеприятно, с братской миссией... ша-а-гом арш! В Чехословакию!

Человек бросился к памятнику Свободы. Облился бензином — запылял факелом.

Набежали дружинники. Кинули человека в речку. Едва-едва потушили.

Все сделали оперативно, мастерски, как надо. По-дружески, по-товарищески, по-братски. О них потом в газете писали, под рубрикой: “Так поступают советские люди”.

О человеке не писали. Он сам писал.

Объяснения. Под диктовку следователя в белом халате.

Человек заседал в жюри. Десятого Всесоюзного Кинофестиваля.

Был ребенком — снимался у Эйзенштейна. Был взрослым — смотрел фильм “Дорогой Никита Сергеевич”. Вышел в люди — задался вопросом: “Доживем до понедельника”? Стал маститым, возглавил жюри.

Поднялся на трибуну, задумался. До понедельника недалеко, но поди доживи — оглашать результаты надо сейчас.

Огласил.

Гран-При лучшей ленте всех времен и народов, документальному фильму “Повесть о коммунисте”, про родного и любимого Ильича — товарища Брежнева, еще не лауреата Ленинской премии по литературе, но к литературе очень приспособленного. Он еще свое напишет!

И товарищ Ильич написал. Не подвел товарищей.
И человек не подвел товарищей. Огласил.
Лауреатские звания они поделили потом полюбовно.
В психушку их за это дело не уехали.

Человек работал на конвейере. Собирал мопеды отличного качества — в период завершения пятилетки повышения благосостояния трудящихся.

С конвейера его вызвали в отдел кадров.

Человек думал о премиальных, а ему подсовывают на подпись совсем не платежную ведомость.

Человек сощурился близоруко: о неразглашении!!!

Чего? А того, что сын этого человека погиб в Афганистане.

Подписал человек бумагу.

Отпустили его назад к конвейеру — не разглашать. А сын-то ведь — "смертью храбрых", как на войне...

Человек не разгласил.

Стало ему у конвейера дурно. И он — в обморок.

Конвейер остановился. Люди над несчастным склонились. И прочитали у него на губах: "Сын!!!"

За остановку конвейера человека лишили прогрессивки.

А за то, что в обморок упал, дали — до полного излечения санаторий.

Вылечился или нет — неизвестно. Об этом только его второй сын знал. Но и его убрали в Афганистан — чтобы не разгласил.

На углу стоят двое.

Подходит третий, точно такой же занюханный, но с университетским ромбиком.

— По рублику?

— Ты что? Сумасшедший?

— Какой сумасшедший, когда я кибернетик! — обиделся человек.

— А-а-а! Вон оно что! Вредное твое учение, реакционное. Под ногу его!

Бедные, да неужто вы тут стоите с самого пятидесятого года?

Ну и стоим! А что?

Так я же, получается, из вашего светлого будущего!
Разве?

Да, братцы! Скинемся по рублику — за встречу!

По рублику? Ты, правда, из будущего?

Да!

По руб-ли-ку? Зна-чит, по-стро-и-ли?! Живем теперь,
братцы! По рублику!

— Ну так сообразим?

— А то как же, если теперь "по рублику"!

Время — вперед!

Было так: пришла Фемида Убогая, сказала слово.

А слово такое:

— Завтра явится Мессия. Да убойся его, Человек!

Назавтра...

Но до завтра мы еще не дожили...

Ефим Гаммер

У чемоданов строгий вид,
А мебель у стены теснится,
И вновь соринка норовит
В моих запутаться ресницах.

И подоконник и карниз,
В окне поблеклый угол крыши
Вдруг комом к горлу поднялись
И поднимаются все выше, —

И не удержишь больше слез,
Как ни скрывай полкой газетной,
Пусть счастье здесь не удалось,
Пусть дни сменялись незаметно,
Пусть впереди иное... Ложь!
Стянув ремни на чемодане,
Ты в сердце погружаешь нож
И поворачиваешь в ране.

Лидия Алексеева

*

Смотрю в себя, как в омут: отражая
Мои глаза, мерцает верхний слой,
Но дальше — дальше я себе чужая,
Заслонена молчащей глубиной.

Зачем мое сознание — да мое ли? —
Зажглось и тлеет в чуждом существе, —
Как лунный луч, как точка острой боли,
Как светлячок в полуночной траве?

И те глаза, что я зову моими,
Вдруг прикрывает это существо...
И, откликаясь на чужое имя,
Я имени не знаю своего.

Лидия Алексеева

”ПОСТОРОННИМ НЕ ВХОДИТЬ”

Под утро мне приснился наш Главный конструктор Агабабыч — так мы все зовем его за глаза. У него такое мудреное отчество и фамилия, что он сам иногда говорит: “Называйте меня Агабабычем, если не можете выговорить моего имени”. Он армянин, человек незаурядных способностей, чудак, высшее начальство его не любит.

Агабабыч приснился мне в одежде апостола. Во сне всегда привидится какая-нибудь чепуха. Обычно Агабабыч одет, как шут гороховый: в каких-то бархатных куртках, галстук бабочкой, или повяжет на шею цветной платок. Начальство по этому поводу злится — не пристало Главному конструктору, да еще крупного научно-исследовательского института, выражаться как какому-нибудь маэстро; не хватает только кружевных манжет. Институт наш номерной, то есть секретный. В такой одежде, с точки зрения начальства, пристало водиться разве с какими-нибудь диссидентствующими художниками, или — не дай Бог — с иностранцами: последнее, впрочем, строжайше запрещено всеми служебными инструкциями. Начальник первого отдела института, то есть секретного, при встрече смотрит на Агабабыча исподлобья, словно собирается забодать. Забодают Агабабыча, ох, забодают, хотя ни с кем, кроме своей собственной жены, он не общается. Ходит с ней на концерты симфонической музыки. Против концертов классической музыки в инструкциях пока ничего не написано. Но напишут, найдут что-нибудь предосудительное в поведении Агабабыча, непременно найдут.

Так вот, сегодня под утро Агабабыч явился мне в одежде

апостола. Встал у моего изголовья и изрек: "Извини, человече, ничем не могу тебе помочь. Пропадешь, брат, ни за грош". Вот тебе и на, стоило так выражаться! Я и сам знаю, что пропаду, что все мы пропадем, по собственному, как говорится, желанию. Больше Агабабыч-апостол не пожелал ничего сказать, скорбно опустил веки. А тут пришло время просыпаться.

Я всегда просыпаюсь минут на пятнадцать раньше будильников. Их у меня два. Алла спит на моей руке; надо вытащить руку осторожно, чтобы не разбудить. Потом выключить кнопки будильников, чтобы не зазвенели. Еще минут десять можно полежать с открытыми глазами. Наша квартира малогабаритная, из бетонных панелей, весь дом слышен насквозь. Вот зазвонил будильник справа. Это сосед-алкаш; будильник ставит, а никогда не встает вовремя. Будильник замолчал. Чем-то швырнул в него, наверное, — подушкой или ботинком. Наверху кто-то воспользовался унитазом. Где-то скрипит кровать, занимаются любовью. Потом в их квартире будет урчать унитаз. Скоро должна хлопнуть входная дверь — один из жильцов уходит на работу.

На стенах нашей квартиры висят фотографии зверей и птиц, снимки эти сделал я в лесу. Ружье висит рядом с фотоаппаратом, но я им пользуюсь на охоте очень редко.

Входная дверь внизу хлопнула так, что содрогнулся весь дом. Пора вставать. Проснулась и Алла.

— Опять твои два звонка, как будто одного недостаточно.

— Ни один не звонил.

— Ты как заведенный механизм. Так нельзя, в тебе что-нибудь сломается. Хоть раз в жизни опоздай на работу...

Алла работает в редакции, ей на работу к одиннадцати. Я неосторожно загремел чайником на кухне. Алла вскакивает.

— Не смей заниматься бабскими делами! Почему не попросил меня?

— У тебя еще есть время поспать.

— Ты слишком деликатен, даже с теми, кто садится тебе на шею!

У меня из рук посыпались тарелки. К счастью, ни одна не разбилась.

— Положи сейчас же все на место!

— Для меня было бы лучше, если бы ты не вставала вместе

со мной.

— Куда ты успел засунуть сковородку!? Недотепа! Когда я выходила за тебя замуж, твоя мама говорила, что тебя все время нужно толкать в спину, тобой нужно руководить. Твои интеллигентные родители воспитали тебя беспомощным, ты не можешь за себя постоять!

Я молчу. Поток красноречия моей жены все равно не останавливать.

— Твоя покорность кого угодно выведет из терпения! Ты можешь хоть раз крикнуть на меня, на твою законную жену!? Тебе же надоело мое ворчание.

— Мечта женщин всех времен и народов — иметь рядом мужчину с твердым характером. Вы иногда говорите о равноправии, на самом деле, вам хочется подчиняться воле мужчины. Даже в брачных газетах заграничей...

Алла с шумом ставит передо мной мой завтрак.

— Я прежде всего не хочу, чтобы мой мужчина подчинялся всякому ничтожеству!

— Жизнь, к сожалению, построена на подчинении одних другим.

— ...И кто лучше всех умеет подчиняться, тот быстрее всех продвигается в начальники.

— Да. Мне трудно подчиняться, поэтому я и не стремлюсь в начальники.

— Знаю, что не стремишься. Бог с тобой... Разве ты не можешь поговорить о своих идеях прямо с вашим Главным, с Агабабычем? А... понимаю — невежливо, нетактично. А вот твой Димочка лишен подобных комплексов. Для него все, что приносит пользу, тактично. Ну сделай что-нибудь такое! Скажи Димочке, что ты о нем думаешь! Не хочешь? Обругай соседа-пьяницу! Измени мне, хотя бы!

— Это еще зачем?

— А затем, что всякого нормального мужчину должны интересовать деньги, женщины, автомобили. Нельзя быть не от мира сего. Вы там все, впрочем, такие. Димочке легко быть вашим шефом. Он процветает не по законам природы, вы помогаете ему выжить и размножиться.

— Человеческое общество живет не по законам природы,

поэтому в нем и происходит столько глупостей...

В тот ранний час, когда я выхожу на улицу, там одни дворники да собаки. Темно и холодно. И пожилая дама, прогуливающая огромного сенбернара. Завидев меня, пес садится и протягивает лапу. Я пожимаю лапу, киваю его хозяйке и продолжаю свой путь. Мы с ней почти никогда не разговариваем. Так нам удобнее. О чем нам говорить, малознакомым людям? О погоде? О соседях?

Наш научно-исследовательский институт построен из таких же бетонных панелей, как и дом, в котором я живу. На двери лаборатории надпись — “Лаборатория No. 1065” и ниже — *“Посторонним не входить”*.

Дверь начинает открываться и закрываться. Появляется наш уважаемый Сидор Степанович в старом военном френче со споротыми погонами. Следом за ним — не менее уважаемый Николай Иванович, всегда подтянутый, собранный, замкнутый, хотя и молодой — мог бы быть и повеселее. А вот и сам Димочка, Дмитрий Витальевич, наш начальник и всем великий друг. Дымчатые очки в металлической оправе, металлические пуговицы на пиджаке. Даже пряжки на ботинках сверкают. Он хлопает каждого из нас по плечу, в его голосе звучат покровительственные интонации. Так сказать, друг и старший брат. Его появление всегда вызывает фальшивое оживление, как появление конферансье на сцене.

— Всем привет! — говорит Димочка, счастливо улыбаясь. Мне он отвешивает церемонно-вежливый поклон:

— Наш уважаемый “Эдисон” уже приступил к размышлениям! Смотрите, коллега, резко не прибавляйте обороты. Прогрейте сначала мотор.

Теперь он направляется к нашему технику, Николаю Ивановичу.

— Николаю Ивановичу наше нижайшее почтение, — говорит Димочка, энергично тряся его руку. — Ну что, я вам говорил, что “Динамо” под конец сезона себя покажет? Кто был прав? Ну, а как дела с квартирой? Вы не стесняйтесь, скажите. Мы похлопочем, обратимся к кому надо, напишем какие надо письма.

— Благодарю, — сдержанно говорит Николай Иванович. —

Я сам постараюсь.

Димочка, кажется, не слушает:

— А "Динамо" все-таки выйдет в лидеры! Выйдет!

Сидор Степанович поглядывает со стороны на Димочку с улыбкой.

— Наш доблестный полковник, кажется, не разделяет примитивных интересов по поводу голов, очков и прочего? — спрашивает Димочка.

— Я, Дмитрий Витальевич, как вы хорошо знаете, майор в отставке. Все войны прошел интендантом, по хозяйственной части...

— Ничего, ничего, — перебивает Димочка, — ничего. что майор, ничего, что интендант, все равно доблестный. Имеете право на получение билетов в кинотеатр без очереди.

— И на внеочередное медицинское обслуживание тоже. Могу без очереди лечить дырки от осколков.

— Простите, простите, — говорит Димочка, немного смутившись. — Я не знал, что вы были под пулями и снарядами, ходили, так сказать, в рукопашную.

— В рукопашную всего пару раз, под пулями бывал редко, а под бомбежками и артиллерийскими обстрелами часто. Под чужими. И своими — тоже.

— Простите, ради Бога, я знаю войну только по кинофильмам. Наши наступают, белые или немцы бегут. Правда, говорят, бывало и наоборот.

— Бывало. Было даже так, что свои на своих сзади наступали, в своих стреляли... Ну, а вас, я слышал, можно поздравить с получением ученой степени.

— Да, я теперь кандидат технических наук, — говорит Димочка, словно извиняясь. — Напрасно не пришли на банкет, я вам звонил из ресторана.

— Стар я для банкетов, больше по похоронам старых товарищей хожу....

— Хорошо, хорошо. Давайте лучше о спорте...

— Самим играть надо, а не болеть. Мы в вашем возрасте и в хоккей и в футбол играли. А вы только в ящик смотрите и волнуетесь.

— В наш век, уважаемый Сидор Степанович, в век научно-

технической революции, нам с Николаем Ивановичем трудно быть хоккеистами, для нас спорт — допинг, который мы принимаем по вечерам. Наш век — век специализации, не так ли, Николай Иванович? — Димочка подходит к нему. — Что вы читаете? "Бюллетень по обмену жилой площади". Да, заедает квартирный вопрос, заедает, как говорил Воланд в "Мастере и Маргарите". Читали, небось Булгакова?

— Нет, не читал, — отвечает Николай Иванович, и, подумав, добавляет: — У Булгакова — не "квартирный вопрос", а "жилищный".

Значит, все-таки читали?

— Нет, не читал. Жена читала.

— Ваша жена — коренная москвичка? В старой Москве живете?

— Да, коренная, в старой Москве.

— Тяжелый случай... Большую ошибку сделали, перебравшись из Татарии. Были бы сейчас там у себя чемпионом, а не чертежником. Тяжелый случай.

Димочка, наконец, усаживается за свой стол.

— Владимир Петрович, — снова обращается ко мне Димочка, — как вы относитесь, скажем, к влиянию социальных условий на спортивные интересы?

— Я согласен, что у "Спартака" шансов значительно больше, — отвечаю я невпопад.

Сидор Степанович и Николай Иванович улыбаются.

— Вы, как всегда, в сине дали смотрите, — обиженно замечает Димочка.

— Насчет "Динамо", то есть "Спартака", я совершенно согласен... с дифференциацией, интеграцией и современным научным подходом — тоже.

— Тяжелый случай, тяжелый, — говорит Димочка. — Вы хоть иногда читаете газеты? Или смотрите программу "Время"?

Димочка поднимается со своего места, опять подходит ко мне: — Скажите, пожалуйста, что вы там созерцаете? Я ничего, кроме желтых стен, не вижу. И почему вы никогда никому не возразите?

— Оставьте его в покое, он же вам уже сказал, что во всем виноват и со всем согласен. Особенно согласен с вами, — гово-

рит Сидор Степанович.

— Ну, со мной он, положим, никогда не согласен, всегда остается при своем мнении. Все как сговорились! Вот попрошу Главного меня освободить — дадут вам в начальники какого-нибудь жлоба.

— Никуда вы не уйдете, — тихо говорит Сидор Степанович, — вы — всюду и имя вам — легион.

— Черт знает что, — говорит Димочка, — вы, случайно, стихов не пишете? По ночам?

— Нет, не пишу.

— Черт знает что, ни одного нормального человека вокруг!

В коридоре долго, резко и противно дребезжит звонок, возвещающий начало рабочего дня.

— Что ж, друзья, поговорили и хватит, — говорит Димочка, — прошу приготовиться к созидательному труду.

Начиная стихать, звонок издает прерывистые звуки, как вода, которая еще не вся вытекла из закрытого крана. Одно место в комнате пустует. Димочка смотрит туда, склонив набок голову и подперев щеку рукой.

— Уверен, дорогая, — вы давно пришли. Наболтались досыта со своими подругами в коридоре, перемыли всем кости, а теперь стоите под дверью и дожидаетесь последней трели.

Звонок, поперхнувшись, умолкает. И тотчас же в комнату входит Любовь Тимофеевна.

— Явление последнее, и самое главное, — говорит Димочка. — Нас осчастливила своим появлением уважаемая Любовь Тимофеевна. Правда, с некоторым запозданием.

— Я никогда не опаздываю, — говорит Любовь Тимофеевна, — я всегда прихожу вовремя.

— Неужели трудно прийти на полсекунды раньше, на полсекунды меньше простоять в коридоре? — раздраженно говорит Димочка.

Заведите секундомер, не о чем будет спорить.

Вы найдете другой спорный предмет.

Спорные предметы находите вы, а не я.

Черт знает что! Увольняться надо. Бежать без оглядки куда глаза глядят.

В лаборатории устанавливается гробовая тишина, вроде ми-

нуты молчания в особо торжественных случаях. Постепенно мы начинаем заниматься своими делами. Любовь Тимофеевна демонстративно рассматривает в маленьком зеркальце свои ресницы. Назло Димочке, она еще некоторое время будет прихорашиваться. Она молодая, интересная женщина и, видимо, с плохим характером. У таких женщин характер портится, если рядом нет достойного мужчины.

Прежде, чем начать работу, мне необходимо сосредоточиться, настроиться на определенную волну. Основная идея, впрочем, уже существует. Когда я в первый раз сказал о ней Димочке, он не понял сути, но почувствовал, что в воздухе запахло успехом. У Димочки от волнения задрожали руки. Он сразу, без предисловий, стал говорить о том, какие трудности и препятствия стоят на пути одиночки, как косо смотрят на авторов — одиночек, особенно на таких, как я, что мне все равно будут навязывать соавторов, что люди со стороны, из управленческого аппарата, значительно хуже.

Димочка сказал, что возьмет на себя организационную часть, что у него есть “рука” в министерстве, что он знает все входы и выходы, так что мне не придется долго и безуспешно обивать пороги различных инстанций. Конечно, мне хотелось быстрее начать работу, а не заниматься обиванием порогов. Так образовался творческий коллектив в составе меня и Димочки.

Я всегда начинаю с очинки карандашей. Это помогает думать. Карандашей передо мной куча.

Димочка нетерпеливо ерзает на стуле.

— Владимир Петрович, дорогой, — обращается ко мне Димочка, — может быть, Любовь Тимофеевна очинит ваши карандаши?

— С удовольствием! — говорит Любовь Тимофеевна. Она вскакивает со своего места, подходит, отбирает мои карандаши.

— Любовь Тимофеевна, — говорю я ей, — карандаши чинить не нужно, мне нужна папка с техническими условиями.

Любовь Тимофеевна находит в шкафу требуемое, кладет передо мной на стол.

— Большое спасибо, — говорю я. — А как вы узнали, что мне нужна именно эта папка, а не какая-нибудь другая? Может быть, вы телепат?

Любовь Тимофеевна молчит. Немного погодя она встает, подходит и открывает папку в том месте, которое мне нужно.

— А как вы определили нужную страницу?

— По карандашам, — невозмутимо отвечает Любовь Тимофеевна.

Димочка тоже требует от Любви Тимофеевны что-то принести ему из шкафа. Та роется среди папок и книг, со страшным шумом переворачивает все вверх дном. Наконец, находит.

— Благодарю-с, — ледяным тоном говорит Димочка. — Вы очень любезны, и усердны тоже, устроили в шкафу настоящий разгром.

Папка, которую принесла Любовь Тимофеевна, не очень нужна Димочке. Он повертел ее и положил на край стола.

Постепенно в лаборатории воцаряется тишина. Все погружаются в свои занятия. Димочка время от времени поднимает голову и бросает на меня недружелюбные взгляды.

...Когда мы с Аллой только что поженились, я был "молодым специалистом", а Алла студенткой. Мы жили в крохотной комнатке, из мебели была одна кровать, писать приходилось на подоконнике, а дверь выходила прямо в кухню большой коммунальной квартиры. У нас были общие представления о жизни. Мы оба говорили, что человеку нужны друзья, любимая работа и любимый, близкий человек. Все это было...

— Почему ты не любишь стихов? — спрашивает меня Алла.

Не может быть, чтобы все оставляло тебя равнодушным.

— Я не люблю жить чужими страстями и чужими мечтами.

— Здесь и про твои чувства тоже.

— Нет, про мои нет нигде, они только во мне.

На пороге нашей комнаты появляется сосед-алкаш. Он небритый, с седой щетиной, в рубашке, выпущенной поверх брюк. В руках у него початая бутылка "бормотухи".

Желаю выпить с вами, от души желаю!

— Ты же знаешь, я не пью, жена тоже.

— А почему, спрашивается? Все пьют, а вы не пьете?

Я выпроваживаю его из комнаты.

— Значит, не желаешь? Может быть, слишком грамотный?

— Образованный! — продолжает он за дверью. — Не же-

дает пить с нами, с темными людьми. А не пьет оттого, что денег нет. У меня есть, я и пью! Отказывается, когда угощают! Много понимает о себе! Погодите, я здесь наведу порядок! Человек не должен жить отдельно, должен со всеми вместе! О чем они там разговаривают вдвоем? Что за люди к ним ходят? Что за книжки читают? Это мы все еще узнаем. Если у человека совесть чистая, ему нечего отгораживаться от людей! Погодите, напишем, куда надо!

— Постепенно работа вытеснила у тебя все остальное, — говорит Алла — тебя перестали интересовать люди. Ко мне ты привык, тебе со мной спокойно, ты знаешь, что я могу любить только тебя одного. Твои привычки постепенно становятся моими привычками, я погружаюсь вместе с тобой в наше одиночество.

Алла права. Круг замкнулся в двух маленьких комнатенках-коробочках, похожих, как близнецы. Один и тот же круг людей, один и те же разговоры.

Раз в году мы едем в отпуск, но не как все люди — на Юг, мы едем на Печору. Последний раз мы жили там в деревенской избе. В первое утро я вскочил по привычке рано. Раскрыл дверь, смотрел на низкий горизонт, затянутый темными облаками.

— Боже мой, — сказала Алла из-под деревенского цветастого одеяла, — какая стужа! И это конец апреля! Разве нормальные люди отправляются в отпуск в это время, да еще на Север.

— Смотри, — сказал я, — вот они над рекой, над низким берегом. Чирки. Лед на реке потемнел. Где-то есть открытая вода. Если летят чирки — значит, лед скоро тронется. На реке уже есть полыньи. Сейчас они сядут отдыхать на воду.

— Бедные чирки — в такой холод, да еще купаться в ледяной воде!.. Володя! Да ты же босой стоишь на полу перед раскрытой дверью! За порогом лед!

— Слышишь пение? — спрашиваю я Аллу. — Это старухи поют. Они по деревенской привычке давно встали, не могут сидеть без дела. Они поют, словно охают, протяжно и тоскливо. И дом тоже скрипит и охает, вторя старухам. Дом рассыхается на весеннем солнце. Этому дому, может быть, лет сто...

Димочка прислушивается, смотрит на часы. Поднимается, поворачивает ручку маленького радиодинамика за своей спиной.

”Приготовьтесь к производственной гимнастике, начинаем первое упражнение: ноги на ширину плеч..”. Все в лаборатории приняли свободные позы, но делать гимнастику никто не собирается.

Димочка выключает динамик.

— Давайте хоть немного посплетничаем... для гимнастики ума, — говорит он, обращаясь к Любви Тимофеевне. Та презрительно фыркает.

Сидор Степанович встал, прошелся по комнате, подошел к окну, открыл его, глубоко вздохнул.

— Сидор Степанович, — укоризненно говорит Димочка, — сколько раз я объяснял вам, что в нашем помещении действует система кондиционирования воздуха. Окно открывать нет надобности, даже вредно, вы всех простудите.

— Экий вы, — говорит Сидор Степанович, закрывая окно, — столько всяких премудростей знаете, знаете даже, для чего вентиляция существует.

— Не вентиляция, а система кондиционирования воздуха. Знаю, уважаемый, вы меня недолюбливаете, но мы здесь не на пикнике, а на службе, извольте держать эмоции при себе.

На этом их препирательства кончаются. Димочка берет в руки линейку и начинает ею, как бильярдным кием, гонять металлические детальки на своем столе. Эти детальки когда-то принесли из мастерской наверху. Димочка держит их на столе, как украшение, и не позволяет никому трогать.

Час-полтора до обеда — самые тихие, лучше всего работается.

Обедаем мы все вместе, у себя в лаборатории. Так настоял Димочка, ему так нравится, мы все не очень сопротивлялись. В столовой на первом этаже всегда большие очереди.

Любовь Тимофеевна поднимается, включает электрический чайник, который стоит на подоконнике. У Любови Тимофеевны удивительное чувство времени: она включает чайник, не посмотрев на часы. В коридоре опять противно трещит звонок. Димочка встает, потирает ладони.

— Обед, мои дорогие подданные, обед! — Он начинает суетиться, быстро убирает все со своего стола, одним движением

разворачивает чистый чертежный лист бумаги, усаживается поудобнее. — Всех прошу к столу!

Мы рассаживаемся вокруг Димочки. Димочка с шутками отбирает у каждого индивидуальную снедь, раскладывает все завтраки вместе. На подоконнике запыхтел чайник.

— Поразительно! — говорит Димочка, — Любовь Тимофеевна, откройте секрет, как это у вас получается, почти синхронно, как ваше утреннее появление. Вы удивительный человек, мы все объявляем вам благодарность! Объявляем, Сидор Степанович?

— Дмитрий Витальевич, — говорит Любовь Тимофеевна, — я прошу вас прекратить.

— Ладно, — говорит Димочка, — шутки в сторону, а я вот что предлагаю... — Все начинают жевать. — Я предлагаю общественное мероприятие! Я предлагаю пикник! Почему не ощущаю энтузиазма? Вылазка в лес с женами, мужьями... простите, любовниками.

— Не смешно, — говорит Любовь Тимофеевна.

— Хорошо. В следующий раз постараюсь рассмешить. Так значит, кто с кем хочет. Костер на снегу, немножечко коньяку. Музыка с собой. А как ваша благоверная отнесется к подобному мероприятию? — спрашивает он меня.

— Не знаю.

— Ну, конечно, не знаете. Забыли переключить свой мыслительный аппарат. А как вы, Сидор Степанович? Может быть, на сей раз вы почтите наше общество своим вниманием?

— Вы о чем? — спрашивает рассеянно Сидор Степанович.

— О шашлыке, о музыке ...не о политинформации же.

— Шашлык, пожалуй, не одобряю. Рыбы наловить, ухи наварить — другое дело.

— Ухи, конечно, лучше. А музыка у нас западная. Тоже плохо?

— Ладно, спасибо за чай, за хлеб-соль, — говорит Сидор Степанович. Он поднимается, идет на свое место, опять разворачивает газету.

— Да вы что же, родной, — говорит Димочка, — да вы же ее насмерть замучили, газету-то.

— Шахматную задачу еще не решил, — отвечает Сидор Степанович.

— Завидная добросовестность, завидная. Представляю себе, как вы несли службу в армии.

— Два раза был разжалован. Мне бы, действительно, полагалось уйти в отставку полковником.

— А, понимаю. Начальству противоречили, старших не почитали, а в армии этого не полагается.

— Всякое бывало. Я ведь состоял при различном имуществе, при провианте. А это дело такое — тому подай, этому продай, всем подай. Так и солдату ничего не останется.

— Понимаю, прекрасно понимаю — вы были излишне принципиальны. Что ж, у каждого свои недостатки, свои причуды...

Через несколько секунд раздается звонок. Обед закончен. Мы опять занимаемся своими делами. Сидор Степанович жужжит на счетно-вычислительной машинке, Николай Иванович чертит. Я тоже начинаю чертить эскиз. Димочка читает технические журналы. Любовь Тимофеевна занялась своими ногтями.

Во второй половине дня к нам обычно заходит Главный конструктор. В одно и то же время. К этому моменту Димочка начинает нервничать. Он вскакивает, подходит поочередно к каждому из нас, наводит порядок на своем столе, просит Любовь Тимофеевну убрать со стола косметику.

Агабабыч — лысый, усатый, с большим носом, маленький, чуть горбатый — никакой представительности. С его появлением лаборатория моментально оживает. Димочка сверкает улыбкой, металлическими деталями своего туалета. Он бросается навстречу Главному.

— Здравствуйте - как поживаете - надеюсь - что хорошо, — говорит Агабабыч слитно, без пауз, не обращаясь ни к кому в отдельности, и менее всего к Димочке.

— Прошу Вас, Сурен Агабабыч, — лебезит Димочка, предлагая кресло у своего стола.

— Благодарю, — сухо говорит Главный, направляясь к моему кульману. И сразу углубляется в изучение чертежа.

— Мы успели значительно продвинуться вперед, — говорит Димочка, стараясь ввинтиться между чертежной доской и Главным. — Нам удалось найти решение.

Главный оборачивается к Димочке. Его усы угрожающе топорщатся.

Вам угодно продолжать объяснения? — спрашивает он Димочку.

Димочка съезживается, начинает беззвучно открывать рот. Среди портретов моих тварей есть как раз рыба с открытым ртом, с недоуменно выпученными глазами.

— Благодарю, — выдержав паузу, говорит Агабабыч. — Прошу вас, — кивает он мне, я помню, на чем мы остановились...

— По-моему, вы на верном пути — говорит мне Главный — весьма смело и, я бы сказал, несколько парадоксально. Впрочем, я был свидетелем превращений парадоксов в удивительные гармонии. Первейшая и необходимейшая способность инженера-конструктора — способность к парадоксальному мышлению. Всего доброго! — Главный уходит так же быстро, как и появился.

“Ты сам виноват. Ты слишком алчен до успеха и часто терешишь голову. Тебя сильно унизили, но я не собирался отнимать у тебя твоей половины, хотя ты и вовсе ничего не сделал. Уймись, ты ведешь себя неправильно.”

Димочка бросается к Любви Тимофеевне.

— Где исходные материалы?

Любовь Тимофеевна моментально вкладывает в руки Димочки папку. Димочка не знает, что с нею делать.

— А эскизный проект?!

Так же быстро Любовь Тимофеевна вручает ему другую папку.

— А расчеты?

Одна за другой папки свергаются Димочке на руки. Он не в силах их удержать, рассыпает их по полу.

— Безобразие! Никакого порядка! Опоздания на работу! Посторонние занятия в рабочее время!

Димочка опять становится похож на рыбу с беззвучно раскрытым ртом.

— Любовь Тимофеевна, — жалобно говорит Димочка, — миленькая, нет ли у нас чего-нибудь такого... ну, такого...

— Сейчас, сейчас — Любовь Тимофеевна наливает стакан воды, кладет в рот Димочке таблетку, подносит к его губам стакан. Благодарно мыча, Димочка глотает таблетку, запивает. Потом он начинает с печальным видом листать журналы, лежащие

у него на столе. Тяжко вздохнуть.

— Вы знаете, — вернувшись на свое место, шепчет Любовь Тимофеевна Сидору Степановичу, — Агабабыча, к сожалению, все-таки снимут с работы.

— Бабы сплетни!

— Нет, это так, Сидор Степанович. — Любовь Тимофеевна наклоняется ближе к Сидору Степановичу, шепчет почти ему в ухо.

По дороге домой я читаю книги о жизни дикой природы и ее диких обитателей. Я немного охотник. Мой дед ходил на охоту, отец тоже. Мне редко удастся поохотиться, а в лесу я редко стреляю.

Уже спустившись вниз, в метро, я обнаруживаю, что забыл книгу о жизни таежных пернатых на столе в лаборатории. Мне ехать почти целый час, на другой конец города, и я решаю вернуться за книгой.

На повороте коридора я чуть не сбиваю с ног Агабабыча.

— А, мистер Эдисон! - почему так поздно? — говорит он, как всегда слитно, не делая пауз между фразами. — Что это за книга у вас в руках?

— Это про птиц, про зверей, про диких.

— Да? - позвольте полюбопытствовать - стало быть вы - охотник?

— Немного, больше с фотоаппаратом.

Главный не спеша листает книгу.

Скажите, а вам хотелось бы жить в лесу? - среди зверей?

Да, очень!

Знаете, мне тоже очень бы хотелось жить в лесу, хотя я не охотник и не хочу им быть - ну ладно, всего вам доброго.

Дома я с наслаждением вытягиваю ноги на тахте, Со стен на меня смотрят фотографии зверей.

Когда же ты, наконец, будешь приходить домой вовремя? — спрашивает Алла.

— Когда кончится теперешняя разработка.

— Я не могу больше слышать о твоей работе. И мне надоело все вечера сидеть дома. Я хочу куда-нибудь пойти.

Сегодня я очень устал.

Я часто вижу один и тот же сон. Замерзшие реки с крутыми, заснеженными берегами. Я должен пройти какой-то путь и не могу. Лед тает у меня под ногами.

Когда я проснулся, на столе лежала записка: “Я ухожу от тебя. Нельзя уделять женщине так мало внимания. Ты разлюбил меня, а может быть, никогда не любил. Ты выбрал меня потому, что я менее требовательна, чем другие женщины. ...”

Я взял в руки телефон, набрал Димочкин номер.

— Я слушаю, — сказал он приятным голосом.

— Хочу сказать, что посылаю вас ко всем чертям! Завтра я не выхожу на работу.

Димочка тяжело вздохнул в телефонной трубке:

— Что ж, дорогой, отдохните денька три, Николай Иванович тем временем закончит детализовку, Сидор Степанович приведет в порядок расчеты.

— Вы меня не поняли. Я больше не работаю в лаборатории.

— Это вы что же, сию минуту решили?

— Да, сию минуту.

— Я знаю, уважаемый, — Димочка говорит сердито и с искренним раздражением, — вы шутить не любите, вернее, не умеете, но существуют интересы коллектива, интересы производства, существует, наконец, отдел кадров.

— Все к чертям, и коллектив, и отдел кадров тоже. Во мне лопнула пружина, и это произошло сию минуту.

Я положил трубку. Димочка сразу же перезвонил.

— Что еще? — спросил я его почти грубо.

— Погодите, погодите, не вешайте трубку. Я верю, что вы, действительно, послали все к черту, что завтра вас больше не будет на работе, это на вас очень похоже. Хорошо. Но чем вы будете заниматься? Тем же самым, но в другом месте? Поверьте, жизнь везде устроена одинаково. Вам не изменить ее. А на новом месте вам будет еще труднее, вы или несете ахинею, или еще хуже, говорите, что думаете. Вы не читаете газет, не смотрите телевизора, не интересуетесь спортом, вы не интересуетесь деньгами, автомобилями, не заводите романов на работе со своими сотрудницами... Молчите? Это тоже ненормально, нормаль-

ные люди всегда оправдываются или сами обвиняют. Вам везде будет трудно.

— Я совершенно с вами согласен. Я буду жить в лесу и работать егерем.

На другом конце провода Димочка расхохотался.

— Прекрасно! Великолпно! До завтра, уважаемый егерь. Наш разговор становится смешным.

Димочка положил трубку. Я обернулся. За моей спиной стояла Алла.

— Я все слышала. Я знаю, что ты не переменишь своего решения. А ты уверен, что сможешь выполнять обязанности егеря?!

Через полчаса в двери затрещал звонок. На пороге стоял Димочка.

— Что, не ждали?! А? — весело превозгласил он. — Да, дела, дела. Ну ладно, давайте немного развеемся. Из одного оттопыривающегося кармана пальто он достал бутылку коньяка, из другого — коробку конфет.

— Мы уезжаем! — сказал я Димочке.

— Да что вы, дорогие мои! Давайте помиримся! Человек человеку друг и брат, а не волк, как вы полагаете. Недаром вас тянет к зверям, а не к людям. Жизнь устроена так просто. Живите, как все нормальные люди. Ну, хотите, я вас научу? Для начала, хотя бы, если начальник кладет вам руку на плечо, то не следует ее сбрасывать, как это делаете вы. Я не обижаюсь, а другие таких вещей не прощают и помнят очень долго. Иногда необходимо выпить с нужным человеком, подарить какой-нибудь секретарше цветы, шоколадку.

— Если вы едете в командировку в Париж, нужно привезти жене или дочери начальства какую-нибудь шляпку в подарок... Ну хорошо, он не ездил в Париж, я ездил. Но он мог привезти какую-нибудь шкурку с охоты. Ведь он не только этого не делает, он не считает нужным скрывать своих чувств к некоторым людям, не считает нужным скрывать свое неуважение. Он не говорит этого на словах, но все равно это слишком явно... Есть еще один такой же экземпляр — Главный конструктор, но того, к счастью, скоро снимают... К сожалению, конечно, к сожалению, наш институт обязан ему многими выдающимися работами...

По-моему хватит, — говорит Алла.

Я беру конфеты, коньяк, засовываю и то и другое в Димочкины карманы.

— Да что же это такое? — бормочет Димочка. — Как вам не стыдно?... Как вы можете ставить меня в столь затруднительное положение? Ведь я столько времени все обдумывал, я распределил все роли. Другие делают значительно хуже. Я не порочу людей, не обвиняю их на собраниях, не пишу доносов и анонимок, не занимаюсь интригами.

Он стоит на пороге в распахнутом кожаном пальто.

— Мне искренне жаль вас обоих, — продолжает он, — вы погибнете, как погибают белые вороны. Вас съедят другие — менее достойные, чем я!

Я закрываю за ним дверь.

— Мне страшно, Володя, — говорит моя жена. — А что, если все будет так, как говорил Димочка?

Андрей Фролов
1975 г.

* *
*

Судьба стихов неведома поэтам,
Они живут отдельно от творцов,
Не быть им автора портретом
Ни в самом малом, ни в большом.

Приходят к нам из бездны подсознания,
Противоречат замыслам и снам,
Смеются нашим ожиданиям,
Ведут, куда не надо нам.

Как можно быть своим судьбою
И знать — дано иль не дано?
Нам только суждено судьбою
Глядеть в нездешнее окно.

* *
*

Это осень пришла ко мне в гости
С незабвенною веткой рябины;
Это в прошлое узенький мостик
И младенчества голос глубинный.

Дача деда у тихой просеки
Под тончайшею солнечной сетью.
Там осталось детство навеки
И туда я приду перед смертью.

Екатерина Таубер

РОМАН ГУЛЬ ПРОЗАИК

К 90-ЛЕТИЮ

В нем живут два литератора, иной раз противостоящие друг другу, иной раз идущие нога в ногу и с интересом поглядывающие друг на друга. Летописец своей эпохи, стремящийся как можно глубже вникнуть в нее, уяснить самому себе — и поведать другим, как и почему все это произошло, — и непосредственный, с горячей творческой кровью художник, то и дело забывающий о повести временных лет и живописующий крепко, вещно, ярко и эмоционально врезавшиеся ему в жизнь и в память события, встречи, лица. И при этом не только лица, так или иначе отмеченные в литературе и истории (так, как, скажем, живописует их Марина Цветаева, дальше литературы, как правило, не видевшая ничего и никого, если они не входили крепко в ее личную жизнь). Нет, у Романа Гуля не только яркие портреты писателей и общественных деятелей и живые картины встреч с ними.

Может быть, еще более крепко живут в его прозе рядовые офицеры и казак Иван Никитич, заброшенный революционными бурями и гражданской войной в Германию или жаркую солнечную Гасконь, или старик-гасконец Гарабос, неряха со слезящимися глазами, выпивоха, но и трудяга, любитель поесть и попить, особенно на чужой счет, но охотно помогающий соседям и в молотье хлеба, и в уборке сена, и в сборе черного, как ночь, винограда... Описание пиршеств после совместной с соседями молотбы у Романа Гуля так красочно, так живо (и так, видимо,

нравится самому гомеровскому характеру прозаика), что его иногда хочется перечитать еще и еще раз, а уж затем читать книгу дальше... Мужичий неумный аппетит, веселые соленые шутки за столом, громоподобный хохот хорошо поработавших здоровяков в пропотелых рубахах, пятилитровые бутылки вина и приземистые круглые бутылки арманьяка, — и все это на дворе, под палящим солнцем. Да, это, конечно, как пишет и сам Роман Гуль, — живая картина по Питеру Брейгелю. Ловкая сноровка в работе и любовь к земле влекут Гуля, — и ему, понятно, чужды и неприемлемы изыски омузыкаленной до потери сознания прозы Андрея Белого или фокусничанье, пусть и высокого полета, Набокова.

В Романе Гуле еще жива та дворянско-помещичья связь с землей, со своим домом, со своим садом, со своими голубями, которых заводил и в отрочестве, и в деревне под Берлином, когда стал рабочим-земледелом. Лошади в его повествовании — не отвлеченные лошади вообще, а совершенно конкретные рысаки или битюги, косящие глазом кавалерийские скакуны и мужицкие понурые сивки. И дойная корова в его гасконской деревенской усадьбе резко отличается от коров, запряженных в плуг, которыми Гуль вспахивает крепкую гасконскую глину...

Этим-то и отличались наши интеллигенты из дворян, что и терять умели без сожаления, и при необходимости работать начинали на земле даже с радостью. Эта стихия — *стихия русского демократического аристократизма* (или, если хотите, аристократической демократии), которая ушла от нас навеки, но которая во многом определила и расцвет и направление нашей культуры, — очень видна в творчестве Романа Гуля. Он — народник, он — почти всю жизнь не с правыми, а с левыми. А, вернее, как он сам говорит о себе, не с белыми, от которых ушел, не с красными, а с Пушкиным и пушкинской русской культурой. Здоровой, почвенной.

"Творческая сушь, духота — душат" ("Пол в творчестве"). Нет, художественная "фраза *родится* в крови".

Гуль любит крепышами, которых часто, в светлой точке своего сознания, и ненавидит даже, но подсознательно-то все-таки признает более цельными, более сильными, а потому и более значительными и интересными, чем слабые, раздвоенные, не-

врастеничные. Император Николай Первый — красавец и — "он был сильных мужских качеств. И солдат с головы до ног". А его антагонист в романе "Скиф" Михаил Бакунин — "атлет, с Петра Великого". Он и говорил "мощным басом", и ходил так, что половицы гнулись, и "ел... не торопясь, много и некрасиво". А сам-то "был красив", "никогда не болел, здоров до безобразия". Но вот ежели император — "сильных мужских качеств", то родоначальник русского и мирового анархизма и богатырь Бакунин — богатырь не во всем. Он в половом отношении ничто. "Скопец!" — кричит ему Катков. Тургенев спрашивает своего друга, "Скифа" — Бакунина:

— Мишель, ты знаешь женщин?

— Нет".

Предельное напряжение революционно-разрушительной одержимости выхолащивает даже богатыря. Ну, а уж если Бакунин — неполноценен, как человек и мужчина, то многие другие деятели левого стана у Гуля, в 1920-30-е годы скорее склонявшегося к левому, чем к правому лагерю (по его собственным словам), — болезненные, белокровные: "бумажно-белый, худой... Бедный сюртук застегнут накриво" — Виссарион Белинский; "Тургенев высок, немускулист, женственен": Даже у Герцена "манера держаться неуверенная" ("Скиф").

Глава эсеров, Виктор Чернов — болтун, любующийся, как провинциальный лирический тенор, своим верхним "си", своими под-простонародными речениями (да еще с примесью теоретического словоблудия): "Да, террор дело святое, кормилец, святое, товарищи, работающие в нем, отдают себя всецело. ...Надо знать, что террор бывает троякий, во-первых, эксцитативный, во-вторых, дезорганизующий и в третьих — агитационный"... Теоретизируя и посылая других на смерть, Чернов сам живет сильно поодаль, в Женеве, вне непосредственной опасности, за что его и презирает герой романа "Азеф" Борис Савинков.

Но и сам Савинков — человек с трещинкой, в качестве романиста Ропшина сомневающийся в своем праве судить и убивать. Выхолощенная фигура, террорист-декадент. Он, "нехорошо улыбаясь", говорит о себе жене, как бы отождествляя себя со своим героем в романе, как о "человеке, убивающем людей из чувства спорта и скуки", "человеке, которому очень тоскливо, у

которого нет ничего, ни привязанности, ни любви”...

А вот глава террористов, “генерал БО” (боевой организации эсеров) и, одновременно, провокатор, крупно оплачиваемый царской охранкой агент — Евно Азеф. Гнуснейший двурушник, убивающий царских министров и великого князя Сергея Александровича (чужими руками, понятно) — и отдающий на виселицу своих соратников по террору. Отвратительный урод, сластолюбец, у которого струи бегут изо рта при одном взгляде на красивую женщину или при одном упоминании о крупной плате за предательство...

Гуль искренно ненавидит это чудовище. Но этот животное-жадный к жизненным благам и ненасытный бабник, этот талантливейший, может быть — самый талантливый из всех когда-либо существовавших террористов и провокаторов, — художнику Гулю интереснее своей непомерной силищей и жизненным соком, чем Савинков или глава эсеров — аскет Гоц, больной, прикованный к креслу, умирающий медленно и мучительно.

Гуль-летописец любит Гоца и Каляевым, подвижниками в борьбе за волю, а Гуль-художник, вопреки даже сознанию своему, лепит гораздо более рельефно фигуру гнуснейшего Азефа, чем бледнолицых и малокровных его жертв. Художник, увы, никогда не может *не быть* художником, а потому всегда во вражде с моралистом и объективистом в своей душе...

Противоречие? Две души в одном теле художника Гуля? И да и нет: современный художник не может не быть с двумя личностями в одном лице: сама современность заставляет его и раздумывать, и осмысливать переживаемую эпоху. Современный художник, говоря словами Бориса Пастернака, и сам, и герои его — лишь тот “короб лучевой”, в котором жив окружающий его мир не в меньшей степени, чем его — и его героев — личная биография.

Приводит ли это к некоей аморальности в художественном творчестве? Нет, конечно. Просто для любого художника — и это подсознательно — справедлива формула Станиславского: “чтобы сыграть злодея — найди, где он добрый”. И от того, что отрицательная фигура охранника Ратаева охарактеризована, как “красавец-мужчина”, а глава охранного отделения генерал Герасимов в романе “Азеф” и умен, и весьма талантлив, а чудовище

Азеф — силен, находчив и даровит, роман становится только жизненно-убедительным. Прозаик Гуль любит силу и жизненную полноценность!

“Ледяной поход” — первая его книга, — или же, может статься, лучшая художественно книга автора “Конь Рыжий” — *толстовское* начало всюду ярко проступает у Романа Гуля. Впрочем, и Достоевский всегда подчеркивал связь души нашей с землей. Страницы о работе на земле у Гуля — чистая и высокая поэзия:

“Вдали синеватым бархатом блестит хребет Пиринеев. На тяжелом крутосклоне я пашу на паре бланжевых коров. Небо еще не нагрелось, воздух звучен, как в концертном зале, отовсюду слышны долетающие, однообразные понукания пахарей. ...Это небо не наше. Это небо с полотен французских импересионистов. Такого розовато-голубоватого, и с желтью, и с празеленью неба в России не бывало. На воспользовавшихся моей задумчивостью, затихающих коров я кричу: ‘Ха, Верми! Ха, Верро!’; и коровы вновь натягивают плужную цепь, ускоряя движение. До чего умны эти гасконские коровы, ими управляешь голосом. ...После теплых дождей пашется хорошо. Я пашу крутосклон второй раз; теперь плуг идет уж легко, почти не приходится придерживать ручку, я лишь медленно двигаюсь за коровами и разговариваю сам с собой” (“Конь Рыжий”).

И невольно у автора возникает не христианская даже, а некая геотеургическая вера в Бога и в жизнь. Он невольно соглашается со старым мужиком Гарабосом, с его иногда только, но зато крепко прорывающимся вероисповеданием.

“Раз, после базара, я помогал старику резать виноград. День стоял сентябрьский, виноградник был уже в утомленной желто-лазурно-красной листве. Вдруг, перестав резать и вынув изо рта стертую трубку, Гарабос сплюнул и, серьезно глядя на меня, проговорил: — Ты знаешь, это только дураки ведь думают, что там, — он указал старым, закорюзлым пальцем на нежно-осеннее небо, — ничего нет. А кто ж тогда этим всем управляет, а? — и, подмигнув слезящимися глазками, старик рассмеялся с хрипотцой” (*там же*).

Отсюда, из этой внутренней силы и страсти к жизни и всему жизненно сочному, и ненависть Романа Гуля ко всему и всем,

кто эту жизнь разрушает, увечит, отнимает. И если чудовище-душегуб, урод Азеф все-таки не этически, конечно, а лишь *эстетически* приемлем для Гуля (ведь уродство, дошедшее до апогея, может быть эстетически интересным: Квазимодо и химеры Собора Парижской Богоматери — и романа и храма; дьявольский ростовщик гоголевского "Портрета" и т.п.), — то уж такие гнуснецы, как Дзержинский, в юности — худосочный аскет, стремившийся стать ксендзом, фанатик-католик, сменивший веру в Иисуса на веру в Марксэнгельсленина — и оставшийся тем же аскетом, фанатиком и страстным и неумолимым палачом; как еще более омерзительный палач из прогнивших насквозь декадентов, тоже аристократ по происхождению — Менжинский; как их бог и вождь, "бегающий мелкими шажками" "лысый человек в потрепанном пиджаке" — Ленин, тоже человеческий недомерок и палач, — они для Гуля гнуснее самого Азефа ("Дзержинский").

Для Романа Гуля основной грех Белого Движения в том, что оно не стало движением народным, а, в некоторых участниках его, пусть и не слишком многих, питалось чувством отмщения, духом озлобленности. Понятно, конечно, что офицер, у которого красные изнасиловали и зверски убили жену, не может не мстить. Но можно ли воевать с народом, пусть озверелым, не будучи армией тоже народной? В ответ на то, что зверства недопустимы, такой мститель отвечал: "Вы к ним, к красным, попадитесь ...они вам сначала на плечах погоны вырежут, потом на лбу кокарду выбьют, потом пулю в затылок и полуживьем в землю" ("Конь Рыжий").

Боевое, героическое ядро добровольческой Белой Армии почти немедленно обросло тылами, где окопались в канцеляриях всякие гвардии полковники Пронские, которые, "картавя по-петербургски на иностранный манер", говорили поступающим в Белую Армию: "Поступая в *нашу* (ударяет на этом слове полковник) армию, вы должны прежде всего помнить, что это не какая-нибудь 'рабоче-крестьянская', а *офицерская* армия" (там же).

Роман Гуль, добровольно вступивший в Добровольческую Армию, добровольно же из нее и ушел: "Я не мог оставаться — и политически и душевно. Политически потому, что всем сущес-

твом чувствовал: *такая 'офицерская' армия победить не может.* Несмотря на доблесть и героизм ее бойцов, поражение ее неминуемо. И вовсе не потому, что 'псевдонимы' (вожди большевиков) сильнее (они слабее), а потому что народ *не с ней.* К белым народ не хотел идти: господа. Здесь сказался один из самых больших грехов старой России: ее сословность. И связанный с нею страшный разрыв между интеллигенцией и народом ('пропасть между культурой и природой', по слову Блока — *Б.Ф.*) ...Другая причина моего ухода из Добрармии была душевноличная ...я почувствовал, что *убить русского человека мне трудно*". ("Я унес Россию. Апология эмиграции", том I-ый).

О, Роман Гуль не был вовсе "двух станов не бойцом, а только гостем случайным". Но он был и зрячим, видевшим ясно то, о чем писал неоднократно, что воевать с народом может лишь тоже народная армия. И был слишком русским *демократом*, ищущим новых путей жизни — и не оглядывающимся, как Лотова жена, назад. Русский до мозга костей, он был и остается *прежде всего свободолобом*. Не всякая родина — родина. И выбирая между родиной и свободой, Гуль выбрал свободу.

Последнее по времени из написанного Романом Гулем — громадная трилогия — апология свободно выбранной им свободы, апология эмиграции: "Я унес Россию". Вышли уже первые два тома: "Россия в Германии" и "Россия во Франции". Сейчас публикуются главы из тома третьего — "Россия в Америке". Это — воистину героическая идея: написать историю русской эмиграции, миллионов людей, выбравших свободу. В этой огромной и ценнейшей работе, написанных слиянно и нераздельно автобиографии автора и биографии его времени, особенно ярко выступает это, в начале настоящей статьи отмеченное наличие в писательской личности Романа Гуля двух душ, двух литераторов: летописца, стремящегося к возможной полноте и наивозможной объективности, — и прорывающегося сквозь летописную ткань прозаика-художника. Повторяю: это — неизбежное вторжение в душу, в творчество и в жизнь современного писателя, если он не слепой книжный червь и не словесный фокусник-жонглер, внешнего нашего мира, который автору необходимо осознать самому — и поведать об этом другим. Таков ведь и Александр Солженицын, особенно в эпосе "Красное Колесо".

И это — не раздвоение творческой и человеческой личности. Творческие потоки сливаются воедино. В частности, в художественном языке автора. Язык Романа Гуля, лишенный всяких выкрутас и фокусов, — на редкость превосходный и подлинно русский язык. Гуль иногда одним вlepленным прямо в лоб словечком (в частности, в своих критических статьях, органически входящих в его документальную прозу), может и охарактеризовать, а когда и заклеить (вспомним хотя бы "Прогулки хама с Пушкиным"). Русский язык Гуля — язык воистину *народный*, что вовсе не означает простонародности. Помнится, Гоголь говорил, что не станешь русским только от того, что натянешь на себя кафтан. И вспомним: переодевшихся в мужицкую одежду народовольцев мужики почитали "ряжеными барами". Язык Романа Гуля — свободно льющийся, подлинный язык русского народа. Не бунинский, понятно: между Гулем и Буниным расстояние в четверть века. И каких судьбоносных лет! Но это тот язык, это тот строй образов и художественных ассоциаций, которые уверенно идут по столбовой дорожке русской классической литературы. И притом литературы здоровой, полнокровной, без надрывов и, главное, без любования своими надрывами.

О Гуле можно еще много, много сказать: Гуль — критик и публицист, Гуль — редактор "Народной Правды" и "Нового Журнала", Гуль — общественный деятель. Но для пишущего эти строки Роман Гуль — прежде всего талантливый прозаик. Вот об этом Гуле мне и хотелось написать.

Борис Филиппов

В ПАРИЖЕ

Клубятся облака в движении скульптурном,
И Сена светится, к воде прижав мосты,
Домами сжат Париж и облицован Лувром
И писан красками предельной густоты.
Париж не мелочен, не ставит лыка в строку,
Живи, как хочется, иль вовсе не живи.
Крутая музыка парижского барокко
Сквозь камень буйствует в тугой его крови.
Париж меняется, как лицедей на сцене —
Там говорил Корнель, тут рисовал Давид,
Но как заманчивы оранжевые тени
В кафе под арками на Пляс Де Пирамид.
Он бродит по векам и даль его проспектов
Сквозь пули Лейпцига провидит Ватерлоо,
Меж тем как Сен Шапель играет силой света
И солнечный рубин наводит на стекло.
Кипели площади, кварталы пререкались,
Еще бурлит Париж, извечно — неготов,
Еще не кончен бой, не смолкли баррикады,
Еще по вечерам стреляют с чердаков.
Все одновременно, и молодость и старость,
Полет крылатых Слав и буден нищета,
Кипенье облаков, дыхание бульваров,
И блеск Империи, и золото холста.
Резвятся статуи в косой тени деревьев,
Палитра светится под тенью куполов,
Парижский зеленщик торгует сельдереем
И замер с удочкой над Сеной рыболов.
Рябит крутым мазком июльская раскраска,
Идет с окраины — средневековый тыл.
Живет в республике имперская закваска,
В крови Империи — республиканский пыл.

Олег Ильинский
1985

ЮРИЙ ИВАСК

ПОХВАЛА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Юрий Одарченко — (1890-1960). Печататься начал поздно. В 1949 г. был издан единственный прижизненный сборник его стихов "*Денёк*". По воспоминаниям К. Померанцева, Георгий Иванов как-то дрогнул, когда впервые услышал эти стихи в чтении автора:

Я расставляю слова
В наилучшем и строгом порядке
Это будут слова,
От которых бегут без оглядки

Такие жестокие слова, и в лучшем порядке (по завету Кольриджа) были и у Георгия Иванова ("Хорошо что ничего..."), но выговаривались в отчаянии. Иначе у Одарченко. Его поэзия — это смесь сентиментализма и садизма. Может быть, и нужно было изготовить такой ядовитый коктейль, но меня лично Одарченко отвращает, как Бабель в прозе (садист безо всякой сентиментальности). Все же готов воздать должное его таланту. Хорошо сделаны некоторые его сюрреалистические картинки... А сентиментализм Одарченко проявляется в излюбленных им издевательских диминитивах. Самое название его сборника "*Денёк*" — уменьшительное, там повсюду щедро рассыпаны "*словечки*", "*человечки*", "*слоник*", "*пароходик с красным носиком*".

*См. "*Н.Ж.*", кн. 150, 154, 156, 158, 159, 161.

Садизм в гибели всех его несчастливцевых, названных уменьшительными именами.

На "*пароходике*" стоят у "*бортика*" счастливые туристы. Но вот корабль скрывается за радужным мысом... и ангел шепчет поэту:

Со святыми Господь упокой
Пароход, пароход, *пароходик*...

(все курсивы мои — Ю.И.).

Самое жуткое стихотворение Юрия Одарченко "*Чистый сердцем*".

По канату *слоник* идет —
Хобот кверху, топорщатся уши.
По канату *слоник* вперед
Сквозь моря продвигается к суше.

А вдруг слоник соскользнет в пучину?:

Если так, то подрежем канат,
Обманув справедливого Бога.
Бог почил и архангелы спят.
"Ах, мой слоник... Туда и дорога!"

Мерещится: Одарченко высовывает язык читателю — или, не лучше ли сказать в его стиле: язычок. Можно усмотреть здесь трагизм, и стихи эти умелые, выразительные... Но беде Юрия Одарченко я сочувствовать не могу.

Другой из чудаковатых парижских поэтов — *Борис Божнев*. Даты рождения и смерти мне установить не удалось. А.В. Бахрах в своих воспоминаниях сообщает, что он появился в Париже в начале 20-х гг. и состоял в одном из самых ранних литературных объединений "*Палата поэтов*". Участники собирались в грязном кабаке-подвальчике около бульвара Сен-Мишель — "*Ла Болле*". Когда-то в этом "заведении" бывали Бодлер, Верлен, Оскар Уайльд. Божнев издал три сборника стихов. Первому он дал странное заглавие — "*Борьба за несуществование*". Немало было у него романтического безумия, но при этом он придерживался консервативной поэтики, не экспериментировал. Он так планировал самоубийство:

А если не свершится чудо,
То нижние увидят ставни,
Как выбросившийся отсюда
Я камнем упаду на камни.

Божнев преклонялся перед Рембо и, может быть, хотел втайне, подобно этому *проклятому поэту*, переселиться в экзотические страны. Но доехал только до Марселя. Он также занимался живописью и его французские друзья устроили ему посмертную выставку картин в прованском городке Бриньон.

"Мне хочется сказать светлейшие слова", — писал другой чужак — *Алексей Дряхлов*. Такие слова он не нашел, но этот стих в русской поэзии останется.

У таких вот несуразных поэтов больше золотых крупинок, чем у многих *средних*, достигших мастерства.

Дряхлов заявил, что

...быть водой я не хочу,
И не хочу быть съеденным подобно вогле,
И жизнь затем лишь все-таки влачу,
что верую в конечный проблеск...

(Из сборника "*Проблеск*", 1967 г.).

Владимир Корвин-Пиотровский (1891-1966) жил в Берлине, потом в Париже и умер в Калифорнии. У него акмеистическая чеканность и настоящее мастерство в стихах, написанных преимущественно четырехстопным ямбом — размером "опасным" и, казалось бы, уже исчерпанным в поэзии Пушкина и Блока. Ему больше удавались поэмы; в одной из них, "*Золотой песок*", он дает свой вариант ямбического тетраметра, отягченного переносами и оживленного иронией (в курсивах и в скобках):

И всё же мне порой *сдается*
(Какое слово!), мне порой
Мережится (опять) живой
Материал (увы!), где бьется
Без гофрированных прикрас
Живое сердце в добрый час.

Сколько он расставил препятствий этому пушкинскому и блоковскому стиху, и все же его ямбический Пегас не падает и легко их перескакивает.

О чем бы он ни писал, у него всегда были прорывы в какие-то эмпирии:

А сад мучительно поет,
Деревья обратились в звуки,
Я ранен, милая, — и вот —
Все скрипки поднимают руки...

Юрий Терапиано (1892-1981), как и Георгий Раевский (1897-1963), брат Николая Оцупа — поэт-мастер акмеистической выучки, хотя он и не принимал участия в гумилевском "Цехе Поэтов". Вместе с тем он верно выражал Парижскую ноту 30-х гг., удачно определил один из ее "канонов": "Поэзия не только мастерство...". Все же к мастерству он стремился и стал мастером. Тщательно отделявая стихи, он всегда надеялся на какое-то чудо в поэзии, и ему удавалось передавать чудесное, хотя бы в этом стихотворении-воспоминании о Крыме:

И как будто время стало
Занавесочкой такой,
Что легко ее устало
Отвести одной рукой.

Здесь, за этой обыкновеннейшей "занавесочкой" повеяло вечностью. У Терапиано немало запоминающихся деталей. Так, в госпитале сестра милосердия "ложечкой звенела в тишине"... и вот уже верится, что больной выздоровеет.

В другом стихотворении поэт видит далеко во все концы земли: тут и играющая в мяч классическая Навзикая, и будничная жизнь в Люксембургском саду, и апокалиптический Ангел Божий. Всё просто, обыкновенно, но и окончательно в приоткрывшейся ему вечности.

Замечательны эти стихи Игоря Чиннова: его лирический некролог Юрия Терапиано:

...Это голос ваш глуховато, мерно
Скандирует греческие стихи?

...Над Люксембургским садом сияя,
 Как над Акрополем, как тогда,
 Круглится месяц. Нет — мяч Навзикаи!
 А души — бессмертны. Бессмертны, да?

Мать Мария (1891-1945) — Елизавета Юрьевна Пиленко, по первому браку Кузьмина-Караваева, по второму — Скобцова. По воспоминаниям матери, к маленькой Лизе благоволил К.П. Победоносцев, обер-прокурор Св. Синода, о котором Блок сказал, что он "простер совиные крыла" над Россией... А на самом деле — был человек...

Гумилев одобрительно отозвался о ее "ковылевой Скифии", воссозданной в сборнике стихов *"Скифские черепки"*. В эмиграции Елизавета Юрьевна приняла постриг с именем Марии. И этим именем подписывала стихи, совсем непохожие на ее юношеские опыты.

Мать Мария была монахиней в миру. В устроенном ею приюте на улице Лурмель в Париже жили обнищавшие эмигранты, включая спасенных ею инвалидов Русского Корпуса во Франции. Мать Мария их отыскала и приютила.

В последние годы ее жизнь поистине стала житием. Во время немецкой оккупации она укрывала от нацистов евреев и резистантов, готовясь к неизбежной гибели. Ее боголюбие выросло из человеколюбия.

Она была близка к группе *"Новый Град"*, издававшей сборники под тем же названием. Новоградцы Г.П. Федотов, И.И. Бунаков-Фондаминский, В.С. Варшавский верили, что чаемый в Апокалипсисе Новый Иерусалим можно и нужно строить до Страшного Суда...

Мать Мария жила для других, молилась за других.

Вот голый куст, а вот голодный зверь,
 Вот облако, вот человек бездомный.
 Они стучатся. Ты открой теперь,
 Открой им дверь в Твой Дом, как мир, огромный.

О, Господи, я не отдам врагу
 Не только человека, даже камня.
 О имени Твоем я все могу,
 О имени Твоем и смерть легка мне.

Через деятельное сострадание шла она к Богу. Ее живые свидетельства веры не нуждаются в литературной похвале.

Некая Микулина написала о матери Марии книгу (изд. в СССР в 1980 г.). Она видит в ней праведницу, но об ее вере умалчивает. Микулина даже решилась "исправить", т.е. исказить последние две строки выписанного мною стихотворного отрывка: "Для них я все могу, За них и смерть прекрасна...".

Мать Мария была убита нацистами в лагере Равенсбрюк весной 1945 г. Ее отравили газом, как и сына Юрия, Бунакова-Фондаминского и священника о. Дм. Клепнина. Напомню еще эти ее строки:

Пусть отдам мою душу я каждому,
Тот, кто голоден, пусть будет есть,
Наг — одет, и напьется пусть жаждущий,
Пусть услышит неслышащий весть.

Дмитрий Кленовский (Крачковский, 1893-1976). Поэт акмеистической выучки. Первый его сборник стихов был издан еще в России, в 1917 г. В СССР не печатался и мы не знаем, писал ли он там стихи "в стол". В 40-х гг. оказался в Германии и до самой смерти жил в баварском городке Траунштейн. За границей были изданы девять книг его стихов. Отмечалось его отличное мастерство, но поэты всех трех эмиграций относились к нему прохладно.

Одна из главных тем поэзии Кленовского — стихи о счастливом прошлом в Петербурге, Царском Селе, о путешествии по Италии. Ностальгия считалась в эмиграции опасной темой. "Тоска по родине давно / Разоблаченная морока" — писала Цветаева. Но эмигрантская тоска удавалась Георгию Иванову — есть острота в его стихах о прошлом — смесь восхищения и отчаяния, тогда как у Кленовского немало сентиментальности, наивности. Но кое-что ему тоже удавалось. Захватывают его стихи о старой Москве (хотя вообще он, царскосел, чаще уносился в старый Петербург"). Есть полет в этих быстрых дольниках с рыданием в дактилических рифмах:

Мы с тобою ее запомнили,
Эту медленную весну:

Гиацинты на подоконнике,
Восковую их белизну.

А за ними, весь в колких лужицах,
Тихий дворик, московский, тот,
Что, — прикажет весна, — закружится,
Защебечет и зацветет.

С Новодевичьего, с соседнего,
Мерно пели колокола.
И любовь наша тоже медленной,
Вот как эта весна, была.

Те же длинные рифмы и неровный, но легкий, быстрый напев в этих стихах Кленовского:

Хотел бы я (и верится,
Когда-нибудь смогу!)
Стать апельсинным деревцем
На южном берегу.

Зачем? Чтобы плод этого дерева купила в России "в простом платочке девушка"...

Сколько в лирике Кленовского сожалений, горечи, но есть и примиренность, мало резких движений. Находим у него и "темпераментные" строки — хотя бы в любви-ненависти к покинутой родине:

Ненавидя тебя, я твой
Всем горячим биеньем крови.

Слышится пронзительная "анненская" интонация в этом страстном крике:

Лишь бы что-то было там,
Что-то было б!

Там, т.е. на том свете... Занятия духовно-поверхностной примиряющей антропософией не укротили Кленовского, он продолжал метаться и беспокоиться.

Одним из первых наших поэтов, спевших гимн русскому языку, был Александр Сумарков. В 1747 г. он так закончил свою "II Эпистолу": "Прекрасный наш язык способен ко всему...". Че-

рез двести с лишним лет, едва ли сознательно, с ним перекликнулся Дмитрий Кленовский (в 1966 г.) — "Прекрасный наш язык — нам хорошо с тобой..." При этом Кленовский нашел в родном языке прелести, которые еще не восхвалялись:

Есть в русском языке опушки и веснушки,
Речушки, башмачки, девчушки и волнушки...
И множество других таких же милых слов...

Для горя тоже ты смягчил слова свои:
Могилка, вдовушка, слезинка — сколько их!

Это апофеоз русских непереводаемых уменьшительных.

Равнодушие поэтов-современников, вероятно, огорчало Кленовского в его баварском уединении. А немногие критики-друзья не заметили одного ему присущего трепета в лучших стихах.

Имя *Владимира Злобина* (1892-1967) связано с Мережковскими. Четверть века, еще в Петербурге, а с начала 20-х гг. в Париже, он был их секретарем, экономом, другом.

Д.С. Мережковский — книжник, эрудит, хотевший стать пророком, но им не ставший. Его философия слишком схематична. Все у него двоится: здесь Христос, а рядом с ним Антихрист, у которого тоже есть какая-то правда. Его художество в романах неоригинально. Так, папе Александру VI Борджиа он приделал кадык Ф.П. Карамазова.

Для меня и для многих из моего эмигрантского *незамеченного поколения*, Мережковский и Гиппиус были литературными ларами, переселившимися из Петербурга в Париж. Мы их иногда жестоко критиковали, но именно они, а не Бунин или Зайцев, связывали нас с культурой прерванного Серебряного века.

Есть озарение в стихах Злобина о Мережковских:

Они ничего не имели,
Понять ничего не могли,
На звездное небо глядели
И медленно под руку шли.

Как же так: *не имели?* У них была культура, были чаяния. Почему *не понимали?* Мережковский был уверен, что многое в мире понял, пророчил Третий Завет Св. Духа (Матери...). Правда, Зинаида Гиппиус была в своем богословии не уверена. Но Злобин увидел их уже *там*: нищих духом и любящих друг друга в вечности. Эпилог этого стихотворения:

И те же им звезды являют
Свою неземную красу.
И также они отдыхают,
Но в райском Булонском лесу.

Вообще же стихи Злобина, хотя и умелые, но очень уж "средние". А кое-что ему удавалось, например, эти метаморфозы и фантазии:

...Павлин в дельфина превращается,
Паук становится звездой,
А босяки и математики
Сидят в тюрьме и видят сон,
Что оловянные солдатики
Цветочный пьют одеколон.

Антонин Ладинский (1896-1961). Он был на два года моложе т.н. младших акмеистов и стилистически им близок, но стал поэтом только в эмиграции. Его талантливость никто не отрицал, но почему-то, может быть, отчасти из зависти, парижские поэты-сверстники относились к нему холодно. Не прощали ему и того, что писал он в мажоре, а не в миноре Парижской ноты Адамовича. Есть легкость, безоблачность в самых грустных его стихах.

Было у Ладинского чувство истории, но историзм его не книжный, а одушевленный, лирический, и здесь он, несомненно, был многим обязан Мандельштаму и, вероятно, Кузмину. Вместе с тем он вполне оригинален.

Мандельштам, блаженное *дитя Европы*, играл с ее "таинственной картой" или же, как будто по-детски, но и блаженно-волшебство, умирал европейские нации — милых, но драчливых зверей, грызущихся в политическом "зверинце" 1914 г. А. Ладинский — возлюбленный Европы, ее паж, или рыцарь.

Не замечательно ли, что Ладинский, полунищий эмигрант, свою Прекрасную Даму Европу жалел, а ведь она как будто еще не думала умирать в 30-е годы. Ладинский уже остро ощущал ее обреченность. Горько оплакивал Запад, но не впадал в уныние и величал Европу в праздничных, порхающих стихах —

Кто же средь римской скуки
Знал, что вот побегут
Легионы! Что виадук,
Как легкий сон, упадут...

Размер — т.н. дольник. Но сколько стремительности в этих прихрамывающих стихах. Этим же размером написано лирическое "исповедание" Ладинского:

Только земля, земное,
Черная дорогая мать,
Научила любить голубое
И за небесное умирать.

Другая тема Ладинского — Россия. Родину он воспел в вымышленном сказании "*Аргонавты*". Мифических эллинов он обрусил, и очень удачно, убедительно, хотя никаких аргонавтов у нас не было. Стихи тоже динамичные, но размер — медленный (ямбический пентаметр). Здесь явлена древняя Русь, но отчасти и Россия XVIII века:

За ледяным окном, в глухие зимы,
Лучиной озаря темный день,
Мечтали мы о море и о Риме
В сугробах непролазных деревень.

Мы строили большой корабль и щепы
Под топором вскипали, как вода,
Мы порохом грузили сруб нелепый,
Мы отлетали в вечность навсегда

Наконец, русские аргонавты увидели "розовый архипелаг":

И на дубах сусальную овчину
Драконы огненные стерегут...

Одержимый историей Ладинский странствующий энтузиаст, романтический бродяга. В стихотворении *"Европейская зима"* он явно отождествляет себя с путником:

Шел путник. Мечтаньем
Себя утешал
И пальцы дыханьем
В пути согревал.

Ладинский — легкий, даже легчайший поэт.

После войны Ладинский, соблазнившийся "советским патриотизмом", взял красный паспорт. В СССР его не сразу пустили и несколько лет продержали в Восточной Германии. В Советской России издали его исторические романы, но не стихи, так что советские читатели до сих пор не знают Ладинского-поэта, а в эмиграции его несправедливо забыли. Нужно было бы переиздать его стихи.

Александр Гингер (1897-1965). И в жизни и в поэзии было ему присуще олимпийское спокойствие. Богемный, "рембовидный" Борис Поплавский сделал его бесстрастным мудрецом в романе, названном именем главного героя *"Аполлон Безобразов"*. Здесь парадокс: Аполлон, почти Олимпиец, но и — Безобразов. Он походил на тряпичника из гетто. А в целом — был своеобразно прекрасен. Я его знал: был Гингер прост в обращении, далек от обычных литературных дрызг, скромен — никуда не лез и внушал уважение и живую симпатию.

В стихотворении *"Жалоба и торжество"* Гингер, бессеребренник и бедняк, выдает себя за какого-то мелкого буржуа:

Я вас прошу настойчиво и прямо,
Не приходите на мою траву.

И далее:

Бодают ли меня коровки божьи,
и вышиваю ли я по канвам,
Питаюсь я пшеницей или рожью
поведайте, что нужды в этом вам.
Мне нравится неумолимый ветер
и английский прессованный табак

и шоколад молочный Гала-Петер,
в особенности же люблю собак.

В трех строках этих двух строф — скопление неударных слогов и хочется *ударить* на двух частицах "ли", и еще на "же", что незаконно, но "остранило" бы это автопародийное стихотворение.

Замечательно длинное стихотворение Гингера "*Факел*", где поэты уподоблены эстафетным бегунам. Выписываю первую и последнюю строфы:

Эстафетный бег являет взорам
Зрелище, которому найти
невозможно равного, с которым,
муза, не тебе ли по пути.

Я тебя люблю, благое лето;
хорошо, что не умрешь со мной.
Я сойду, отдавши эстафету
новым слугам прелести земной.

Это — бодрящий гимн товариществу, братству, и миллионы должны были бы выучить его наизусть! Но, увы, Гингер, кажется, один из самых незаметных поэтов моего "незамеченного поколения"!

Анна Присманова (1898-1960) тоже великая чудачка, как и ее муж, Александр Гингер, но на него несколько непохожая. Героически не боясь смешного, и иногда наперекор грамматике, она создала свой мирок из таких как будто несовместимых слагаемых, как сентиментальность и гротеск, абсурд. Своих нелепостей она как будто не замечала, и тем они милее. Примеры:

Перо мое, как аиста нога
Уже почти совсем прижато к сердцу...

Здесь следовало бы дать по носу педанту, который мог бы спросить: а бывает "*почти совсем*"?

Потешно-мило —
Брели безумные, раскрывши рот,
Ловя руками собственные ноги.

Вот пусть и странное, но меткое сравнение: "Луна... растет, как в погребке картофель...".

А это — столь необычное и столь впечатляющее описание вдохновения:

В русалочной ночной сорочке,
гремя железом листовым,
я дохожу уже до точки,
где зданье переходит в дым...

Самое значительное стихотворение Анны Присмановой — "*Сестры*". Они лишь отдаленно напоминают евангельских сестер.

Марфа — нищая праведница "с глубокими солонками ключиц..." Всегда трудится для других —

за несколько безжалостных монет
любой очаг усердьем окружая...

Другая сестра — капризница, "тунеядица":

Мария варит суп из топора
И моет пол в лазоревом уборе.
Весной она уходит со двора
С высокими зарницами во взоре.
Ее запущенная детвора
сидит в худых штанишках на заборе...

Русский Монпарнас в Париже относился к Александру Гингеру и Анне Присмановой благодушно, но все же их не принимал всерьез. Но в их патетике, смешанной с комизмом, во всех их нелепицах куда больше поэзии, чем во многих очень "средних", дюжинных стихах поэтов, писавших неплохо, но очень уж аккуратно-меланхолично, как того требовала Парижская нота.

Владимиру Набокову (1899-1977) многое удавалось. Он, несомненно, был прежде всего прозаик, замечательный мастер русского и английского языков. При этом англоязычные читатели расценивают его куда выше, чем русские, и иногда именуют гением.

Набоков приучил читателя к недоверчивости: он любит над

ним потешаться. Так, под псевдонимом "Василий Шишкин" он поместил в журнале *"Современные Записки"* стихотворение, написанное в ключе т.н. Парижской ноты — и Георгий Адамович его расхвалил. Так Набоков отомстил Адамовичу, своему зоилу, который невысоко расценивал его стихи, да и прозу. Мистификация удалась, но стоило ли заниматься такими пустяками?

Однако, главные темы Набокова совсем не пустяковые. В длинном стихотворении *"Слава"* он намекает, что ему известна какая-то великая тайна. Но зачем было вообще о ней упоминать? Не потому ли, что Набоков, как это часто бывает с подростками, боится быть серьезным.

"Уж не пародия ли он?" — недоумевает Татьяна после посещения Онегина. Набоков на пушкинского Онегина нисколько не похож, а все же есть между ними что-то общее. Онегин — пародия на разных модных литературных героев. Набоков пародирует своих предшественников в русской поэзии — и очень удачно. Но органически не понимает их служения чему-то высшему, лучшему.

Многие стихи Набокова такие ладные, крепкие и лирически звучащие, что хочется позабыть о недоверии к нему — опытному мистификатору. Принимаю всерьез его стихи *"К России"*. Он там заявляет: "Все, что есть у меня — мой язык..." И этот язык — русский, а не английский, которым Набоков так успешно овладел. Мы можем гордиться, что *наш* Набоков, когда-то бедный эмигрант, покориł своим талантом огромный англоязычный мир. Есть и вздох в этом стихотворении:

...о России сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолоду жил...

Россией жил Эдельвейс — швейцарец по отцу, но вполне русский — герой романа *"Подвиг"*. Пародии в этом романе нет.

Хороша в стихах Набокова эта игра — какая-то перепалка-потасовка между иронией и пафосом:

Как пародия совести в драме бездарной,
как палач и озноб и последний рассвет —

— о, волна, подымись, тишина благодарна
и за эту трехсложную музыку...

Так в поднявшейся волне вдохновения тонут пародист и скептик.

Образец великолепной, чистой иронии Набокова — стихотворение, в котором он метко и заразительно-весело пародирует своего тезку — Владимира Маяковского, писавшего стихи "и в полоску и в клетку" ("*О Правителях*"). Достается всем правителям: и монархам, и диктаторам — будь то Иоанны, Людовики, Ленины, волк в макинтоше (Гитлер), хозяин "на банкете с кавказским вином" (Сталин).

Комично стихотворение Набокова "*Лолит*". Оно не могло быть опубликовано ни в одном русском издании — ни в советском, ни в эмигрантском, и помещено в собрании его русских и английских стихов (1970 г.). Стихи мастерские:

Я умер. Яворы и ставни
горячий теребил Эол
вдоль пыльной улицы.

Я шел,
и фавны шли, и в каждом фавне
я мнил, что Пана узнаю:
"Добро, я кажется, в раю".

В этих стихах высмеивается *секс* и комика убивает "порнографию". В эпилоге лирический герой над собой смеется, и этим самым вызывает живую симпатию читателя.

Виктор Мамченко (1901-1983). Был он по происхождению из низов: простой матрос. Стихи его беспомощны: ритмы однообразны, слова случайные, но иногда он договаривался до каких-то ошеломляющих откровений:

На небесах, в вечернем превращенье,
Всё незнакомые творятся чудеса:
Как бы в любви, в любви, не в отомщенье
Творятся новые земля и чудеса

В противоположность другим монпарасским поэтам, не был он пессимистом. Его видения-осенения — светлые:

И знаешь ты: арктические льдины
Растают все, там розы расцветут:
И путь один на пир земли единый,
Пусть запоздавшие, но все придут...

Его друг Кирилл Померанцев писал о нем в некрологе — и это не преувеличение, не идеализация: "Никогда не забуду его глаза, темные (не черные), сквозь которые на вас смотрело — как бы окутанное глубокой скорбью — столь же глубокое добро". Как и Борис Поплавский, но иначе, он стал легендой на русском Монпарнасе. Зинаида Гиппиус называла его: "Мой друг номер один".

Мало вещности в его очень уж поэтической поэзии. Но иногда был он и наблюдателен. Есть особенная сердечная меткость в этих его стихах ("Акварель"):

Старушка черная под черной шляпой,
Сидит и спит у солнечной стены,
И ловит тень котенок мягкой лапой,
Кривую тень старушечьей спины

Владимир Смоленский (1901-1969) — русский вандеец, певец Белой армии:

Над Черным морем, над Белым Крымом
Летела слава России дымом

У него был массовый читатель: обездоленные эмигранты, читая его стихи, проклинали большевиков или же вздыхали, плакали, но и улыбались сквозь слезы, вспоминая об утраченной родине. Смоленский — мелодический поэт, склонный к мелодраматизму, хотя и был он выпестован скептическим Ходасевичем. В его лучших стихах мелодия трогает, увлекает.

Его "Стансы" могли бы быть эпиграфом к еще не написанной "Истории российского дворянства": что и говорить — вопреки крепостному праву — сколько оно дало России — хотя бы наш "Золотой век" в поэзии — Державина, Пушкина, Тютчева.

Закрой глаза, в виденьи сонном
Восстанет твой погибший дом.
Четыре белые колонны

Над розами и над прудом.
И ласточки крыла косые
В небесный ударяют щит,
А за балконом вся Россия
Как ямб торжественный звучит.

На балкон выходит умерший отец и видит:

Как проступают там, в лазури,
Судьбы ужасные черты.
И чтоб ему прибавить силы,
И чтоб его поцеловать,
Из залы, или из могилы,
Выходит, улыбаясь, мать.

Давид Кнут (1900-1955) — поэт страстный, торжественный, громкий. После войны он уехал в Израиль и там умер. Ему удавались трехсложные размеры: тягучие, горестные или ликующие стихи-размышления о судьбах еврейского народа:

Глухие века пресмыканья, молитв и рыданий,
Пустынное солнце и страшный пустынный исход

В его поэзии зазвучал голос древнего иудея, но, по общему и верному мнению, лучшее стихотворение Кнут посвятил Кишневу — еврейскому, но и русскому городу, с воспоминаниями о молодом Пушкине, который там, в ссылке, задумал "*Евгения Онегина*". Потрясает его описание еврейских похорон.

За стариками, несшими носилки,
Шли кучкою глазастые евреи.
От их заплесневелых лапсердаков
Шел сложный запах святости и рока,
Еврейский запах — нищеты и пота,
Селедки, моли, жареного лука,
Священных книг, пеленок, синагоги.

За носилками шла еврейка: О, как прекрасен был высокий голос! Она то кощунствовала: грозила кулаками небу, Богу, то каялась, испуганно хвалила Божью волю... Из этих очень поэту удавшихся белых стихов запоминаются последние две строки:

... Особенный, еврейско-русский воздух...

Блажен, кто им когда-либо дышал...

Еврейские похороны тоже могли бы быть эпитафией, как и в случае Смоленского, но к другой книге — *"Иудея в России"*.

Борис Поплавский (1903-1935) многих изумил и восхитил апокалиптическими видениями гибнущей Европы и фантастическим изображением огромного обреченного Вавилона: это шумный Париж злых лакеев, прекрасных дам, грозных закатов и нездешней музыки, которую слышит *грязный ангел* — лирический герой его *"Флагов"* (сборник стихов 1931 г.). Казалось: вот явился русский Рембо, талантливейший *проклятый поэт*, ошеломивший богатым воображением и безумными мечтаниями. Скупой на похвалы Георгий Иванов написал о *"Флагах"* восторженную статью в журнале *"Числа"*: "Люблю грозу в начале мая, люблю стихи Поплавского...". Его также называли Шагалом в поэзии.

Поплавский стал легендарным героем русского Монпарнаса. Одних его крайности привлекали, других отталкивали. О нем говорили: Поплавский — атлет с могучими бицепсами, посетитель спортивных состязаний, но и наркоман с подозрительными знакомствами в уголовном мире. Или: хулиган, публично оскорбивший знаменитого актера, но и мистик, читающий творения Св. Терезы и Якова Бёме.

Ритмы у Поплавского — монотонные. Язык — неряшливый: так, двусложное слово он растягивает до трех слогов: *"оркестор"*. Вульгарно ударение "в ма^гази^нах". Но такие погрешности забываются при чтении его лучших — стремительных, роко-чущих стихов:

Тихо голос Мореллы замолк на другом берегу,
Как серебряный сокол луна улетела на север,
Спало мертвое время в открытом железном гробу,
Тихо бабочки снега сажались вокруг на деревья.

Изредка Поплавский впадает в абсурд, что нравится некоторым авангардистам из поколения 30-х гг.:

А в храме мраморном собаки лают,
И статуи играют на рояле,
Века из бани выйти не желают,
Рука луны блестит на одеяле.

Эмоциональность чужда западным модернистам — в особенности, сюрреалистам. А Поплавский не стыдился чувствовать — есть у него очень русская жалость, роднящая его с Достоевским *"Бедных людей"*, а в поэзии — с Иннокентием Анненским; вспомним хотя бы *"Кулачишку"* и его горбатую дочь... Для Поплавского:

Душа мироздания. Надежда на жалость...

Он жалеет бедного голубого матроса, который напоминает моряков в гениальном *"Лебеде"* Шарля Бодлера.

Жалость — и какие-то фантастические фатальные видения. Его нескладные стихи напоминают медиумическую запись романтического визионера — нет в них начала, нет конца. Слабая форма, "организация", но медиум Поплавский своими стихами гипнотизирует читателя, превращает и его в медиума!

Поплавский пролетел над русским Парижем метеором и какой-то огненный след от него остался — не только в стихах, но в "творимой легенде" о нем, а также в романе *"Аполлон Безобразов"*.

Его Парижская нота была особая, ни на какие другие ноты непохожая. Все же был он признан на русском Монпарнасе *своим*, тогда как Ладинский, далекий от всякой метафизики и размышлений о "самом главном", казался там чужим, каким-то поверхностным декоратором, хотя его и хвалили, но холодно, за талант и мастерство.

Дневники Поплавского очень ценил Бердяев, а вскоре после его гибели Мережковский заявил на одном собрании, что если эмигрантская литература дала одного Поплавского, то этого с лихвой достаточно для ее оправдания на всяких будущих судах (по воспоминаниям Адамовича).

Поплавский посмертно ожил. Его переиздали в Калифорнии — в трех книгах, и проф. С.А. Карлинский, редактор этих книг, высоко его расценивает.

Один из читателей Поплавского в Москве составил библиографию всего написанного им и о нем. По приговору суда карточки были преданы сожжению, а составителя приговорили к трем годам заключения в ГУЛаге!

Одну из лучших характеристик Поплавского-поэта находим в стихах Анны Присмановой:

Ему друзьями были черви книг,
забор и звезды, пение и пена.
Любил он снежный падающий цвет,
ночное завыванье парохода...
Он видел то, чего на свете нет.
Он стал добро: прими его, природа.
Верни его зерном для голубей,
сырой сиренью, сонным сердцем мака...

Борис Поплавский скончался в Париже 9 октября 1935. Это, повидимому, не было самоубийство, как многие думали, а скорее, убийство. Его приятель болгарин дал Поплавскому какое-то смертоносное наркотическое снадобье: ему хотелось покончить с собой не одному, а в дружеской компании...

Глеб Глинка (род. в 1903 г.), сын писателя и критика А.С. Глинки (Волжского). Он был близок к советской группе писателей "*Перевал*" и посвятил им книгу, изданную в эмиграции (в 1954 г.). В поэзии Глинка *нашел себя* поздно, в 50-е гг. Картина мира у него самая мрачная (Слишком много в мире зла...). Сам к себе он беспощаден. Ему "...из адской бездны Лев Толстой грозит перстом...". Но этого укоряющего перста Глинка не очень-то боится. Он вообще не предается унынию. Все его стихи о мировом зле — вялые, какие-то не свои и поэтому неубедительные.

Глинка в своей стихии, когда затейливо, и иногда не без ехидства, озорничает на вольной воле своей лирики:

Непутевые мыслишки,
Им укоры нипочем,
Смело сбросили штанишки
И гуляют нагишом...

Все в том же частушечном хоре он, подмигивая, восклицает:

“У портнихи мастерская,
У портного о-ё-ёй!..”

Всерьез его игра со временем. “*Было завтра*” — так называется один его сборник (1972 г.). Это вовсе не абсурд. Здесь, поясняет Глинка, смысл обратной перспективы (добавлю — как на иконах).

Забавны *наобороты* Глинки: он допускает, что яйцо может вернуться в курицу. Глинке кажется, что он сродни Розанову, но он — юродивый без розановских откровений. Правда, в его стихах иногда проглядывает мудрость:

Люби не “до”, не “после”,
Но каждый раз — “теперь”!

А *теперь*, или *ныне* — евангельское измерение времени. Эскапизм в прошлое и футуризм в будущее для христианина ересь. Это часто забывается. Но сам Глинка — не верующий исповедник, а неисправимый чудак. Он советует поэту:

Не бойся хватать через край,
И, не залезая в бутылку,
Уверенно изображай
Блаженно-тупую ухмылку.
Чтоб пахли навозным дымком
Твои расписные затен.
Прикидывайся дурачком:
Мы, дескать, летать не умеем.

Глинка не притворяется, а потешается, даже когда у него кошки скребут на душе, что он тщательно скрывает, но это зачастую ощущается.

Борис Нарциссов (1906-1982). Писал стихи еще в Эстонии. Некоторое время провел в Австралии, в 50-е гг. переселился в США, где достиг поэтического мастерства. Его любимый поэт — Эдгар Аллан По. Э. По увлекались Бодлер и Малларме, Блок и Пастернак, хотя для англо-саксов он давно уже стал стихотворцем дурного тона...

Сколько пауков в нарциссовских стихах, но они не пугают. Первобытные чудовища Михаила Зенкевича и монстры Игоря

Чиннова пострашнее. Но есть "удавшаяся жуть" в стихотворении Нарциссова *"Как попадают в Бризбен"*: этот город мертвых мерещится ему в Австралии. Жутко и бедный мальчик на пыльном чердаке, твердящий: "Южас...южас".

А вот жуткая нелепица:

Избери профессию — любую —,
Лучше ту, с которой незнаком...
Ну хотя бы краску голубую
Слизывать с постройки языком.

Просвет только в детском мире:

И во сне они видали райский терем,
И звезду любимую свою,
Как она ручным пушистым зверем
Бегаёт по горницам в раю.

Молитва о всех святых на Руси просиявших — умелая стилизация:

Вот и было видение в тонцем сне,
К истощению времени, грешному, мне...

Из удач Нарциссова отмечу стихи о поэте. Он угадал в нем то, что Китс назвал *"creative capability"*: бессознательную рассеянную наблюдательность:

В направлении смутном куда-то домой
Изучал на витрине ненужный
Абсолютно ему — пылесос и трюмо,
Но забыл запасти себе ужин.

В поэзии *Лидии Червинской* (род. в 1906 г.) слышатся отголоски бесконечных разговоров русских мальчиков (и девочек) в монпарнаских кафе 30-х гг. Но, в противоположность молодым героям Достоевского, они, скорее, скептики, и не было у них заносчивых чаяний литературных "отцов", живших в достоевско-петербургской атмосфере.

В стихах Червинской они повторяют "может быть", "почти". Или же безо всяких оговорок все отрицают: любовь только "тень от тени", "бессмертья нет". Червинская рекомендует:

“Нужно прозрачно думать, слышать чутко”. Какая честная, искренняя и нудная поэзия; впрочем, очень верно передаются парижские словопрения. И в этом ее ценность. Все же прорывается в ней музыка, как в этих блаженных стихах:

звон цимбальный, еле уловимый,
страсбургских колоколов

Музыка не спасает, повторял Георгий Иванов, но она сама по себе чудо и не нуждается в словесных оправданиях.

Червинская была более других послушна мэтру Адамовичу. Пессимизм для нее — тот *хороший тон*, который всегда нужно соблюдать. Неприлично чем-либо упиваться (как Марина Цветаева). Но слышится напев, есть упоение в лучших стихах Червинской:

Пила, любила, плакала и пела...
Чей это образ — неужели мой?
Ведь мне хотелось только одного:
полезного, живого дела,
которое, как друг, старело бы со мной,
любимого... но не было его.

Синеют вены на руке сухой...
А жизнь без остановки пролетела,
как поезд мимо станции глухой.

Здесь есть *порыв, снимающий пессимизм*.

В узко-кружковой поэзии Лидии Червинской выделяется стихотворение, которое запомнится, останется, как достойный комментарий к восьмой главе Евгения Онегина:

Онегин, я тогда моложе,
И лучше, кажется...
Едва ли,
Едва ли лучше до печали,
До гордости, до — униженья,
До нелюбви к своим слезам...
До пониманья, до — прощенья,
До верности, Онегин, Вам.

Анатолий Штейгер (1907-1945) лучше других эмигрантских поэтов 30-х гг. выражал Парижскую ноту своего учителя и близкого друга Георгия Адамовича, который постоянно повторял: пишите проще, скромнее, и всегда о самом главном, в особенности об одиночестве, страдании, смерти. Он рекомендовал поэтам младшего поколения эмиграции (родившимся между 1900-1915 гг.) отказаться от всех громких слов, от риторики, декламации и всякой ухитренности: незачем им ораторствовать и незачем модничать. Адамович утверждал: на чужбине, в нищете мы лишились всех политических и поэтических иллюзий, но, может быть, лучше, чем сытый и с жиру бесящийся Запад поймем последнюю правду о человеке. Пусть мы неудачники, но на поверку каждый человек неудачник — одинок, несчастен, смертен.

Анатолий Штейгер — мастер коротких, даже кратчайших стихотворений. Лучшие — легко заучиваются наизусть. Вот только пять строк:

Мы верим книгам, музыке, стихам,
Мы верим снам, которые нам снятся,
Мы верим слову... (даже тем словам,
Что говорят в утешенье нам,
Что из окна вагона говорятся...).

Первые два с половиной стиха — поэтические, мелодические, а следующие за ними (той же длины) *подрывают* романтику горькой иронией, взятой в скобки — это очень характерный для Штейгера прием.

Восьмистишие с эпиграфом из Анненского, любимого поэта Георгия Адамовича и Анатолия Штейгера. Там — вздох о детстве, когда нас берегли, рассказывали нам басни, "учили верить в Бога". А теперь мы взрослые:

И надо жить, как все, но самому
(Беспомощно, нечестно, неумело).

Опять ироническая скобка, где выделяется наречие *нечестно*. Нечестность — порок, но в соединении с беспомощностью, неумелостью вызывает жалость к слабому человеку.

Штейгер мог бы повторить слова Розанова: "Никакой человек не достоин похвалы. Каждый человек достоин жалости".

Мы живем в жестокий век и жалость выходит из оборота в палаческом словаре современных власть имущих извергов. Они не только владывают, но и по-своему воспитывают целые народы, приучают к безжалостности и лжи. Жалость выпадает и из словаря некоторых новых "метафизических" поэтов, которые иногда прославляют Бога, наделяя его чертами тирана-самодура, как и многие кальвинисты, но при этом забывают: суровый ветхозаветный Иегова не только мучил, но и жалел избранный Им народ.

У Штейгера острая, хотя и бессильная жалость, без опоры в вере, да еще с иронией — пусть и горестной иронией. Его тихий укор обличает жестоких политиков и жестоких "метафизиков".

О любви Штейгер писал не меньше, чем о жалости. Вот еще одно его легко запоминающееся пятистишие:

У нас не спросят: вы грешили?
А спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы,
Мы скажем горько: — Да, увы,
Любили... как еще любили!...

И здесь ирония: если бы по-настоящему любили, незачем было бы опускать голову и горько сетовать. Очень часто и при творство "любовью звалось"...

Истинная любовь — нежная, жалеющая, самоотверженная. Она —

Чем больше отдаст — тем глубже и сильнее.

Уже безо всякой иронии Штейгер говорит о лелеемой им братской любви (с оттенком влюбленности):

Чтоб так, плечом к плечу, о борт облокотясь,
Неведомо зачем плыть в море ночью южной,
И чтоб на корабле все спали, кроме нас,
И мы могли молчать, и было лгать не нужно.
Облокотясь о борт, всю ночь плечом к плечу,
Под блеск огромных звезд и слабый шелест моря...
А долг я заплачу... Я ведь всегда плачу,
Не споря ни о чем... Любой ценой... Не споря.

Прекрасны эти непривычные для него, но очень удавшиеся элегические (батушковские) александрийские строфы.

О какой *уплате* здесь говорится? Напомним: Штейгер медленно сгорал в чахотке и все было ему вредно; за какое-нибудь резкое движение приходилось платить кровью (кровохарканьем).

В 1936 г. Анатолий Штейгер написал Марине Цветаевой из санатория в Давосе. Она тогда жила в Савойских Альпах и сразу откликнулась. Ей хотелось ободрить болящего Анатолия. Ему польстило внимание большого поэта, но и что-то от Цветаевой отпугнуло: стихия женственности была ему чужда, и (как Адамович) он не отзывался на цветаевскую поэзию высоких страстей, на все ее громы и молнии. Позднее, при встрече в Париже, Цветаева была разочарована. А тогда, савойским летом, она поняла в Штейгере главное: он несчастен, он болен, и по-матерински его жалея, но и влюбленно лелея, посвятила ему *"Стихи о сироте"*.

Всей Савоей и всем Пиемонтом
И — немножко хребет надлома
Обнимаю тебя горизонтом
Голубым — и руками двумя.

Какой здесь поток поэзии, льющейся вширь и ввысь!

Штейгер посвятил Цветаевой только одно стихотворение о 60-х гг. Оно перекликается с цветаевским благодарственным гимном *"Отцам"* (интеллигенции). Не гражданственность, не радикализм, а совестливость, жалостливость ценили они у дореволюционных интеллигентов, но их обоих уже нельзя причислить к старой интеллигенции.

Штейгер примыкал к младороссам, был монархистом, являлся ко "двору" великого князя Кирилла Владимировича и писал мне письма с баронским гербом. Были у него черты снобизма и дендизма. В юности он посвятил стихи прекрасному и надменному принцу:

У него было мало друзей,
Были только влюбленные слуги
Я хожу теперь часто в музей
Проводить перед ним все досуги.

Здесь та красивость, которую он позднее, и не без влияния Адамовича, вытравил из своих стихов.

За год до войны ему удалось побывать в Бессарабии. Подышал он еще сохранившейся там русской усадебной жизнью. Уже было ясно, что "две барышни в высоком шарабане" и едущие за ними паньчи обречены — их уничтожит война, советская оккупация. И его забудет приятель-пастушок, которого "зовут, как в сказке, Ваней".

Молодое поколение *инакомыслящих* советских поэтов включая эмигрантов, по-видимому, к Штейгеру равнодушно. Но живой отклик на его поэзию прозвучал в стихах рано умершего от чахотки *Юрия Галя* (1922-1945).

Явился он в Ревель из Ленинграда... и я познакомил его с эмигрантской поэзией. Он увлекся Штейгером, некоторые его предсмертные стихи написаны в штейгеровском ключе:

И на земле я жить хотел бы,
Но не на этой, на ничьей.
На этой не утихнут стрельбы
И муки совести моей.

Игорь Чиннов (род. в 1909 г.). Всякая периодизация всегда условна. Но в поэзии Чиннова можно различить отдельные этапы. В ранней юности, еще в Риге, он стремился к поэзии "без фона". Тогда он говорил мне: "Клен или дуб — слишком конкретные обозначения, достаточно сказать — дерево". Избегая всякой вещности, Чиннов едва намечал тихую мелодию: "Счастье мерцало и мне, / Канула капля слепая..." Второй этап. После войны он несколько лет прожил в Париже и вместе с Анатолием Штейгером и Лидией Червинской стал одним из лучших выразителей т.н. Парижской ноты. Нота эта была аскетическая, но допускала конкретности — те *ранящие* подробности, которые Адамович так ценил у Анненского. Уже после переселения в Америку Чиннов, тишайший Чиннов, заговорил громко и ошеломил, даже ужаснул своих парижских критиков-друзей — и Г.В. Адамовича, и В.В. Вейдле. В его поэзии появились жуткие "босховские" гротески:

Таракан Тараканий Великий, властелин пауков и
лемуров,
Шел войной на Лангуста, властелина мокриц и
мандрилов...

Эти монстры сродни чудовищам забытого акмеиста Михаила Зенкевича (в сб. *"Дикая Порфира"*).

Четвертый этап — самый зрелый и значительный, а предельного мастерства Чиннов достиг еще в книге стихов *"Монолог"*. Новая и продолжающая еще звучать музыка Чиннова сложнее, волшебнее прежней. Слышатся в его стихах издевательские шуточки, но и райские звуки, элегический минор и фантастический мажор. Он радуется еще неизвестной русской поэзии игрой воображения — сияющей радугой щемящих вздыханий и резвых радостей. Муза является ему то в образе некрасовско-достоевской клячи, то Резвушкой из пушкинского *"Домика в Коломне"*.

Техника его стихов совершенная и, если говорить на современном структуральном языке, каждое слово, каждый звук в его стихах функционален; наши литературоведы найдут у него приемы, которые не снились всем шкловским и яacobсонам вместе взятым! Укажу только на один новый прием. Так, он трижды, как заклинания, повторяет эти раздражительные, или горестные, предложения: "Да ну вас.. И где уж... Да что там..." Выговариваются они в одно слово: *"данУвас, игдЕуж, даитОтам"*, и в данном контексте, да еще при троекратном повторении, становятся какими-то неизвестными грамматике частями речи, может быть даже склоняемыми существительными. Это заумь или лже-заумь, вкрапленная в "ум" вполне осмысленного стихотворения.

Здесь сигнал, напоминающий: "это не проза, это поэзия, магия, волшебство (*"Антитеза"*). Есть близкий этому чинновскому приему прецедент у Анненского: "Скажи одно: ты та ли, та ли?". Это *"тАли"* напоминает музыкальную Италию и тоже походит на заклинание (как у Чиннова).

Плюсовые и минусные стихи Чиннова... При этом и Экклезиаст и Давид как-то уравновешены в его поэзии. Ни один не перетягивает.

Чиннов признается: "Мне говорят, что я агностик, / Я этим

прозвищем не горд... "(*"Автограф"*). Ему надоело "мое маловере" и хочется — всеобщего воскресения.

Чиннов близок вере, когда в своих светлых-светлейших стихах хвалит и кого-то благодарит за мир Божий. Свое благодарение он выразил хотя бы в этих стихах:

Бежал щенок по краю океана
За шестилетним мальчиком, веляя
счастливым хвостиком. Почти осанна
Была в блаженстве тоненького лая.

Хочется сказать: здесь не *почти*, а полная осанна!

Чиннов воссоздает мир и в предсмертном ужасе, тоске, но и с любовью, восхищением.

Одно из самых значительных стихотворений Игоря Чиннова вдохновлено Розановым (хотя он здесь не назван). Особенное аввакумово вяканье нашего последнего гениального писателя Чиннов переложил на анапесты, что ему очень удалось:

О, Планида-Судьба, поминдальничай,
Полимонничай, поапельсинничай,
Чтоб душа пожила не страдальцей,
Пожила бы душа именинницей,

Баловницей, царицей, капризницей!
Захотелось душонке понежиться —
Потому что еще мы не при смерти,
Далеко до зубовного скрежета.

Сокруши-ка, Судьба, врата адовы,
Улыбнись ты, Дурёха Ивановна,
Чтобы райской невиданной радости
Было море кругом разливанное!

Здесь явлена великая мечта Розанова, его упование: Василь Васильич стремился к посюстороннему торжеству религии, *здесь*, а не *там*. И землю, земное хотел перенести на небо...

Влияния раздражают у одних графоманов. А все настоящие поэты кому-то из своих предшественников чем-то обязаны. Пушкин, как позднее и Мандельштам — Батюшкову. Блок перекликался с Жуковским, Фетом. А Чиннов в своем поэтическом

хозяйстве, несомненно, учел Иннокентия Анненского, Мандельштама, Георгия Иванова, и, повторяю, спел Розанова.

Поэтический туризм Чиннова, объехавшего полмира или треть... Метафизика древних инков в Мачу-Пичу (Перу), как и тайны древних друидов в Ирландии ему не приоткрылись. Но им, своим певцом, может гордиться Флоренция, избалованная похвалами.

Мне хотелось там сразу
Умереть и родиться

— признается Чиннов в этом стихотворении, несколько напоминающем скоропись Анненского. Выписываю эти две строфы: содержание — разное, но ритмический рисунок схожий:

Иннокентий Анненский

О канун вечных будней,
Скуки липкое жало...
В пыльном зное полудней
Гул и краска вокзала...

Игорь Чиннов

Как пестра Санта Кроче!
Как прохладна Капелла!
Микельанжело: тело,
Утомленное, Ночи.

Первые две строки у Чиннова спокойно-описательные. А в последних ощущается задыхание от быстрого бега. В Капелле Медичи великий ваятель изобразил Ночь в виде некой монументальной Жены. Да, она устала, но сколько еще в ней мощи... Прилагательное после существительного оправданно тем, что подчеркивает, и при этом вдвойне, ситуацию: на слове *утомленное* сильное ударение, как это всегда бывает при переносе: эпитет как бы подыскивается — и вот он найден и "ударяет" по читателю.

Скороговорка в обеих строфах. У Анненского: "Гул и краска вокзала" (по случаю летнего ремонта). У Чиннова после "*Микельанжело*" сразу — "*тело*" (им изваянное).

Проф. В.И. Террас в предисловии к сборнику "*Антитеза*"

называет Чиннов космополитом. Это верно, но он остается русским и творит чудеса *на русском языке...*

В эмиграции мало было поэтов, которых можно было бы назвать белогвардейцами. Белогвардейский цикл стихов у Марины Цветаевой — эпизодичен. Далее следуют "миноры". Среди них — казачий поэт *Николай Туроверов* и поэт "белой мечты" *Иван Савин* (Саволайнен) (1899-1927). Белую армию воспевал и оплакивал *Владимир Смоленский*. Назову и *Николая Гронского* (1909-1934). За свою короткую жизнь он не успел проявиться, но обещал многое. Уже наметил свой стиль в героике, родственной цветаевской. Читатели узнали о нем после смерти (от несчастного случая на станции метро). До сих пор иногда бормочу его ранние стихи:

Помню Россию так мало,
Помню Россию всегда...

Гронский помнил Россию, но, конечно, никакого своего образа Родины дать не мог. Он развернулся во французских Альпах, в поэме "*Беладонна*":

В руинах первозданных зодчеств,
В пространствах каменной страны.

Есть действие в этой горной поэме: "И ахнув, рухнул" один из альпинистов; "Цирк неся прямо на него..." А был бы Гронский старше — воевал бы в Белой Армии.

Гронский жил в Париже, но ничего общего не имел с Парижской нотой, со своими сверстниками из монпарнассских кафе. Не дребезжал, не ныл. Оставался целомудренно-мужественным. В той же альпийской "*Беладонне*" он воздавал хвалу Творцу и творению:

— Хвала, — доколе плещет море,
Доколе ветры в небесах
И громы в каменных просторах —
— Сей голос Господа в горах.

Покуда мир стоит под Богом,
Покуда слава в трубах есть,
Одним стальным и светлым словом,
Сухим и светлым словом: честь...

Парижане говорили о пражанах: очень уж они "пастерначат" (подражают Пастернаку), слишком верят в мастерство и поэтому, будто бы, забывают о самом главном. Действительно, пражане в кружке, руководимом проф. А.Л. Бемом, подчеркивали: поэзия есть ремесло, правда, особенное, святое (по выражению Каролины Павловой). Их объединение называлось "*Смит Поэтов*". Талантлив был Вячеслав Лебедев (ум. в 1969 г.), посвятивший свою "*Университетскую поэму*" эмигрантской студенческой молодежи. "Перед Европой на колени", — писал он, мечтая, что в освобожденной России:

...В глуши тамбовских деревень
Поставим Эйфелевы башни.
И запоем с антенных лир,
Над огородами укропа
Воздушный голос — "Труд и Мир!
Дано: Июнь. Тамбов, Европа".

Образ России в поэзии Лебедева — западнический. Ему противоположен другой образ, если и не славянофильский, то анти-западнический, в бравурной поэзии Алексея Эйснера (род. в 1908 г.). В длинном стихотворении "*Конница*" он прославляет конармию Буденного. И перекликается с блоковскими "*Скифами*". Конница покоряет Польшу, Германию и доходит до Парижа:

Стучит обозная повозка.
В прозрачном Лувре шум и крик.
Перед Венерою Милосской
Застыл загадочный калмык.

Заключительная строфа:

Молитесь, толстые аббаты,
Мадонне розовой своей.
Молитесь! Русские солдаты
Уже седлают лошадей.

Коммунизм в эмиграции мало кого привлекал. Но было у нас немало совпатриотов, которые принимали СССР за Россию. Эйсер сделал соответствующий выбор: через красную Испанию уехал в Сов. Союз. Долго ничего не было о нем слышно. Наконец, его "реабилитировали".

Враждебный Праге Париж Алексей Эйсер покориł стихом, в котором прозвучала Парижская нота: "Человек начинается с горя..."

За неимением места не могу писать о многих других талантливых эмигрантских поэтах — парижанах, пражанах, а также о белградцах, ревельцах, рижанах, из которых выделил Игоря Чиннова. Отсылаю к моей статье *"Поэты 'старой' эмиграции"* (в сб. *"Русская литература в эмиграции"*, под. ред. Н. П. Полторацкого).

Лидия Алексеева (урожд. Девель, в замужестве Иванникова, род. в 1909 г.). Первое впечатление от чтения ее стихов: ничего особенного. Второе: сколько правды и прелести в лирике этой смиренницы!

В раскрывающемся перед ней мире природы умеет она сблизать казалось бы очень разные вещи:

Не то арбузный сок грозой,
Не то гроза арбузом пахнет.

Так посчастливилось ей породнить арбуз и грозу. К тому же в них слышатся те же звуки *"рцы"* и *"збло"*.

Ведомы ей горести, она оплакивает разлуки. Все же мир не перестает ее радовать. Не может она привыкнуть ко всем чудесам жизни, и смело сравнивает себя с бараном, который с изумлением уставился на новые ворота. Мы же сравним Лидию Алексееву с любимым ею деревом, с мягко-игольчатой лиственницей.

Она готова любить каждую тварь. И обращается к медведице:

"Ах ты, туша неуклюжая" —
Затрещал под нею лед, —
И она стоит над лужею
И весну из лужи пьет.

Лидия Алексеева не поет полным голосом. Могла бы, но как-то не решается, очень уж скромна, смиренна. В этой строфе слышится особая мелодическая интонация в восклицании: "Ах ты, туша.."

Скупое рассказывает она о свидании с любимым:

Льется запах краденой сирени
С неуклюжей лаской рук твоих...

Видно, не мог *он* купить *ей* цветы — и не по бедности ли... И тем милее эта украденная ветка. Была бы сломана в своем саду — потеряла бы всякую цену (и в памяти, и в стихах).

Поэтика Л. Алексеевой самая консервативная. Никаких авангардных экспериментов. Но сколько свежести, новизны в образах, хотя за оригинальностью она не гонится.

Простота Лидии Алексеевой имеет мало общего с простотой т.н. Парижской ноты. Ноющие русские поэты на Монпарнасе 30-х гг. очень уж много уделяли внимания себе. И как беден был их кофейно-парижский словарь (богатый только в фантазмагориях Поплавского). В простой поэзии Лидии Алексеевой столько зверей, растений, и как мало внимания она уделяет себе!

Прекрасно-чудесное она умеет создавать из пустяков — хотя бы из мыльного пузыря, который давно уже стал отрицательной метафорой.

...Он жил секунд пятнадцать
И нет его. И не ищи следа.

И не будем искать... Незачем! Мыльный пузырь вневременно пребывает в красоте, в поэзии:

В нем круглый мир и ветра колыханье,
Мое лицо, акации, балкон.

Это ли не чудо?

О том, что *там, потом*, Л. Алексеева мудро не спрашивает, но отвечает вопросами знаменитого паскалевского "пари":

Ведь если что-то ждет — какое чудо в том!
А если ничего... какой великий отдых...

Впрочем, об отдыхе Паскаль не упомянул...

Ее мужественное и мудрое признание:

Только будь и ничего не жди...

То есть *будь* на самом деле, не *кажись* и (правильно ли я договариваю?) не жди награды.

Лидия Алексеева избегает той тематики, которая называется *религиозной*. Но она написала длинное стихотворение "*Благовещение*", где в одном стихе проникновенно все поняла: "Скорбь и счастье Ее вознесли...".

У Л. Алексеевой смутные воспоминания о родине. И опять лирическая формула, Россия:

Лишь тонкий белый шрам переболевшей раны...

Зло будто бы занимательнее, интереснее добра... Не потому ли, что, по верному замечанию Гоголя, зачастую нет добра в добре, и, следовательно, оно и не должно называться добром.

А добро в поэзии Лидии Алексеевой — истинное, радующее разнообразием и захватывающее читателя. Ее стихи, и счастливые и горестные, слагаются в хвалебный псалом (в "дольнике" с прерывистым дыханием).

Коснется нас мудрой рукой Творец —
И в жизнь облекается серый прах, —
И ты, и земля, и лист, и скворец,
Мы все только глина в Его руках.
И горестно только время разлук,
И страха священного не побороть,
Когда вдохновенным касаньем рук,
Нам новую Мастер готовит плоть.

Валерий Перелешин (Салатко-Петрище, род. в 1913 г.). Юность провел в Харбине. Позднее жил в Пекине, Шанхае, Тяньцзине. Его переводы поэтов-классиков Китая — лучшие из всех существующих на русском языке. И его перевод Ли Сао, поэмы Цюй Юаня (жившего за триста лет до Р.Х.), несомненно, внес какую-то новую ноту — китайскую — в русскую поэзию.

В Бразилии Валерий Перелешин изучил португальский язык, переводит поэтов Португалии и Бразилии, и эти переводы очень хороши. Он не только переводит, но пишет и собственные

стихи на бразильские темы. Пытается писать и по-португальски. В русской поэзии останутся его образы Азии, хотя бы пекинская улица "чжи жу фа" (прямая, как волос: у китайцев волосы не выются), а его Бразилия причудливо смешивается с Россией на утопическом острове Розилии-Брассии: во сне он видит "мирный мир, / где с русским медведем рядом / бразильский грелся тапир..."

Замечательная книга сонетов Перелешина "Ариэль" посвящена новому Ариэлю — этим именем шекспировского духа воздуха (в "Буре") он называет своего никогда не виденного друга. "Ариэль" — высшая удача в лирике, *акме* Перелешина.

Кажется, никто еще в поэзии так безнадежно, но блаженно не любил невидимок, и притом не небесных, а земных. В своих строгих, сжатых до предела, но и насыщенных лирическим динамитом сонетах Перелешин дает все аспекты и нюансы своей страсти, неведомой другим поэтам.

Нижние ярусы этой эротики — темные. Перелешин жутко творит своего, пусть и существующего, но невидимого, неосязаемого Ариэля: он в его мозгу

Раскромсанный на составные части,
В котором я едва признать могу
Мой вымысел — дитя моей же страсти.

Во всех телах знакомое любя,
Из месива я воссоздам тебя.

К нему же обращены и эти, тоже жуткие стихи:

А я и сам обжорой и добычей
Живу тобой — и кролик, и удав
Всего тебя впитав и напитков.

В некоторых других стихах Валерий Перелешин склоняется к нирване. Между тем, ждущие нирваны таких жгучих страстей не знают. Но, может быть, именно эти страсти и вызывают тоску по бесстрастному, нирванному блаженству-беспамятству.

От низов, минуя середину, сразу взойдем на высоты любви уже не страстной, а нежной, в сонете "*Достойному*":

Сегодня я — Борей седобородый,
И не во сне, а будто наяву
То кашляю на зябкую Москву
По-старчески брюзгливой непогодой,

То, поощрен губительной свободой,
Рву с тополей засохшую листву,
То, как медведь разбуженный, реву
Встав на дыбы, гремлю полярной одой.

А может-быть, не снежным стариком
Прийти к тебе, а южным ветерком
Из золотой Бразилии — отсюда,

Чтоб над тобой как не бывало зим?
Верь, юноша, и стань преемник чуда:
Державиным ты тоже одержим:

Богатые рифмы: наяву-Москву-листву-реву. Тон — торжественный, строгий. Включены и разговорные выражения "на дыбы", "как не бывало". Есть конкретность в описаниях: зябкая Москва, брюзгливая непогода. В этом сонете, как и в других, Перелешин соблюдает цезуру в пятистопном ямбе. Невежественный критик (из Третьей волны) упрекнул Перелешина в том, что наличие цезуры устраняет так называемые пиррихии (безударные стопы, которые так оживляют ямбический и хореический строй). Даю метрическую схему первых стихов с цезурой (с тремя пиррихиями):

—/—/ 1 —/— — —/—
— — —/ 1 —/— — —/

Последняя строка этого совершеннейшего стихотворения воспринимается как эпиграф к поэзии всех нынешних поклонников Державина, будь то Кушнер, Бобышев или Бродский: "Державиным ты тоже одержим". Здесь сами звуки — державинские (рцы, живот), прозвучавшие в "*Реке Времен*": "То вечности жерлом пожрется..." Так, по-державински, ревел Маяковский: "Хлебище дайте жрать ржаной..." В орбите Державина вращалась и Цветаева.

Барокко, державинщина — только одна из поэтических стихий, вдохновляющих Валерия Перелешина. По существу, он более классик, чем "барочник", и чужд той выразительнейшей и по-своему прекрасной неряшливости, которая характерна для Державина и его правнуков в русской поэзии XX века.

Николай Моршен (Марченко, род. в 1917 г.). Киевлянин, сын писателя Н.В. Нарокова. Занимался естественными науками в Киевском университете. С 1950 г. проживает в Калифорнии, в Монтерее.

Ритмика Моршена консервативная. Но он склонен экспериментировать, хотя и далек от всякого авангарда. Он умеет находить слова одного корня, выражающие контрасты: в любви — твое-воле, / Мое-воле в искусстве... Удалась ему игра цветов в стихотворении *"Воспаление зрительного нерва"*:

Синей птицей мерещится красный петух,

Белый свет — семицветною грязью,

Чистым золотом — серое слово тупиц,

Красной нитью — дорога в тумане...

В гражданском стихотворении, разоблачающем советский строй, он так прочитывает пропагандную фразу "На родине воля". На самом деле: "Народ...и...неволя".

Сколько праведного негодования в его стихах о вольных пасынках российской земли, о поэте (это, по-видимому, Осип Мандельштам). Его судьба:

...Затеряться в российских снегах,

Околев с недоглоданной строчкой,

Словно с костью в цынготных зубах.

Есть Моршен — поэт-гражданин, и есть Моршен — поэт-метафизик. Его метафизика начинается с размышлений о смерти:

Я смерть трактую не как точку —

Как двоеточье:

(И так называется его второй сборник стихов).

Метафизика Моршена опирается на физику (не на мистику). Он последователь Тейяра де Шардена, который вопреки мнению многих ученых (правда, преимущественно прошлого века) находит целеустремленность (телеологию) в космических процессах, движущихся к утверждаемой им всеосмысливающей точке Омега. Совпадая с Тейяром, Моршен спрашивает:

Где высший центр для всех эпох,
Омега всех пересечений?
Жизнь? Смерть? Любовь? Быть может, Бог?

Здесь Моршен, хотя и не утвердительно, как Тейяр, а вопросительно, упирается в Бога.

Моршен — поэт гумилевской выучки, мастер "точнословной" поэзии (В.Ф. Марков). Но есть в его стихах и *глуповатость*, которую так ценил Пушкин. Есть у него, по собственному признанию, и "иванство", и "дурацтво".

Гражданское негодование Моршена — праведное, и ему нельзя не сочувствовать, но расхолаживают некоторые его поучения. Он резко отмежевывается от всякой зауми, но забывает, что Хлебников и западные дадаисты восставали против излишеств современного рационализма, против механизации, против бюрократизма, так что была у заумников, может быть даже не осознаваемая ими, правда.

Куда сильнее Моршена-дидактика Моршен-энтузиаст, умеющий увлекать и увлекаться.

...Зевали кефали, смотрели макрели,
Как в небо летучие рыбы летели —
Не то, чтобы в небо, а чуточку ниже,
Но дальше от жижи и к солнцу поближе.

Звенит и радует его вызов унылой Парижской ноте. Хочу, — восклицает он,

Чтоб побеждало смертоборчество
Второй закон термодинамики...
Чтоб приходило все в брожение,
Чтоб все играло, черт возьми!

("Ответ на ноту")

Замечательно его стихотворение о конце мира. Начинается оно так:

...И развеался в отдаленье
Флаг на линейном корабле,
Когда по шучьему веленью
Исчезли люди на земле.

Очень это печально... Но Моршен мужественно не поддается ужасу и — как бодро развивается на корабле флаг! Нет здесь ни иронии, ни цинизма. Если так пишется о конце мира — значит, такого конца не будет. Так ощущаю я, читатель... Я уже не раз отмечал, что в поэзии, вообще в искусстве, минусы иногда оказываются плюсами.

Поэтическое чудо — стихи Моршена, посвященные Ивану Баркову. Он иронически-весело очищает этого сквернословя Осмнадцатого века от скабрёзности. Есть за что его величать, что Моршен и делает:

Он вздыбил стих неукротенный,
Еще не обращенный в штамп,
Дабы заржал весь мир крещеный
И жеребцом дымился ямб.

Сколько упоения в этих стихах Моршена:

Я свободен, как бродяга,
И шатаюсь налегке
Там, где раньше Миннегага
Проплывала в челноке.

Речи саксов, честной, краткой,
Не чуждается мой слух,
Но к наитьям и отгадкам
Я — увы! — в ней тугоух.

Мне родной язык роднее,
Восхитительнее всех,
Мил мне в нем и стук спондея,
И пиррихия разбег.

Это стихотворение заканчивается "букетом" из стихов разных русских поэтов:

"Вы откуда собралися,
 "Колокольчики мои?
 "В праздник, вечером росистым
 "Дятел носом тук да тук.
 "Песни, вздохи, клики, свисты
 "Не пустой для сердца звук.
 "Шепот. Робкое дыханье.
 "Тень деревьев, злак долин.
 "Дольней лозы прозябанье.
 "Колокольчик дин-дин-дин..."

Николай Моршен многое совмещает: он поэт душевного здоровья и здравого смысла, иногда не слишком убедительный дидактик, но словесник-виртуоз, философ-физик, упоенный современными открытиями науки. Силы зла он не преуменьшает, но верит в светлое будущее человечества. Пророчествам я не доверяю, но иногда думается, что в какой-то другой, свободной России, Николай Моршен мог бы стать ведущим поэтом, даже вершителем дум. Это будет Россия демократическая, мирная, с ориентацией на Космос и вдохновляющаяся *смертоборчеством*. Ее краеугольными камнями станут устои Моршена: совесть и наука. А религия? Моршен только допускает веру в Бога, но, как у Тейяра де Шардена, Бог мог бы раскрыться и в его мире... Так или иначе — ничего утопического в "моршенщине" нет.



Редакция "Нового Журнала"
 с глубоким прискорбием извещает
 о внезапной кончине 13 февраля 1986 г.
 в Амхерсте, Массачусетс,
 профессора, поэта
Юрия Павловича Иваска

КАТЯЩИЕСЯ КАМНИ ЕВРОПЫ

Еще недолго и каркас этого столетия (и даже — тысячелетия!) будет готов для свалки, что, конечно, заслуживает своего печального вздоха... Сколько тотальных умоослеплений и помешательств украшает наш путь в тартарары — ни одному из предшествующих веков не удавалось, кажется, так пышно уничтожаться!

Но если и пора подводить какие-то итоги на излете времени, то уж, во всяком случае, не ради того, чтобы кто-то извлек из них урок на будущее — наука не делает истории. Да и кто учится на чужих ошибках? — Хорошо, если на своих...

Поэтому не для следующих поколений, а для самих себя нам так нужны сейчас 2-3 лирических светоча, которые словом своим или даже удачно выдуманной кличкой закруглили, оценили бы эту эпоху, и, прежде чем ее забыть, сделали бы гибель века заметной и бессмысленной.

Похоже, одним из них становится теперь Юрий Кублановский.

Бурно появившийся в Самиздате двух российских столиц в конце 70-х, он, кажется, никогда не ставил своей целью выход в официальную печать. Наоборот! Его стихи часто бывали пересыпаны такой крупной солью политических намеков и хлестких определений, что становилось уже не до публикации: быть бы живу. Как говорилось когда-то, "он работал слишком близко к быку", переходя допустимые границы риска. Но, заметим, — не жанра, Поэт оставался чистым лириком, и это понятно в контексте литературных вкусов: ведь к тому времени болтология Евтушенко хоть кого могла отвратить от гражданственности...

Тем не менее, Россия, а точнее, контраст между культурным потенциалом ее прошлого и духовно вытоптанной современностью был постоянным фоном (либо просцениумом) для лирики Кублановского. Даже в любовных стихах! А в исторических, так сказать, арабесках эта тема становилась, пожалуй, на самый передний план, хотя порою и подбоченивалась иронически.

И сколько бы ни менялись его лирические партнерши, он оставался верен своей русской сыновности — свойство, чем оно подлинней, тем уникальней. Ведь речь идет не о восхвалении партийно-государственной "родины" в советской поэзии и не о равно прискорбном очернительстве всего русского в поэзии ново-эмигрантской, но о совсем другом качестве стихов Кублановского — о постоянно бьющемся в них жиздительном нерве национального самосознания. Соль этого свойства чувствовалась и в его первой книге "Избранное", выпущенной "Ардисом" незадолго до полубегства — полувывыски из страны, и оно же осталось тематической эссенцией следующего сборника "С последним солнцем", вышедшего, когда автор уже был на Западе. Не гражданственность, но именно сыновность!

"Сын" — первое слово в его новой, очередной книге "Оттиск".

Сын, мужавший — за семью замками
от моих речей,
все равно когда-нибудь глазами,
честный книгочей,
пробежишь хоть по диагонали
эти горбыли —
жидкие парижские скрижали
бати на мели,
писанные, точно бороною,
шедшей под углом,
кто там вспомнит — под какой звездой
за каким столом...

Я не обрываю эту цитату, — она странно повисает сама, что по-видимому, вызвано простой заминкой, когда от наплыва чувств перехватывает горло. Естественный шок. Эмиграция... И — новая, обратная перспектива взгляда на Россию.

Потому, чем дольше, тем чужбинней
праху под сырой.

Собственно, в этом зачине видна, как на ладони, вся книга в ее плюсах и минусах — чистый и сильный звук лирической правоты, сопровождаемый, тем не менее, каким-то мелким поддребезгом. Словно, будучи баритоном, вытягивает он теноровую ноту "ля". К счастью, призыв слышится, скорее, как предупреждение о ней, чем сама эта нота.

Да и нигде специально не занимается автор поэтическим вокалом, как таковым: стих его мускулист и функционален, подчинен основным тематическим ходам внутри книги. А движение их — двояко. Теперь не лирические партнерши, как в прошлых тетрадах, будь то свойско-преlestная "архангелогородочка" или "Оля", с которой все "щемяще", но уже страны Центральной Европы перелистываются в стихах.

Франция, приграничные Альпы, Германия — вот новый круг блужданий. И каждый раз мысленно улетая "туда" (слово "крылья" символически присутствует в нескольких стихотворениях), поэт возвращается к местам сыновности и отцовства. В Россию. В страшную, расстрельно-матерную страну, где сын, и откуда есть пошла вся надежда на перемыкивание мирового итога. Зла. Красной богоубийственной блазни. Изма!

И — обратно, гулким анапестом по Парижу "с красными козырьками" и с подножиями невидимых будущее-прошлых гильотин! Везде — признаки политического полевления, порозовения, чуть ли не капитуляции. Тысячелетняя война Белой и Алой Розы склоняется в пользу последней. "Европа в огне"!

Мало кто из вырвавшихся на Запад тоталитариев избежал этого соблазна; ударить в тревожный набат. Мол, опомнитесь, гедонисты и сибариты! Дайте, наконец, отпор марксо-ленино-сталино-мао-изму и безбожию, обступившему вас извне и снаружи. Иначе будет поздно!

Но час настает и проходит, за ним год, и другой, и десятилетие, а Запад все стоит на своем, переваривает собственные ереси, балансирует мировые безумия и как-то, к вящему благополучию, ухитряется даже процветать!

Конечно, Кублановский, судя по значительной части его

восклицаний, принадлежит к таким глашатаям, но кто знает, чья сила, чей цвет возобладают в противоборстве "Роз"? Ведь оно, действительно, существует. И что-то большое должно рухнуть вместе с тысячелетием, но что?

Он предчувствует:

Тебе ли, Европа, не знать поименно
безбожных своих сыновей?
Недаром они тебя ждали влюбленно
среди помраченных степей.
Плетнями повалятся в жижу границы.
И твой обветшалый покров
еще поплывет с торжеством плащаницы
поверх присмиривших голов.

Он упрекает ее, прародину "изма":

Заменяли Всевышнего ересью,
доказуемой с пеной у рта,
Робеспьера с подвязанной челюстью
на телеге везли, что шута...

Жалеет —

Бедный мальчик Людовик Людвечи,
как ужасно красно в зеркалах!

Страшится и за себя, и за Европу:

Буду ль впредь под чужим
листопадом, сыпаемым в тропы,
ожидать, недвижим,
как покатыся камни Европы...

И, в результате, уверяет ее решительно.

Ничего, — за последним уступом
я еще постою за тебя.

Франция! И тут же — мгновенный полет назад. Хотя фоном стихов уже прочно стала "парижская мгла", на нее, тем не менее, то наплывают калужские жижицы, то сечет ее какая-то смоленская крупка.

Русские образы...

И внучатым якобинством История грохает обратно, прямо по нашим болевым точкам. Достоевские "мальчики", накуралесившие у себя дома с Французской Революцией в груди, многожды поминавшие ее "теплой водкой", теперь от революции же и лечатся, мучаясь с похмелья.

И люблю, и вдвойне ненавижу
неродной европейский грабёж.

Тут уже — роман с Европой, как у быка или, скажем легче, как у Катулла с Лесбией. Любовная тяжба, когда не понять, кто "первей" виноват. Забота и обида. И даже такие теневые порывы, как доля исторического злорадства: за что, мол, боролись, на то и напоролись.

Неудивительно, что не только синтаксис, но и образы в этих стихах смятенные и противоречивые. Слишком уж хлынул в сознание новый европейский опыт, чтобы сразу все рассудить и освоить. Да и точка фундаментального отсчета не могла не колебаться.

Но есть единящее свойство для всех разношарахающихся линий: это — звук. В самом деле — у французской части сборника, если прислушаться, можно уловить особый голосовой оттенок. Правда, я уже уверял, что Кублановскому не присуще певческое сольфеджо, но теперь вижу: это неверно. Как раз нота "ля", буквально и акустически, в ее минорном отголоске "ле" и мажорном "ла" — хорошо слышна в доброй половине книги

От кленовой разлапины,
далеко перетлевшей во мгле.

— и до "камланий вьюги" и "закланий дней" — этот звук формирует артикуляцию, как бы пытаюсь произнести некое медиумически важное слово. Плач? Кажется, нет...

В первом же процитированном здесь стихотворении явно необычен один глагол: "полакомит".

Но когда полакомит пороша
горку и между...

На фоне "дум" и переживаний он выделяется изысканным

гедонизмом в духе Михаила Кузмина, странно напоминая "Фореель": "ручей стал лаком до льда"...

Этот примечательный звук проходит эхом почти по всей книге: "лаковое логово", "лаковые недра" и даже "лаковый мрак парижских трущоб". Тут же пускается дальше по отнюдь не поверхностной аллитерации: "ласково"... "Лавр"? Да, но и памятный "платок" вокруг детских "скулец", а дальше (и важнее всего) — "плат", потому что в нем — последнее утешение.

Не знаю, со смыслом или без, но этот звук на время при- молкает, когда стихи, перевалив через Альпы, оказываются на германской почве. И появляется вновь, когда меняется тема. На этот раз, умело попридержанный, он расходится по безударным слогам.

А может быть, в этом и нет никакой метафизики — просто поэт на слух наполнил русские стихи французскими артиклями? Не исключаю...

Варьируются и ритмы — как правило, трехсложные. Причем во французской части преобладает подвижный и мужественный анапест. Некрасовский рыдающий дактиль соответствует более всего "русской теме". И уравновешенный амфибрахий — стихам о Германии.

Говоря символически, эти страны интересуют Кублановского лишь постольку, поскольку они отражают "русскую тему", причем каждая — по-своему.

И если Франция, посеяв когда-то идеологическое цунами, ждет его обратного прихода из России, то с Германией можно подразумевать лишь силовое противостояние — в лоб, — по традиции мировых войн.

Это столкновение присутствует в книге, но, к счастью, оно переводится в совсем иной план, и тому есть любопытнейшие примеры. Вот один.

В предклиросном светлом крыле
за тусклым надежным стеклом
святыня: нетленный скелет
угодника гуннских времен.
Унизана каждая кость
рядком драгоценных камней.

И в серых фалангах зажат
на нас указующий жезл.

Дак вот, любодейка-судьба,
в каких ты пасешься яслях!
Навряд ли твоя колотьба
отсель растрясет Ярославль,
дремотный — на двух берегах,
бесследно вобравших багрец,
по грудь утонувший в снегах,
чей холод дошел до сердец.

Жаль, что сам автор никак не назвал стройный цикл, откуда взята эта часть, и даже не обозначил его единства. Как шахматная доска, он состоит из отчетливых четвертей, в каждой из которых 16 строк. Две строфы — 8 и 8, разделенные рубежом многоточия...

Германия и Россия...

При этом первая строфа, по ново-западной традиции — без рифм, а вторая по-русски крепко зарифмованна. Формальная новинка, остроумно изобретенная Кублановским!

Противоборство: но не силы на силу, а стиха на стих. И — **святости** на ...(когда-то могли мы святынями поспорить с целым **Свѣтом, а теперь...**) ...разорение.

Горькая обида за нашу измородованную страну мешает дальше разглядывать европейские виды. Вспоминается свое, самое болезненное из новейшей истории: поругание отечественных святынь, уничтожение Веры, резня христиан коммунистами.

Новомученики!

Вот они-то и есть наша последняя святыня, о них и будем помнить, справляя 1000-летие Крещения Руси. У Кублановского уже сейчас есть кое-что, если не к юбилею, то к концу эпохи, — короткая поэма "Памяти алапаевских узников", одна из редких эпических попыток этого лирика.

На фоне размытых, комканых образов послереволюционной России в поэме показаны трагические фрагменты: расстрел чекистами царственных богомольцев и монахинь в Алапаевске:

...под ветром с сивушным приказом "огонь!"

Эта христубийственная война, которую вела и ведет советская власть на виду у той же Европы, не стоит ей ни санкций, ни дипломатических упреков. Противник — тих и кроток. А жертвы безмолвно оттаскиваются прочь.

Поэтому духовным подвигом русской эмиграции и ее Церкви я считаю канонизацию новомучеников за Веру, причисление их к сонму святых. Добрая весть! И — тема (увы, печальная!) для всех, сколько ни есть русских поэтов, — ведь и Пушкин, и Лермонтов брали для стихов эпизоды из нашей Истории.

Одна эта попытка дотронуться до такого дымящегося болью материала делает Кублановского нешуточным художником.

Он — нравится: и читателю, и критикам; его Муза очень многим пригожа — от наших "националистов" и чуть ли не до русофобов, как это ни странно... Видно, высокой пробой отмечен его дар: дар голоса, горького опыта и духовного сопротивления. Оттиск любви и страха.

Дмитрий Бобышев
Урбана, Иллиной

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	76	140	250

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГЛЕБЕ ГОРБОВСКОМ

Русский поэт Глеб Горбовский незаметно скончался в конце 60-х годов XX-го столетия, а член Союза Советских Писателей Глеб Яковлевич Горбовский продолжает обитать в Ленинграде, на Васильевском острове, в месте, которое по старой памяти зовется Гаванью.

Глеб Яковлевич Горбовский издал, точнее, Глебу Яковлевичу Горбовскому определенные литературно-административные инстанции издали более 10 книг, включая "Избранное". Название "Избранное" звучит несколько странно для еще пишущего автора: то ли Горбовский дал обещание не писать лучше, чем в "Избранном", то ли признал себя неспособным к дальнейшему созданию поэзии.

— Глеб — это эпоха! — говорит голос К. Кузьминского в телефонной трубке. — Вот и вчера опять всю ночь говорили о Глебе. Глеб — мерило...

Первой моей реакцией был протест: *это не так!* Не может один человек быть эпохой чего бы то ни было. Но протест был бессловесный — по американскому телефону не поспоришь, ежели абоненты не имеют постоянного и приличного (по величине) дохода. Второй реакции не было — был укол памяти, пронзительная боль о бывшем и удивительно ясная видимость вспять — зрячесть, очищенная длиною времени и расстояния.

Любившими доказано,
любовь в разлуке — зорче.

(Г. Горбовский — Строки из неудачной
поэмы о Ленинграде).

Не могу оспаривать поэтическое провиденье Глеба Горбовского, но и верить не могу, так как утверждение поэта — не более, чем штамп, литературный ляп, из тех, которые так крепко прижились в издательствах, видимо, всех стран и народов: официальные власти любят такие ляпы — они оставляют в памяти читателя кирпичик "законного", с которого начинается "удобное сознание".

Эпоха... Что такое — эпоха? Какой исторический или нравственный смысл сокрыт в этом понятии? Глеб — это эпоха... А Евтушенко — тоже эпоха, или часть, или не? Может быть, существует эпоха имени Вознесенского? Или Маяковского? Или Мандельштама? Трагический тенор эпохи — Блок — звучал в период революции, был, так сказать, звуком эпохи, но не эпохой. Анна Андреевна поименовала так Блока для большей убедительности и красоты, ибо сама в то время была только хористкой. А что потом? Какая эпоха сменила революцию: эпоха ЧК? эпоха Пролеткульта? эпоха коллективизации? Во сколько миллионов трагических голосов звучали эти эпохи? Где имена певцов?

Поиски эпох могут увести в несказанные дали и увести от предмета разговора. Помня, что *истина* и *правда* далеко не всегда одно и то же, назовем — вполне условно! — текущую эпоху русской литературы *эпохой социалистического реализма*. Невнятица понятия "социалистический реализм" легко объединяет любые поэтические проявления, лишь бы главным в творчестве авторов было служение так называемой советской власти, а власть за верную службу сделает автора известным в определенном ранге. И еще давайте запомним, что социалистический реализм отгораживался кровью и колючей проволокой от тех, кто не служил советской власти или служил не так рабски, как требовалось. В данном случае творчество поэта Горбовского может быть наглядным объяснением существа социалистического реализма, однако, не более наглядным, чем творчество Павленко, Евтушенко, Наровчатова, Дудина, Орлова, Кузнецова и пр.

Одно время казалось, что Глеб Горбовский — поэт Божьей милостью — не будет связан путами службы. По крайней мере, черты его биографии должны были бы отвергнуть поэта от службы. Казалось...

Глеб Горбовский родился 4 октября 1931 г. на севере от Ле-

нинграда, в *Коми* — так было записано в паспорте, который Глеб таскал в кармане пиджака, не расставаясь. Родители Горбовского были преподавателями русского языка и литературы. По словам Глеба, его отец был репрессирован по нелепому доносу (кажется, за покушение на жизнь Кагановича). На допросе Якову Горбовскому выбили глаз ударом тяжеленного тома "Капитала" — в коже и с латунными наугольниками. Яков Горбовский отбыл десять лет в трудовых лагерях, а потом не получил права на жительство в крупных городах и поселился на Волге, вроде бы в Кинешме. После ареста отца мать поэта вскоре вышла замуж за *прокурора, который обвинял Якова Горбовского*, и с новой семьей переселилась куда-то на юг, а Глебу осталась большая полутемная комната на 9-ой линии Васильевского острова. Со слов Глеба мне известно, что в 1941 г. его отправили в деревню к дяде, в этой деревне его застала война. Немецкие солдаты из озорства спаивали подростка шнапсом, Глеб привык к выпивке и нес эту "привычку" почти 30 лет. Среднюю школу Горбовский не закончил по причине пьянства, но закончил ремесленное училище с профессией плотника. До призыва на воинскую службу успел побывать в колонии для несовершеннолетних нарушителей, а потом два года прослужил в стройбате. За два года службы Горбовский получил 196 суток ареста за пьянство, и в конце второго года был комиссован из армии по болезни.

Наша дружба началась стихийно — в 1954 году, но запомнил я Глеба Горбовского еще в школе, в 1946 году: клубок тел скатился по лестнице к гардеробу, клубок рычал, хрипел, орал — и распался. Над всклокоченным и рычащим парнем в боксерской стойке замер Дон, общий любимец школьников. Дон не ударил поверженного — он протянул ему руку, помог противнику подняться и оба в обнимку вышли из школы. Вихрастый рычун был Глеб Горбовский. Дон, Юрий Игнатьев, стал с той поры приятелем Глеба на долгое время. Только растущая известность поэта, то есть новый образ жизни Горбовского, прекратил их приятельство. Юрий Игнатьев — мастер спорта по боксу, был чемпионом города, но для некоторых уголовников работал по "отмазке". Не знаю, писал ли Глеб стихи в этот период жизни, но точно знаю, что пил, а пьяный — зверел.

Двумя годами позже я не успел на спектакль снятия с кры-

ши. Пьяного ремесленника снимали пожарные с помощью складной лестницы. Ремесленник кричал и брыкался.

Однажды, в пору дружбы, мы спешили с Глебом за бутылочкой "зубровки" на Малый проспект в непопулярный гастроном, где продавались настойки — тоже непопулярные в те годы. Пробегая мимо "ремесла", мы заметили на крыше двух парней, которые нетвердо шли вдоль карниза.

— Резнутя, — сказал Глеб.

— Нет, — возразил я, вспомнив подвиг пожарных, — пожарники снимут.

— Это меня снимали... — без восторга признался Глеб.

...Последняя встреча с Глебом Горбовским была у меня в 1979 году, в августе месяце, в Ленинграде, в ОВИРе...

За более чем 30 лет знакомства на долю дружбы выпало только лет семь-восемь — с 1954 по 1961 год — самое интенсивное и самое интересное время творчества поэта Глеба Горбовского. По словам Глеба, к 1962 году были сделаны 6 поэм и около 1000 стихотворений и песен. В "Избранное" вошло 450 стихотворений, но только около 70 помечены датами тех лет. Где остальные стихи поэта?! Неизвестно. Впечатление, что Горбовского обокрали. Но кто? Пожалуй, что сам поэт. Весь ряд поэтических публикаций доказывает это. Авторская правка для "прохода", некогда казавшаяся временной уступкой цензуре, обернулась службой литературным администраторам. Вот примеры:

Было:

...квинтэссенция в хлебе,
в парт и проф. нахлобучках

...я буду стрелять, если в выстреле сущность,
с улыбкой умру за родимую Русь...

Стало:

...квинтэссенция в хлебе,
в бытовых нахлобучках

я буду стрелять, если в выстреле сущность,
с улыбкой умру за Советскую Русь...

В каждом варианте правки изменено по одному слову, зато полностью изменен смысл стихотворений. Оба стихотворения из "непечатных" превратились в служебные.

В 1954 году в записной книжке Горбовского было не более 20 стихотворений — предстихотворений, из которых в памяти остались строчки:

Витька, друг,
жили мы, помнишь, как?
А теперь по барабану легких палочки Коха.

Последняя строка несет груз стопроцентной реальности — наш друг той поры Виктор Бузинов (ныне радиожурналист, известный беспринципностью, пьянством и авторством поделок о Ленине) заболел туберкулезом и потерял одно легкое. Тяга к конкретным деталям наметилась у Горбовского еще в достиховом периоде, эту тягу он осознает и сделает "мясом" стихов. Через десять лет пьяный Шигашев будет пророчествовать:

— Отец, пойми, главное — детали, детали, детали...

Началом поэзии Глеба Горбовского, бесспорно, явилось стихотворение "Ослик", которое и зафиксировало неразрывность фактов биографии с географией стихов в творчестве Горбовского. Ленинградцы должны помнить, как в 1954-1955 годах по городу из района в район перевозилась на ослике касса цирка.

Рыжий ослик родом из цирка
прямо на Невском в центре движенья
тащит фургон, в фургоне дырка —
касса: билеты на все представления.
Ослик тот до смешного скромн,
даже к детям он равнодушен.
Город-грохот так огромен,
в центре ослик, кульками уши.
Славный ослик, немного грустный,
служит ослик, как я, искусству.

При всех шероховатостях стихотворения, обаяние так велико — и поэта и ослика, — точность попадания в читательское сердце такая снайперская, что "Ослику" ничего другого не оста-

валось, как выполнить свою миссию и ввезти в святой город поэзии новое имя.

Глеб Горбовский не только написал удачное стихотворение — он еще и уловил возможность эксплуатации определенного приема писательства, то есть возможность стиля, — и сразу же опробовал действие своей находки в стихах. Следом за "Осликом" — залпом (или запоем?) выплеснулись стихи "Муха", "Зеркало", "Воздух", "В автобусе" и др. Основные стихи этого потока были опубликованы в сборнике "Молодой Ленинград" в 1956 году — тогда, когда имя поэта Глеба Горбовского было уже на устах студентов, самого массового и самого активного класса любителей поэзии.

В 1954 году о поэте Глебе Горбовском еще никто не знал. В записной книжке были песенки, куплеты, частушки, сотворенные во время солдатской службы, а может быть, и ранее.

У сержанта новый ремешок.
Ты, сержант, хороший корешок.
Убери ремень с дороги,
чтоб глаза он не мозолил,
дважды два ему приделать ноги.

Или:

Ты любитель беленькой "московской"
я ее поклонник с давних лет.
Вам клянется сам солдат Горбовский:
в целом мире лучше водки нет.

Или песенка, обличающая "Запад":

Сидела пара на скамье,
и мисс в объятиях дрожала,
а Время как всегда: тик-тик,
а Время как всегда — тик-тик
бежало.

Я не привожу тексты песен и куплетов полностью — нет нужды. Но песенка о "Западе" была сотворена специально: Горбовский начал делать компромиссные стихи давно, расчетливо, уверенно. В середине пятидесятих годов разглядеть этот метод

внедрения в поэзию было невозможно. Во-первых, стихов было чрезвычайно много и в сравнении со стихами официальных поэтов (Дудин, Чепуров, Браун, Азаров в Ленинграде, и такая же популярная серость в Москве) они казались праздничными блестящими. А во-вторых, в то время еще не было ясного представления о поэзии будущего десятилетия: поэзия большинства молодых авторов представлялась монолитом новой, чуть ли не революционной формации, нового — свободного — дыхания поэзии:

Плевало Время на меня,
плюю на Время.

Повторяю, буйный и пьяный Горбовский имел трезвый, расчетливый ум. По складу характера ему был ненавистен любой вид насилия над его личностью. И вот в солдатчине, когда капитан заставил Глеба заготавливать дрова для себя, плотник и солдат Горбовский одним махом топора отрубил себе две фаланги правого указательного пальца, за что подлежал трибуналу. Но Горбовского комиссовали по чистой, то есть по болезни без переосвидетельствования — Глеб это вычислил заранее, ибо по инерции сталинских законов трибуналу подлежал и капитан, который за использование солдатского труда в личных целях мог получить срок больший, чем сам членовредитель.

После успеха первых стихотворений Глеб пишет, как штурмует; редкий день проходил без стихов, а обычно за одну ночь он успевал написать два-три, а то и пять-шесть стихотворений. Неудачная поэма "Дебри", или "Добрые дебри", приблизительно 300 строк, было выполнена за две ночи (на коммунальной кухне в квартире, где я прожил большую часть жизни); осколки поэмы в виде стихотворений помещены в "Избранном" — "В кабине", "Рубины малины в кустах при дороге."

Физический труд Горбовский ненавидел и трудиться на производстве не стремился, в чем, безусловно, был прав, так как труд поэта — поэзия, а не таскание, пиление, тесание, взрывание и пр. Трудовая география в стихах Горбовского объясняется очень просто: до вступления в члены Союза Советских Писателей социальное положение поэта именовалось как "тунядец", он мог быть преследуем милицией, и друзья Глеба из "горняков" (в

частности, Олег Тарутин) устраивали его в экспедиции для заработка и трудового приложения. Ныне член ССП Глеб Яковлевич Горбовский прекратил дальние заезды, и катается в дома творчества.

Удивительно, что критика не заметила стихотворения "На лесоповале", хотя оно опубликовано не менее 10 раз:

Тела, смолистые от пота,
а бревна, потные от тел.
Так вот какая ты, работа...
Тебя я так давно хотел!

В 1958 году — дата стихотворения — Горбовскому было 27 лет, но он еще не отведал труда, то есть постоянный труд для поэта был в новинку. Хотение труда — выдумка поэта, угодная редакторам издательств.

3 мая 1955 года Глеб Горбовский вышагнул в окно с лестничной площадки третьего этажа. Глеб не разбился и даже не поцарапался — он шагнул на поленницу дров, прикрытых ржавым железом. Грохот был жуткий, словно взрыв: стены двора-колодца отражали звук, многожды усиливая его. Глеб решил исчезнуть, сбежать, потеряться. Возвратить Глеба отправился человек сравнительно трезвый, богатырской силы и непобедимого здоровья.

— Идем назад, Глеб, — сказала лошадиная мощность.

— Давай, я тебе сперва в морду резну, потом пойдем, — отвечал Глеб.

Глеб ударил наотмашь, но без видимого результата — здоровяк даже не покачнулся.

— Не, — сказал Глеб, — надо не так. Давай снова.

Во второй раз Глеб угодил здоровяку кулаком в горло. Здоровяк заперхал, отплевался, а потом погрузил Глеба на плечо и принес в комнату веселья, причем долгий путь через дворы и по лестнице Глеб перенес молча и без сопротивления.

Возможно, что двуликость или многоликость есть общечеловеческое свойство, то есть в зависимости от обстоятельств человек проявляется тем или иным образом, как бы чуждым ему, как бы случайным или резко противоположным его обыч-

ному складу. Так, наедине, когда рядом не было чужих глаз и ушей, Глеб Горбовский был человеком невероятного тепла, тишины и заботы. Перед чужими Глеб "выступал", поддразнивая, или зля, или злясь. И стихи для "прихожан" Глеб читал едкие, иногда лютые, вроде:

Мы — поколение нерях,
за разгильдяйство нас резонно
мариновали в лагерях
простых и концентрационных:
за то, что мы не гладим брюк
и шек не бреем ежедневно,
за то, что мы не моем рук,
на нас покрикивают гневно:
А, ваши трусики в дерьме,
за это вас сгноим в тюрьме.

Естественно, что эти стихи Глеб с эстрады не читал, но всегда — дома, для "прихожан". Он знал, что такие стихи бьют по сознанию без промаха, что у каждого есть обнаженный нерв протеста, что трогать этот нерв сладостно и для себя и для других:

Зачем он роет эту яму?
Во-первых, скажем, это труд,
а труд ведет к получке прямо,
а получив, едят и пьют.
Лопатой чешет там и сям он, —
грунт испугался, грунт притих.

Рабочий знал, он роет яму
не для себя, а для других.

В воздухе 1955 года носились очень смелые слухи о Сталине возможно, что в "народ" специально процеживались некие вольности, подготавливая массовое сознание народонаселения к раскрытию культа личности Сталина. Глеб реагировал остро и точно:

Постучали двое в черном,
их пустили, как своих.
Папа мой сидел в уборной

сочинял для сына стих.
Мама грызла торт-полено,
я — дурак — жевал картон,
и вибрировал коленом
звездолобый пинкертон.
Нехорошие вы люди,
что вы роетесь в посуде,
что вы ищете, ребята,
разве собственность не свята?

Даже в стихах для эстрады, которые Глеб читал тогда на поэтических вечерах и турнирах, звучали откровения горечи, нужды, протеста:

..А счетчик считает без счет, без бумаг,
и кажется, высчитан каждый твой шаг,
движение каждое сердца и ног,
подсчитан и крови стремительный ток,
плати! — за биение сердца в груди,
плати!... ("Счетчик", 1956 г.)

Или:

...А рабочий любит щи, —
для него в тарелке мелко,
для таких, как он, мужчин
огород бы на тарелке.
Ешь, рабочий, ешь плотней
будешь лошади сильней. ("В столовой", 1955 г.)

Тем печальней читать теперь в "Избранном":

...Как мало нужно для смирения:
всего лишь горсточку ума,
и вот случилось озаренье...

...и эти яростные флаги,
и вечный тот прищур вождя...

Конечно, прищур; естественно, что прищур, — прищур стрелка в сотни тысяч, прищур организатора концентрационных лагерей, прищур создателя кастрированной партийной литературе-

ры, которой ныне служит Глеб Яковлевич Горбовский душой и телом. В книге "Явь" есть стихотворение "У шлагбаума" — обычная литературная подлость без ума и сердца. Горбовский там — сторонний, но активный наблюдатель, даже более — добровольный общественный обвинитель, активный на шмон, на вражду, на ненависть. И немудрено, что словесный ряд стихотворения калькирует наихудшее идеологическое оружие, изобретенное Геббельсом-Ждановым для умирения вольнодумных масс.

Он уезжает из России.

Глаза, как два лохматых рта,

глядят воинственно и сыто.

Он уезжает. Всё. Черта.

"Прощай, немытая..." Пожитки

летят *блудливо* на весы.

Он взвесил все. Его ужимки

для балагана. Для красы.

Шумит осенний ветер в липах,

собака бродит у ларька.

Немые проводы. Ни всхлипа.

На злом лице — ни ветерка.

Стоит. Молчит. Спинай к востоку.

Да оглянись разок, балда...

Но те березы, те восторги

его не тронут никогда.

Не прирастал он к ним травую

и даже льдом не примерзал.

Ну что ж, смывайся. Черт с тобою.

Россия, братец, не вокзал!

С ее высокого крылечка

упасть *впотьмах* немудрено.

И, хоть сиянье жизни вечно,

а двух отечеств не дано.

О каких "впотьмах" глаголет автор? Уж не Россия ли это "во мгле"? Что ж это славные редакторы просмотрели? Или поэту Горбовскому отныне позволено властью мутить воду и наводить тень на плетень? Я воспринимаю этот текст как личное оскорбление и как пошлую ложь, оговор, поклеп, как тупое жандармское ругательство в адрес людей, осмелившихся покинуть отечественные застенки. Видимо, Глеб Яковлевич больше не тревожится тем, что в его дверь постучат "двое в черном".

Итак, за плечами Горбовского пятьдесят лет жизни и более 10 книг. И ни одна книга не охватывает душу полным ощущением — горя — счастья — любви. Для первой книги "Поиски тепла" — книги надежд — была простительна некоторая рыхлость в подборе стихов и некоторая инфантильность чувств (поэма, давшая название книге, есть поэма ни о чем, то есть о пешем походе на свидание с не очень любимой женщиной — ни имени, ни лица, кроме лукавого "моя любовь сейчас в тепле") — простительна по той причине, что первую книгу Горбовского подбирал некто Владимиров, а редактировал некто Кузьмичев, — Глеб только радостно согласился с подборкой, так как знал, что первая книга — первая ступенька новой жизни, к которой он тяготел. Но непростительна и необъяснима позиция автора в следующих книгах, в которых четко и твердо запечатлен поэт официального идеологического приложения. Вспомним:

...Его ветрами облизало,
его — как факел, голова.
Еще Россия не сказала
свои последние слова!

Патетично. Безусловно, патетично. И почти красиво. Но о чем это? Да ни о чем. Но звук какой — "еще Россия не сказала свои последние слова!" — мед в горло власти, которая так неглупо, хотя и с опаской, пестует руссизм.

Тенденция служебных стихов развивается у Горбовского с каждой книгой, развивается так сильно и стремительно, что после 1970 года у него практически нет ни одного оригинального стихотворения, а только строчки и отрывки. Это какой-то поток общих идеологических наставлений, поток разрешенной и даже обязательной проблематики. И поэта не спасает умение писать

стихи: яд службы и тут работает. Сравним словесный ряд в стихах живого (до 1970 года) и почившего (после 1970) поэта:

Превратиться в мелкий дождик,
город толстокожий, трогать
гриву леса, нежностью небес-
ной гладить сонные поля...

(1966)

Проснулся и сышу: — Зачем я родился?
Отвечу, изволь. Чтоб радовать Землю.
Немалая роль. Столикую славить ее
красоту, стозвонному горлу внимать.

(1973)

Кого спасает шкура,
кого огонь азарта.
Одних хранит культура,
других — обед и завтрак.
Тебя спасет помада,
его спасет работа.
Меня спасти не надо
мне что-то неохота.

(1961)

Приняв снотворное, явился танков гул,
какая быль — такие сны, проснувшись,
сам не свой, и вдруг прочел про орде-
на спортсменам, вдруг рванулся — ах,
эта красная звезда...

(1976)

Тебя солнце подлизало
с городской шершавой шкуры,
таял ты, как тает сало...
в белом фартуке татарин
гнал тебя метлою взащей...,
снова дворника качало
на метле по тротуару...

(1957)

Притороченный к ней, измученный,
явились глаза твои, окруженье врагов,
в ореоле веков, ширью полей, ласкаю
дitia, отрешась от страстей, солнце
всходит на помощь тебе...

(1978)

Можно сравнивать почти каждое стихотворение — результат будет одинаков, словно после 1970 года Глеб Яковлевич Горбовский окончил некое церковно-канцелярское заведение с длительной последующей практикой. В стихотворении "Снег" автор изменил одно слово — вместо "татарин" встало "товарищ". Что ж, это по-товарищески. И все же атавистическая память (что он поэт милостью Божьей) заставляет писать строчки, в которых различим прежний Глеб — теплый, чистый, искренний:

Наступает разлука с собою.
Все слышнее последний звонок.
После жизни, как после запоя,
убегает земля из-под ног...

Или:

Шагая устало и зыбко,
я слышу: "Что с вами стряслось?"
И прячу в дурацкой улыбке
дурацкий ответ на вопрос.

Или:

Как горло любилося!
Как любим отныне покорно.

Или:

Ах, какие кавалеры
спят, не выйдя из меня!

Или:

Не кричи, разговаривай шопотом:
я услышу тебя, как судьбу.
Я уже успокоенный, шелковый,
из зерна перетертый в крупу.

Но такие строки — редкость, как археологические находки. Зато его стихи теперь перенаселены пошлостью. Во вступительной статье к "Избранному" Наталья Банк замечает: "Творчество Горбовского вступило сейчас в новый возраст четких пристрастий, человеческих, гражданских, эстетических...". О, пронзительный критик Наталья Банк! — углядела-таки отличие человеческого от гражданского и от эстетического! Однако, читая "Избранное", мы видим одно четкое пристрастие поэта — службу. По служебным обстоятельствам стихи заселяются не образами, а шаблонами, штампами "о людях старшего поколения, о тех, кто воевал" (слова Натальи Банк). Немудрено, что стихи становятся все более "программными" — программность одолела лирика, программность — индикатор, показывающий степень отсутствия поэтического мышления. Да и зачем нужно поэтическое мышление, ежели есть "гражданственное" — четкое, как звездочки на погонах? Программные стихи — их больше двухсот в "Избранном" — самое отвратительное, что мог написать Горбовский, овладев ремеслом. Читайте и судите сами, вот краткий список: "Старый охотник", "Ордена", Баллада о генерале", "Баллада об интеллигенте", "Черные кони", "В аэропорту", "Сикстинская мадонна", "Письмо", "Дом", "Скрипичный мастер", "На вокзале", "У реставратора", "Приметы" и так далее. Основным качеством этой продукции является название стихотворения, чтобы читатель не сбился с пути, чтобы запомнил, что известный поэт написал *это* — *о* или — *об*.

Последнее, что нужно отметить в сборнике "Избранное" — это некоторая подтасовка дат. Смысл подтасовки мне непонятен. Возможно, что специалист поймет, или разгадает, для чего автор смешивает даты. Легкая неточность (ошибка в два-три года) возможна по причине издательской, то есть под стихотворением может оказаться дата не написания, а опубликования стихотворения. Но есть вещи, на мой взгляд, необъяснимые. Например, в 1961 году Глеб Горбовский не был знаком с Юрием Шигашевым (они могли познакомиться не раньше 1964 года, но, вероятнее всего в 1965-1966 гг.). Словесный ряд стихотворения, прямо скажем, — посмертный, так уныло Горбовский в 1961 г. писать не умел. Стихотворение, которое некогда было посвящено Наталье Шурыгиной, ныне опубликовано с посвящением Е.

Евтушенко. Для чего? Укрепление связей Москвы и Ленинграда? Или своеобразный вид клятвы-признания в соучастии? И еще одно стихотворение:

Когда я потускнел и поржавел,
и пообтерся, это ль не зловеще?
Ко мне впорхнула стая дивных тел!
Блистательных и девушек и женщин...

А раньше!? Где вы были жизнь назад?
Когда я сам летал и разрастался,
когда еще благоухал мой сад,
когда я ласки в поисках метался?

Вот вы пришли. Я вам налью чайку.
Я вам стишок бесполой проболтаю...

Это истинный голос пожилого Горбовского, а не слова Глеба в 1961 году, когда он клокотал от чувств — от боли, от горечи:

Даже ты уходишь замуж,
одиноче я кукушки.
Мне тебя поить куда уж
из моей солдатской кружки...

(Наталье Шурыгиной, 1961 г.)

Не влетала тогда в темную комнату Глеба никакая "стая дивных тел" — не было места в комнате. И не было "бесполох стишков". "Бесполое стишки" — находка Горбовского последнего десятилетия. Пастырь — по должности своей — обязан творить высоко-моральные, то есть бесполое стихи.

Остается слабая надежда, что со временем всплывут горячие тексты Глеба Горбовского, и опытная рука составит "Избранное" без оглядки на власть, составит для поэзии, составит для русской литературы, которую Глеб Горбовский — безусловно! — любит. Возможно, что в это время ни поэта, ни его оппонентов не будет среди живущих. Но кесарю — кесарево, а Богу — Богово... ежели Богово не уничтожено самим автором.

С. Гозиас

А.Н. ТОЛСТОЙ В БАРВИХЕ

О писателе Алексее Николаевиче Толстом в эмигрантских журналах и газетах написано немало. Признавали его большой талант, но не прощали ему советской Каноссы. Может быть, в душе он и сам себе не прощал, но это — его тайна.

Малая Советская Энциклопедия называет его "русским советским писателем" и отмечает, что октябрьскую революцию Толстой "сначала принял враждебно. В 1918-23 был в эмиграции. По возвращении в СССР принял активное участие в строительстве социалистической культуры".

Возражать не приходится. Вопреки внутренним убеждениям, А. Толстой пошел на компромисс с советской властью и в рядах советских писателей занял одно из виднейших мест. Художник слова, одаренный, трудолюбивый и влюбленный в свое писательское ремесло, он и под сенью серпа и молота писал, в основном, хорошо, хотя и должен был приспособляться к эпохе "великого Сталина". Так, прославляя царицынскую эпопею Сталина, Толстой написал унизивший его собственное достоинство и малохудожественный роман "Хлеб". Впрочем, перечисляя его произведения, МСЭ о "Хлебе" скромно умалчивает.

О Толстом, как человеке и писателе, я узнал многое из рассказов моей жены Ксении Николаевны, урожденной Бонафедде. По нелепой случайности ее мать, Лариса Ивановна, брат Иван и она застряли в Ялте после падения Крыма в ноябре 1920 г. Они пережили ужасы того времени, когда в Крыму зверствовал Бела Кун, уничтожая оставшихся там белых офицеров и солдат. За малым не погибла и Лариса Ивановна, чудом избежавшая смерти. И обязательно погиб бы отец моей жены, Николай Юсти-

нианович Бонафедде, отставной полковник лейб-гвардии Гренадерского полка. Коммунисты искали его, но соседи сказали им, что полковник умер до революции, в 1916 году.

Семья Бонафедде пережила и голод того времени, хорошо описанный Иваном Шмелевым в книге "Солнце мертвых". Лариса Ивановна обменивала ценные вещи на ничтожное количество продуктов питания.

Когда взбаламученное море революции вошло в свои советские берега, семья Бонафедде, продав имущество в Ялте, в январе 1926 года вернулась в родной Питер и поселилась в большой барской квартире генеральши Шидловской, обращенной властями в коммунальную. Хотя умная Шидловская сумела подобрать подходящих жильцов из своих бывших слуг и "бывших людей", все же Питерский совет вселил к ней красного партизана, грубияна, наводившего панику на "буржуев".

В то время "бывшим людям" жилось относительно хорошо. Они устраивались на службу в новые советские тресты и канцелярии. Ксения поступила на службу помощницей бухгалтера в отдел здравоохранения Мурманской железной дороги.

В марте 1928 г. Ксению уволили со службы, несколько месяцев она была безработной, а затем ее приняли на работу в ленинградский Госстройтрест № 4. Начальство в бухгалтерии было из "бывших людей", работалось легко и даже приятно. Под шумок рассказывали антисоветские анекдоты и не чуяли приближения грозы. После "великого перелома" 1928 г. обстановка резко изменилась в худшую сторону. Начались притеснения, угрозы, репрессии.

В ту пору моя будущая жена была очень дружна с Милей Крестинской — Людмилой Ильиничной. Впоследствии эта дружба оказалась полезной, когда с матерью моей жены, Ларисой Ивановной, стряслась беда.

Вернувшись в СССР, Алексей Толстой жил одно время в Царском Селе. Какой-то головотяп из новых власть имущих решил изменить "идеологически чуждое" название Царского и придумал ему новое — Детское Село. Дети, разумеется, к этому идиотскому названию никакого отношения не имели. Позже, в 1937 г. Детское Село было переименовано в город Пушкин.

В Царском Толстой жил в удобной квартире. Царское с его дворцами и парками располагало к творчеству, и тут писатель плодотворно работал. Здесь в 1929 г. он начал писать "Петра Первого".

Толстой был тогда женат на Наталье Васильевне Крандиевской, писавшей хорошие стихи. В Царском Толстому понадобилась секретарша, и Крандиевская нашла подходящую кандидатку в лице Милицы Крестинской.

Миля была молода, красива, привлекательна и добра. К своим секретарским обязанностям она относилась с должным усердием и никаких видов на Толстого не имела. Зато на нее имел виды Алексей Николаевич. Как-то раз, собираясь на отдых в Сочи, он предложил Миле поехать вместе. Смущенная Миля наотрез отказалась. Толстой был озадачен, но не настаивал. Потом подумал немного и перед самым отъездом вручил Миле запечатанный конверт. Миля вскрыла конверт, в нем оказалась фотография Толстого с предложением руки и сердца: "Людмила, будьте моей женой". Размышляла Миля недолго и согласилась. Случилось это летом 1935 г. И в августе того же года, оплакивая двадцатилетнюю любовь в трогательном до слез стихотворении, 47-летняя Крандиевская рассталась с изменившим ей мужем. К ее страданиям Толстой отнесся невозмутимо спокойно. А Милю он буквально боготворил, баловал ее, исполнял все ее желания.

В один прекрасный день "великий Сталин" выразил пожелание — жить Алексею Толстому в Москве. Толстые переехали в Москву, им отвели комфортабельную квартиру недалеко от Александровского вокзала, переименованного большевиками в Белорусский.

Но для творчества это место Толстому не подходило. Похлопотав где нужно, он получил в свое распоряжение дачу в Барвихе, ставшей из прежнего скромного села местом отдыха для представителей "нового класса". Толстые поселились на даче, которую раньше занимал вычищенный из партии бывший наркомзем Чернов. Квартиру в Москве Толстой сохранил за собой. Хотя в компартию он не вступил, Сталин облагодетельствовал его званием депутата Верховного Совета СССР в 1936 г.,

когда над страной взошло "солнце сталинской конституции". Московская квартира стала приемной депутата Толстого. Обычно в ней сидела секретарша, а Толстые останавливались, когда приезжали из Барвихи в Москву.

"Когда мы убили Кирова, нас и многих других выслали из Ленинграда". — Так иронически говорила моя жена, вспоминая те трудные дни, когда "бывших людей" выслали из Питера. Пройдя через унижительные допросы и издевательства в органах НКВД, Лариса Ивановна и Ксения избрали местом ссылки Пермь. Распродав за бесценок остатки своих хороших вещей, в апреле 1935 г. они прибыли поездом в Пермь. Здесь в транспортном отделе НКВД они узнали, что Пермь — "город режимный", стало быть, для "врагов народа" неподходящий. Ксения бегала из одного учреждения в другое, и всюду ей говорили: "Уезжайте отсюда поскорее". Но куда ехать? Посоветовались и решили поселиться в Орле. Передвигаться тогда было нелегко. Как правило, поезда были переполнены, достать билеты было очень трудно. Длиннейшие очереди змеились перед кассами, изредка открывались окошечки, кассирши продавали небольшое количество билетов и окошечки захлопывались. Л.И. и Ксения провели на вокзале уже не одну ночь. Отчаявшись, Ксения обратилась в городское управление НКВД и там, не без страха, козырнула:

— Едем по распоряжению НКВД в Орел, а билетов получить не можем.

Чекист, видимо, не понял, что перед ним высланная из Питера "буржуйка", позвонил на вокзал и сказал кому-то:

— Слушай, у меня тут девушка, она с матерью едет в Орел по распоряжению НКВД. Будь чутким, устрой им билеты.

С риском нажить неприятности Л.И. и Ксения задержались на несколько дней в запретной для них Москве. Повидали родственников и знакомых, дали знать Миле Толстой о своем переселении в Орел.

До революции Орел был городом дворянским, у многих помещиков были здесь дома. Существовала и Большая Дворянская улица, ее большевики переименовали, конечно, в улицу Ленина. Но здесь еще чувствовалось дыхание недалекого прошлого. Лариса Ивановна и Ксения познакомились в Орле с "быв-

шими людьми”, высланными из больших городов за дворянское происхождение — Хитрово, Перфильевыми и др. Всем им жилось трудно, зарабатывали они жалкие гроши, едва хватавшие на пропитание, а кроме того, жили под страхом новых репрессий.

Ксения поступила на службу младшим бухгалтером. На ее 250 рублей в месяц жить было трудно. Лариса Ивановна прирабатывала вязанием и другими рукоделиями. Питались скромно, вкус мяса забыли, были рады молоку, купленному на базаре, да яблокам, а ими Орловский край славился. Варили на примусе гречневую кашу и разные незатейливые супы.

В один прекрасный день Ксению неожиданно вызвали в НКВД. Явившись в управление НКВД, Ксения предстала перед хамоватым чекистом. Чекист торжественно сообщил:

— Знаете, гражданочка, товарищ Сталин недавно сказал, что дети за родителей не отвечают. Значит, вы можете вернуться в Ленинград.

— А как же с моей мамой? — спросила Ксения.

— Нет, вашей матери никак нельзя. Да и вам бы тоже, тут я с товарищем Сталиным не согласен, но он так решил.

Обрадованная, Ксения поделилась с Ларисой Ивановной неожиданной новостью. Решили, что Ксения съездит в Питер, попытается получить жилплощадь и поступить на службу. Но в Питере для прописки милиция требовала указать место работы, а там, где Ксения пыталась устроиться на службу, требовали прописку. Обычный советский заколдованный круг. Так Ксения и вернулась в Орел ни с чем.

Близость Орла к Москве давала Ксении возможность изредка бывать в Барвихе у Толстых. Ее там принимали радушно, предоставляли ей комнату наверху дачи, где жила теща Толстого, Полина Дмитриевна.

Тещу свою Толстой не любил и чувств своих не скрывал:

— Знаете, Полина Дмитриевна, я вас не люблю. Но бесконечно вам благодарен за то, что вы родили мне Людмилу.

Ксения пользовалась расположением Полины Дмитриевны, но многое о жизни Толстых узнавала и от Мили.

А. Толстой был и остался барином, привыкшим жить удоб-

но и на широкую ногу. Зарабатывал он хорошо и не скупился на приобретение красивой обстановки для своей дачи. Его стиль был — старинная мебель красного дерева или дубовая и особенно — Чиппендейл. Столовая выглядела шикарно — красивое дерево, если нужно было, подправленное краснодеревщиком, роскошная люстра над столом, буфет, ломящийся от хрусталя, отечественного и розенталевского фарфора, множества изящных вещей, купленных в комиссионных магазинах. Все это со вкусом и пониманием толка в вещах.

По соседству со столовой — ценная библиотека, в ней было много редких и дорогих книг. Конечно, и книжные шкафы были красивыми и солидными. Тут Толстой в кругу семьи и друзей читал отрывки из новых произведений. Читать он любил и читал мастерски.

Над столовой был расположен его рабочий кабинет. Обычно свою работу Толстой начинал, стоя за откуда-то добытой редкостной конторкой "Louis XV". Сперва обдумывал очередную главу, делал заметки, а затем усаживался за просторный письменный стол и начинал печатать на пишущей машинке. Закончив печатание обдуманного, опять переходил к конторке, задумывался, набрасывал очередные заметки и возвращался к пишущей машинке. Тревожить его в эти часы не полагалось, писал он, словно священнодействовал.

Здесь он закончил трилогию "Хождение по мукам", здесь же продолжал писать исторический роман "Петр Первый", писал и другие произведения. На "Петра" он затратил много времени, изучая большое количество архивных материалов и документов, охотно ему предоставляемых. "Петр" давался ему нелегко, ведь это была не только другая эпоха, но приходилось учитывать и современную жизнь со всеми ее подводными камнями.

В марте 1941 г. Совнарком принял постановление о присуждении сталинских премий, в том числе и по художественной литературе. Когда по радио диктор оглашал имена лауреатов, Толстые с замиранием сердца ожидали, будет ли премия Алексею Николаевичу? Список был длинный, а имени Толстого все никак не называли. И вдруг диктор возвестил о присуждении Толстому сталинской премии первой степени — 200 тысяч рублей — за роман "Петр Первый", тогда еще далеко незаконченный.

Радости и восторги было трудно описать: премия подоспела вовремя: в эти дни Толстой настолько издержался, что вынужден был занять деньги у Полины Дмитриевны и даже у кухарки Паши. В безденежье его вогнала поездка в 1940 г. в "освобожденный" Львов. Там он накопил множество разных вещей, израсходовав десятки тысяч рублей на серебро, дорогие вина, роскошные скатерти и салфетки с монограммами.

Рассматривая скатерти, Полина Дмитриевна обратила внимание Толстого на чужие инициалы. Зять возразил:

Ведь не в инициалах дело, а в короне. Корона-то графская!

В Барвихе жилось удобно и привольно. В распоряжении Толстых были кухарка Паша, горничная Лена, шофер и садовник. В гараже стояли два автомобиля — роскошный "студебеккер" и сравнительно скромный "форд". Миля предпочитала "студебеккер", "форд" же служил больше для хозяйственных надобностей. К своей прислуге Толстые относились хорошо, прислуга тоже была ими очень довольна и любила их.

Наезжая в Барвиху, Ксения рассказывала о том, как тяжело живет в провинции. За хлебом очереди, колхозники покупают хлеб в городе, жителям городов все время чего-то не хватает. Кухарка Паша удивлялась:

— Да как же это так. Вот Алексей Николаевич недавно говорил, что у них в Верховном Совете хотят провести закон о бесплатной раздаче хлеба населению.

Когда Ксения рассказывала Толстому о действительном положении вещей в провинции, он тоже слушал ее с оттенком недоверия.

Паша закупала продовольствие в закрытом распределителе. Обычно находилось всё, нужное для стола Толстых. Хотя все же однажды Паше пришлось делить курицу пополам с другой претенденткой. Но это — случай исключительный. Как правило, на столе Толстых бывало все, что заказывали Миля и Полина Дмитриевна.

Советскую пропаганду Толстой не любил. Как-то раз, когда диктор разглагольствовал о прелестях марксизма, Толстой раздраженно сказал:

— Ксения, заткните им глотку! Выключите радио, они мне надоели своей трескотней!

Жизнь Толстых протекала в окружении складывавшегося тогда "нового класса". Как-то на одном приеме Толстые встретились с Н.Н. Крестинским, большевиком и бывшим полпредом в Берлине. Толстой представил ему Милю и сказал:

— Это ваша родственница, урожденная Крестинская, дочь полковника.

— Да, как будто был у нас в роду такой полковничек.

— Поосторожней, — вспыхнула Миля, — вы говорите о моем отце, он был полковником гвардии!

Крестинский слегка смутился.

Толстые дружили с маршалом Тухачевским и даже с Ягодой. Невестка Максима Горького, красавица "Тимоша", была любовницей Ягоды, а ее муж Макс больше пьянствовал и почти не вылезал из автомобиля. Поначалу связь Ягоды с "Тимошей" скрывалась, но после смерти Макса они ее уже не маскировали. "Тимоша" прекрасно одевалась, за ее туалетами следили московские модницы. Хорошо одевалась и Миля, на ее наряды Толстой денег не жалел.

Когда в опалу попали Тухачевский и Ягода, Толстой был, естественно, встревожен. Но "черный ворон" за ним не приехал. Видимо, у Сталина он был на особом счету.

После ареста Ягоды насмерть перепуганная "Тимоша" приехала к Толстым со своими страхами. Толстой ее успокоил:

— Не волнуйтесь, милая "Тимоша", помните, что вы мать внучек Горького. С вами ничего не случится.

И действительно, "Тимоша" не пострадала, разве что у нее отобрали Горки, где жил Ленин, а затем, после своего возвращения в СССР, ее свекор, Максим Горький. В Москве "Тимоша" жила в просторном особняке, ранее принадлежавшем Рябушинскому. Здесь она растила дочерей, дала им прекрасное образование, ее дочери жили как принцессы.

Толстые нередко бывали в Большом Кремлевском дворце на приемах, устраивавшихся Сталиным. Были и на приеме дипломатического корпуса, когда Сталин затеял дружбу с Гитлером. В угоду Гитлеру еврей М.М. Литвинов был вынужден усту-

пить свой пост В.М. Молотову. У Толстых сложилось впечатление, что своей новой роли Молотов стеснялся. И неудивительно: такой крутой поворот во внешней политике озадачил не только иностранных дипломатов, был озадачен и сам новый нарком иностранных дел.

Были Толстые у Сталина и на новогодней елке. Ужин был сервирован в двух залах. В большом, за маленькими столиками, разместились гости, рядом, в меньшем — Сталин и его ближайшие сотрудники по Политбюро.

За столиком Толстых сидели артист Малого театра Пров Садовский, его жена, "Тимоша", вдова Макса Пешкова. Столики были великолепно сервированы, ужин вышел на славу. Толстой, в прекрасном расположении духа, громко говорил Садовскому:

— Вы — настоящий Фамусов, не то что в Художественном Театре!

— Послушай, Алеша, не так громко, у нас соседи из Художественного Театра, — шепнула Миля.

— Ну и пусть слушают! — не унимался Толстой.

В обиде на Станиславского и Немировича-Данченко Толстой был с давних пор, еще до революции, когда, несмотря на настояния Саввы Морозова и Мамонтова, руководители МХТ'а не приняли к постановке его пьесы.

Разъезжались по домам, довольные приемом и ужином. Перед уходом Садовский до отказа набил карманы апельсинами и мандаринами для своих детей — в Москве фрукты были "дефицитом".

Толстой любил Париж. В 1938 году он приехал в Париж с Милей. Миля хотела осмотреть все и вся, но муж возражал:

— Знаешь, приезжают туристы и сразу же хватаются за Бедекер. А я, попадая в этот чудесный город, не спешу. Я просто *начинаю жить*, ибо жить в Париже прекрасно. Я не чувствую себя здесь туристом.

К эмиграции Толстой относился отрицательно. Об эмиграции он написал не очень удачную повесть "Черное золото", нечто вроде пасквиля. Позже, в 1941 г., повесть вышла в новом издании "Эмигранты". Характерно, что сам Толстой, даря книгу со своей надписью Эренбургу, отзывался о ней, как о "глубоко

несовершенной и приблизительной повести”.

К большинству советских писателей Толстой относился с явным пренебрежением. Он находил их писания просто безграмотными и скучными, не раз говорил, что они по-настоящему не владеют русским литературным языком.

Толстой был в хороших отношениях с Горьким, но особенно дружил с К. Фединым. Встречался с В.Г. Лидиным. Признавал Илью Эренбурга, но, пожалуй, Эренбург ценил Толстого больше, чем его — Толстой.

Особым почетом и любовью пользовался у А.Н. Лев Толстой. Однажды по московскому радио передавали записи, наговоренные автором “Войны и мира”. Алексей Николаевич внимательно вслушивался в речь Льва Толстого. Когда передача кончилась, он с восторгом сказал Миле и Полине Дмитриевне:

— Вот это настоящий русский язык, советский ему не чета!

6 августа 1937 г. энкаведисты арестовали Ларису Ивановну и посадили ее в знаменитый Орловский “Централ”. В свободные от службы часы Ксения ходила к тюрьме, пытаясь узнать о судьбе матери. Трудно было и с передачами. Иной раз их не принимали совсем, а когда принимали, то бесцеремонно перетряхивали пакет, ища запретные записки или выбрасывая неразрешенные предметы. Ксения не могла узнать, находится ли ее мать все еще в тюрьме или ее уже отправили в лагерь.

Ксения сообщила Миле Толстой об аресте Ларисы Ивановны. Миля горячо сочувствовала Ксении и помогала ей чем могла.

Сидение Ларисы Ивановны в тюрьме затянулось на несколько месяцев. За все это время ей не разрешили хотя бы раз повидаться с дочерью. Ксения питалась слухами. И вот прошел слух, что арестованных “бывших” высылают на восток, в лагерь. Ксения стала наведываться на вокзал. Однажды утром, в лютый январский мороз 1938 г., она увидела в стороне от вокзала, на запасном пути, длинный товарный состав. Высылаемых погрузили еще ночью, вдоль состава протянулась цепь вооруженных охранников, не подпускаявших огромную толпу провожавших к вагонам.

Кто-то сказал Ксении, что ее мать видели в одном из ваго-

нов. Она подошла к указанному вагону и обратилась к охраннику с просьбой, нельзя ли узнать, тут ли находится Лариса Ивановна Бонафедде. Охранник мрачно посмотрел на нее и ответил, что разговаривать с высылаемыми запрещено. Плачущая Ксения продолжала настаивать. Тогда охранник наставил на нее штык и спросил:

— Вы что, гражданочка, тоже сюда захотели?

Через несколько дней кто-то подбросил Ксении короткую записку от матери, которую та выбросила на ходу поезда с адресом дочери. Теперь Ксения уже наверняка знала, что ее мать выслана из Орла.

Ксения сохранила и вывезла за границу 16 писем и открыток, посланных Ларисой Ивановной из женского концлагеря на Северном Урале, недалеко от захолустной станции Сама Свердловской области.

В письмах Ларисы Ивановны столько материнской трогательной нежности и заботы, что без волнения их читать невозможно. И почти в каждом письме или открытке Лариса Ивановна с благодарностью упоминает о посылках и деньгах, посылавшихся ей Милей Толстой и ее матерью, Полиной Дмитриевной. Ксения мне говорила:

— Подумай только, на обратном адресе посылок было написано: "От депутата Верховного Совета СССР А.Н. Толстого"! Ведь тогда это было небезопасно. Но на станции Сама и в самом концлагере этот обратный адрес, видимо, производил впечатление, почти все посылки доходили.

Вот отрывки из некоторых писем Ларисы Ивановны:

"...Боюсь, что я тебя огорчила сообщением о моей руке, но ведь этого надо было ожидать, ведь я сейчас калека, я и сейчас ею пользуюсь, но берегу ее. Ты только не торопись с сухарями, ведь сейчас ты должна быть очень стеснена в деньгах, а почтовые расходы на посылки, говорят, огромные. Я же жду обещанную посылку от Мили, если с нею ничего не случится. Если затеешь прислать мне сухари, то не посылай масла, это очень дорого — сухари, сахар и ячменный кофе без ящика, т.к. он дорого стоит. Вот и довольно, и не заворачивай в газеты, их совсем не надо. Из шерсти, которую мне прислала Миля, я хотела сделать

что-нибудь тебе, но переслать невозможно. И я кончила тем, что связала себе шарфик, ношу его теперь всегда на голове вместо платка, шарфик 1 метр длины и $\frac{1}{2}$ метра ширины. Прости, что причиняю тебе расход доплатой за письмо, но у меня нет больше открыток.” (30.I.1939 г.)

”...Если тебе действительно нетрудно прислать посылку, то прошу тебя, не трать денег на шоколад и дорогие вещи. Я буду рада самым простым сухарям, сахарному песку и каким-нибудь карамелькам в бумажке, вроде барбарисовых. Очень прошу тебя прислать мне ниток белых, не тоньше 20-го номера, и крючок к нему, но только если у тебя действительно будут свободные деньги, то ячменного кофе или желудевого” (28.III.1939 г.).

”...У нас здесь началась весна, слякоти непочатый край, я даже не хожу за обедом, т.к. ноги увязают по щиколотку, я падаю. Но зато потеплело, и можно сидеть на завалинке. Мы все увлекаемся шитьем кукол. Прошу тебя, не выбрасывай разных обрезков материй, у нас все идет на кукол. Может быть, и тебе сошью куклу. Я тоже очень скучаю по тебе...” (26.IV.1939 г.)

”...Очень мне было приятно знать, что ты на праздник мая покушала сливочного масла и получила обновочку. Ты спрашиваешь, как я его провела? Погода была хорошая и потому была на воздухе, гуляла, ела 400 гр. в день хлеба и кашу овсянку. На второй день был спектакль, играли заключенные. У нас сейчас опять зима, снег, холодно, а главное, нельзя ходить, слякоть невылазная. Я не работаю, как и многие старухи. Весь барак, в котором я живу, не работает, но материальное положение у всех одинаковое. У нас, например, есть особа, которая получает две посылки в месяц, и денег много, она у нас командует всем баракком. Это самая толстая женщина, которую я когда-нибудь видела. Я все эти дни занималась рисованием, размалевываю коробочку, которую смастерил один старичок, рисую палочкой, т.к. кисти нет. Вообще очень тоскливо и горько, но лучше об этом не писать, не стоит... У нас много болтают, что из некоторых лагерей некоторым есть освобождение, у нас же никого не отпускают” (11.V.1939 г.)

”...Сейчас я стараюсь спать на воздухе, но это не так-то просто! Во-первых, бывают дожди, а иногда уж очень холодно, но я, благодаря тебе и Миле, владею одеялами, которыми я в бара-

ке совсем не пользовалась, т.к. мои дорогие соседки любительницы натопленных изб, натопленных до потери сознания. Я покрываюсь одной простыней, чтобы прикрыть свою наготу. Проветривание преследуется ими, как нечто вроде фанатерии и дури. Теперь вот уже три ночи, что я не кормлю клопов, сплю на воздухе и у меня успокоились нервы. Сегодня наш зав. санчастью принес в барак очень хороший аппарат для уничтожения клопов. Это нечто вроде самоварчика, только с носиком, как у кофейника. Из этого носика идет горячий пар и этим паром обдают все места, где живут клопы. Говорят, что есть надежда совсем избавиться от них. Это будет очень приятно. Говорят, что в Москве в магазинах есть такие сосуды и стоят они около 4 р. ..." (8.VI.1939 г.)

"...Ты теперь знаешь, что случилось с моим бельем. Теперь случилось то же самое с посылкой П.Д. Это очень обидно, т.к. я очень непрочь была подкрепиться. Уцелел, к счастью, сахар, он был уложен мною в другом месте, нашлись две пачки гречневой каши, она очень вкусная. Остальное все улетело. До сих пор этого со мной не случилось, и в будущем постараюсь не попасться.

...У меня еще улетел мой частый гребень, который я купила себе на деньги, которые они (Толстые) мне прислали, он был очень хороший, хорошо проходил по волосам, стоил 2 р. 50 к. Не присылай мне никаких хороших тряпок, но если у тебя уцелели куски от старых платьев, то я буду очень рада им... Нам объявили, что с сентября месяца разрешается посылать только два письма в месяц. Так что ты не беспокойся, если будут большие перерывы, но ты, родная, побалуй меня, пиши почаще, еще можно получать все письма, что шлют нам. У нас холодно, идут дожди, уныло и грустно. У меня всего два конверта с марками, т.к. третий, полученный от Мили, я должна была отдать за долг. Купить ведь негде, да и денег нет." (2.IX.1939)

А.Н. Толстой продолжал хлопотать о Ксении. 12 марта 1941 г. он написал начальнику милиции в Ленинграде на бланке депутата Верховного Совета СССР просьбу прописать Ксению в Ленинграде. И из этой просьбы ничего путного не вышло.

Незадолго до начала войны Ксения, как всегда нелегально, приехала в Москву, провела несколько дней в Барвихе у Тол-

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР	SSSR JOKARŞ SOVETININ DEPUTATİ
ДЕПУТАТ ВЪРХОУНАГО СОВЕТА СССР	SSSR ALIJ SOVETININ DEPUTATI
SSRI BAŞ SOVETININ DEPUTATİ	DEPUTATI SOVETI OIJLI SSSR
СССР ЫЛЫ СОВЕТИНЈН ДЕПУТАТ	SSSR ÜLÛ SOVETINJN DEPUTATİ
СССР СОЮЗУ СОВЕТИНЪН ДЕПУТАТ	SSSE SOYUZU SOVETININ DEPUTATİ

12/III 1942.
 Калашкину району Акимови
 города Ленинграда.

Уважаемый товарищ, прошу
 Вас, если это возможно, пропи-
 сать в Ленинграде на наемной
 квартире г-р. Бонагареве Ксе-
 нию Николаевну. Я лично зна-
 ю ее на протяжении ряда лет.
 Последние два года в силу се-
 мейных причин она работала
 в 2-й в-е и была уволена по
 сокращению штатов.

В Ленинграде и не сдѣлано
 ервеевских, которые согласны
 прописать ее на свою площадь.
 Работать ей в Ленингра-
 де не приходится, так как
 она толмовой работницей (дра-
 каншей) и ее можно использовать
 в то предприятие, где она прежде
 работала.

С тав. привезен
 Ленинградского Совета СССР
 т. А. А. Мелева Т. О. Лета

Автограф А. Н. Толстого

стых и на депутатской квартире в Москве. Миля сказала, что, видимо, вытянуть Ксению из Орла не удастся. Удрученная, Ксения 22 июня 1941 г. вернулась в Орел.

С началом войны переписка Ксении с матерью оборвалась. Не было и возможности хотя бы еще раз побывать в Барвихе.

3 октября 1941 г. танки Гудериана без боя прикатили в Орел. Защищать старинный, стратегически важный город было некому, в советском фронте зияла большая дыра. Потерявшие голову местные власти бежали, предварительно расстреляв большое число заключенных в Орловской тюрьме.

Как и многим служащим, Ксении предложили эвакуироваться из Орла, но от такого лестного предложения она решительно уклонилась. Позже, среди брошенных властями документов, был найден список лиц, подлежащих аресту и отправке в лагерь. В этом списке значилась и Ксения.

В Орле немцы за жалкие гроши и паек наняли знавшую немецкий язык Ксению переводчицей в армейской бане-вошебойке. Летом 1943 г. немцы оставили город. Ксении удалось найти в Берлине троюродную сестру, Марию Евгеньевну Геккер. Связавшись предварительно с семьей Геккеров, она вовремя вышла из Орла в Берлин и стала эмигранткой.

Ксения навсегда сохранила глубокую благодарность к Толстым и Полине Дмитриевне Крестинской за все то добро, что было ими сделано для нее и особенно для ее матери, томившейся в женском концлагере.

Б. Прянишников

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ А.И. ГУЧКОВА

ПУБЛИКАЦИЯ С. ЛЯНДРЕСА

Распутин

Уже с самого появления Распутина в Петербурге я знал о начавшемся его влиянии. Тогда "придворные мистики" сменяли один другого. Это, конечно, было неприятным зрелищем, ибо компрометировало верховную власть. Но я не отдавал себе отчета, насколько это явление из области мистического влияния на мирную жизнь царской семьи переходит в область общественно-политическую.

Более опасной фигурой казался мне тогда Илиодор, который вел борьбу с правительством Столыпина. Столыпин старался отстранить его от близости к престолу, но другие спекулировали на больных сторонах царской души. Я выше уже упоминал, как в последнее мое свидание со Столыпиным он мне с глубокой грустью говорил о том, как такие явления расшатывают и дискредитируют местную правительственную власть и кладут тень на власть верховную. Говорил он мне, что все это гнило, и что он надеется лишь на то, что сгниет на корню раньше, чем успеет подточить престол.

О роли Распутина он мне ничего не сказал. Мне раскрыл глаза Кривошеин. Когда, после убийства Столыпина, я с ним беседовал о том, какую роль играл покойный и какая могла быть у

*Окончание. См. "Н.Ж." кн. 161.

него будущность, Кривошеин сказал мне, что политически Столыпин был уже конченным человеком, и что отставка его была уже решена: только искали формы и повода для его перемещения на невлиятельный пост. "Я Столыпину не раз говорил, — продолжал Кривошеин, — вы — сильный, талантливый человек, вы многое можете сделать, но предостерегаю, предостерегаю вас, не боритесь с Распутиным и его приятелями, на этом вы сломитесь. Он моего совета не послушал, и вот результат".

Тут я понял, в какую силу вошел Распутин.

Новый конституционный строй был слабым растением с неглубоко пущенными корнями. Я готов был ему много грехов простить и относился снисходительно к ряду творившихся беззаконий, понимая, что они неизбежны. Но когда мне представилась картина, что, вот, мы стараемся охранить конституционный строй, а рядом происходят такие явления, как влияние Распутина, я стал внимательно приглядываться к этому человеку. В. Львов, который был председателем думской комиссии по церковным делам, передавал мне о том, что вмешательство Распутина в церковное управление принимает скандальный характер, что по этому поводу высшие иерархи прямо в отчаянии. Без участия Распутина не происходило никаких назначений на высшие церковные должности. И понятно, какой он пользовался властью в церковных делах.

Я решил сначала действовать против Распутина осторожно, не прибегая к широкой огласке. Я понимал, что народные массы еще не выросли до конституционного правосознания, что они почитают царя, как самодержца, помазанника божия, и что если народ вдруг узнает, что за спиной самодержца ими управляет хлыст, конокрад и развратник, то это нанесет непоправимый удар престижу государственной власти.

Сначала я пытался действовать через министров. Обратился к министру внутренних дел Макарову, но получил от него спокойный ответ: "Да, Распутин близок к государю, но это касается мистических настроений царской семьи. Вмешательства Распутина в государственные дела я не замечаю". Через короткий срок сам Макаров сделался жертвой распутинских интриг и должен был оставить свой пост. Обращался я несколько раз и к председателю совета министров Коковцеву. Он был со мной от-

кровеннее Макарова и рассказал, что имел по поводу Распутина беседу с государем. Государь интересовался мнением Коковцева о Распутине и, идя навстречу этому желанию государя, Коковцев свиделся с Распутиным, который произвел на него самое отталкивающее впечатление. Когда после этого государь снова спросил его о его мнении, то Коковцев ответил ему откровенно, что, служа ранее в главном тюремном управлении, он подобных Распутину людей встречал в тюрьмах и на каторге. Это откровенное суждение хотя не отразилось сразу на карьере Коковцева, но и не повлияло на отношение государя к Распутину.

Когда я убедился, что в порядке личных сношений я ничего добиться не могу, я решил действовать через Государственную Думу. Дума не имела, подобно другим парламентам, права интерpellации по поводу любых действий правительственной власти. Запросы могли предъявляться правительству лишь по поводу явно незакономерных действий. Поэтому приходилось ждать какого-либо повода, чтобы поднять вопрос о вредном влиянии Распутина. Такой повод скоро представился.

В Москве был кружок православных богословов, во главе которого стоял некто Новоселов. Возмущенный вмешательством Распутина в церковные дела, этот кружок решил выступить в печати по поводу вредных влияний посторонних лиц на церковную жизнь. Соответствующая статья за подписью Новоселова и была помещена в основанной мною газете "Голос Москвы". Хотя статья была написана в осторожных выражениях и имени Распутина в ней не упоминалось, но московский генерал-губернатор Гершельман приостановил выпуск газеты на семь дней. Это было действие незаконное, и я, собрав думскую фракцию октябристов, получил от нее согласие и нужное число подписей для запроса. Помню, как один из членов фракции, будущий председатель Думы Родзянко, взволнованно отговаривая меня от предъявления запроса, сказал: "C'est l'affaire du collier de la reine"*.

Я произнес в Думе очень сдержанную речь, говоря лишь о том, что власть не свободна и что на нее действуют посторонние

* "Это дело об ожерельи королевы" (намек на нашумевшее дело о бриллиантовом ожерельи Марии-Антуанетты, ставшее отправной точкой Французской революции. — С.Л.

влияния, и тоже Распутина не назвал. Во время моей речи, когда я взволнованно говорил о том, что эти посторонние влияния могут сыграть роковую роль в истории династии и России, с левых скамей раздался голос с.-д. депутата Гегечкори: "Вы нас пугаете, а нам не страшно". Так оно и было на самом деле. Левые радовались влиянию Распутина, который дискредитировал монархию. Мой запрос был передан в комиссию, а следовательно, обсуждение его откладывалось на некоторое время. После этого я отправился к Коковцеву и говорю ему: "Я понимаю, что ваше положение прежде было затруднительно, но теперь, когда Дума возбуждает вопрос о Распутине, вы можете снова поднять о нем вопрос перед государем. Имейте при этом в виду, что если Распутин будет устранен или если я увижу, что дело к этому идет, я откажусь от запроса, и Дума его обсуждать не будет. Используйте этот случай и попытайтесь что-нибудь сделать".

Результатов не последовало. Только царская семья меня окончательно возненавидела. Мне передавали, что государыня сказала: "Гучкова мало повесить".

Борясь против влияния Распутина, я старался уяснить себе, что он собой представляет по существу. Лично встречаться с ним я не хотел, хотя меня приглашала одна дама в свой салон, который он посещал. Я знал, что Распутин может использовать встречу со мной, распространив слухи о том, что я перед ним заискиваю.

Меня интересовало все-таки узнать, кто он такой: просто ли жуликоватый мужик, или авантюрист, или принадлежит к какой-нибудь религиозной секте. Последнее казалось мне вероятнее. Я решил обратиться за разъяснением этого вопроса к какому-нибудь специалисту по русскому сектантству. Таким специалистом был Бонч-Бруевич, который написал книгу о сектантах, собрав в ней большой материал о их нравах и обычаях, о их молитвах и обрядах. Я предложил Бонч-Бруевичу познакомить его с Распутиным через ту даму, которая меня с ним хотела свести, на что он охотно согласился. Он стал встречаться с ним, сначала в салоне этой дамы, а затем более интимно.

Через несколько недель Бонч-Бруевич написал мне письмо, в котором сообщал мне, что пришел к заключению, что Распутин не просто проходимец, нацепивший маску сектанта, а несом-

ненный сектант, что, конечно, не мешает ему быть одновременно и проходимцем, По духу своего учения он близок к секте хлыстов, но не принадлежит к ней и является сектантом-одиночкой.

Потом, когда я ознакомился с личностью самого Бонч-Бруевича, оказавшегося видным большевиком, то усомнился в искренности его суждений о Распутине, который был им, спекулировавшим на разложении старой власти, весьма полезен...

В моей памяти остались два рассказа о деятельности Распутина. Первый я слышал от бывшего министра внутренних дел Хвостова, с которым встретился в Кисловодске после отставки. Еще во времена столыпинского министерства Хвостов был губернатором в Нижнем Новгороде. Однажды он получил странную телеграмму от своего знакомого писателя по экономическим вопросам, некоего Сазонова. Телеграмма была такого содержания: "Будете ли вы в ближайшие дни в Нижнем? Одному человеку очень нужно вас видеть." Хвостов ответил утвердительно. А через несколько дней к нему пришел Распутин и говорит: "Приехал посмотреть на тебя, каков ты есть. У нас там часто идут разные разговоры с папашей и мамашей... Так вот, хочешь быть министром внутренних дел?" Хвостову, конечно, очень хотелось быть министром, но он все-таки был смущен такой формой приглашения и возразил: "Как же министром внутренних дел, ведь у нас же есть министр". — "Сегодня есть Столыпин, — ответил Распутин, — а завтра его нет". Хвостов, однако, продолжал отказываться: "Да нет, я человек горячий, я не гожусь. Ведь если что не по мне — я в мешок и в воду"... Распутин задумался (может, было предчувствие) и говорит: "Вот ты каков, а ну, дай-ка мне телеграфный бланк".

Хвостов подал бланк, и Распутин своими каракулями написал такую телеграмму на имя государыни: "Видел. Молод, горяч, подождать надо. Распутин".

Через несколько лет, когда Хвостов был действительно назначен министром внутренних дел, уже во время войны, он стал следить за деятельностью Распутина через Департамент полиции и получил несомненные доказательства того, что Распутин является орудием в руках немецкого шпионажа. На одном из своих докладов в Царском Селе он все эти сведения изложил го-

сударю. Государь был очень взволнован, подошел к окну и стал нервно барабанить пальцами по стеклу. Тогда, желая использовать эту минуту колебания, Хвостов сказал государю: "Ваше императорское величество, прикажите убрать Распутина. Это необходимо теперь же сделать"... Государь посмотрел на него страдальческим взглядом и ответил: "Ах, оставьте это, сейчас Великий пост, я говею... Потом мы снова обсудим это дело"...

Как известно, Хвостов тогда стал действовать на свой страх и пытался организовать убийство Распутина, но за ним следил товарищ министра Белецкий, который его предал, рассказав обо всем императрице.

Хвостов был уволен в отставку, а Распутин приобрел еще большее влияние.

Другой эпизод рассказал мне жандармский офицер Штевен, которого я знал еще с детских его лет. Штевен, по долгу службы следивший за Распутиным, установил его сношения с подозрительным петербургским банкиром Манусом. Распутин часто бывал у Мануса и добывал для него разные сведения. Так, однажды Манус под предлогом, что хочет скупить большие площади лесов в прифронтовой полосе, просил его узнать у государя, будут ли русские войска там наступать. Распутин это поручение исполнил и получил ответ, что армия утомлена и о наступлении не может быть речи...

Заговор

В сентябре 1916 года, в особом совещании по обороне, Н.В. Савич сказал мне, что намечается какое-то частное собрание для обсуждения политического положения. Его, Савича, туда звали, но он отказался. Однако, ему известно, что меня тоже имеют в виду пригласить. Савич уклонился от участия в этом совещании, потому что он чувствовал, что речь идет о революции, в успех которой он не верил, и имел органическое отвращение ко всяким революционным действиям. С грустью признавая неизбежность революции, он, однако, уклонялся от какого бы то ни было участия в ней.

Меня, действительно, пригласили на тайное совещание политических деятелей, и я не считал возможным не принять в нем участия.

Совещание происходило на квартире М. Федорова. В нем принимали участие члены думы — Родзянко, Милюков, Шидловский, Шингарев, Годнев, Вл. Львов и Некрасов. Из нечленов Думы были, кроме Федорова, Терещенко и я. Инициатива исходила, по-видимому, от Милюкова и его кадетской группы, но видную роль играл Родзянко, с которым считались, как с Председателем Думы. Обсуждался вопрос о тревожном внутреннем положении России, ибо для всех было очевидно, что линия развертывавшихся событий должна неизбежно привести к большому народному революционному движению. Вопрос о том, как помешать такому движению, вовсе не ставился, ибо предполагалось, что события пойдут независимо от воли и желания собравшейся группы, а будут развиваться сами по себе. С другой стороны, было ясно, что правительство, к которому мы все относились пренебрежительно, лишенное воли, разума и и чувства своей правоты, не в состоянии будет дать отпор революции и ее подавить. Может произойти одно из двух: либо движение будет иметь успех и свалит существующую власть, либо правительство, чувствуя свою беспомощность, обратится к общественным кругам, имеющим известный авторитет, т.е. к нам, к людям, так или иначе выдвинувшимся в состав законодательных учреждений.

Присутствовавшие признавали, что в обоих случаях они уклониться от активного участия в событиях не могут. В первом случае дело представлялось некоторым из участников совещания в таком виде: поскольку мы беспомощны в первой стадии революции, мы будем стоять в стороне, ибо присоединиться к революции во время войны мы не можем. Наше дело добиться передачи власти легальным путем правительству, облеченному общественным доверием. Но если революция уже восторжествует, мы не можем не вмешаться в события. После стихийной анархии и уличных волнений настанет момент организации новой власти, и тут придет наш черед, как людей государственного опыта, которые, очевидно, будут призваны к управлению страной.

В таком представлении о ходе революционных событий заключается элемент иллюзии под влиянием аналогии с революцией 1848 года, которую делали городские рабочие, а другие

культурные разумные люди устраивали власть.

Что касается второй возможности, т.е. обращения к нам самой верховной власти, то она, конечно, представлялась наилучшим выходом из положения. Обращение власти к представителям общественности уже делалось во время революции 1905-6 гг. Но все признавали, что положение с тех пор значительно изменилось. Мы вполне ясно отдавали себе отчет в том, что умиротворение стихии возможно лишь в том случае, если от власти будет устранен человек, который несет на себе главную ответственность за ее возбуждение. Поэтому все единодушно признали, что новая власть может иметь шансы на успех лишь при условии отречения государя от престола.

Характерно, что в этой беседе принимали участие не только принципиальные монархисты, но и лица республиканских настроений, и, тем не менее, *вопрос о перемене монархического режима не затрагивался*. Все считали, что монархический государственный строй должен сохраняться в России и что отречение государя должно послужить лишь к его укреплению. Кроме того, все признавали, что монархическая преемственность должна находиться в соответствии с основными законами, что государь должен отречься в пользу сына, и, за его малолетством, должно быть учреждено регентство. Нашли закон, предусматривающий отстранение носителя верховной власти, и статью, в которой говорится о регентстве, его правах и составе.

Я лично мало участвовал в этих прениях и лишь обмолвился одной фразой, которая послужила исходной точкой некоторых дальнейших событий. Я сказал: "Мне кажется, господа, что мы ошибаемся, когда предполагаем, что какие-то одни силы выполняют революционное действие, а какие-то другие будут призваны для создания верховной власти. Я боюсь, что те, кто будет делать революцию, сами встанут во главе этой революции". Эта фраза не заключала в себе призыва к революции. Я просто был убежден, что если произойдет революция в низах населения, то в результате будет не только провал власти, но и фронта, и России.

После этого совещания я заболел и лежал больной на своей квартире. Внезапно приезжает ко мне товарищ Председателя Государственной Думы Некрасов, который раньше никогда у меня

не бывал. Он обратился ко мне с таким вопросом: "Из ваших слов о том, что только тот, кто участвует в революции, может оказаться призванным к делу создания новой власти, я заключил, что у вас по этому поводу имеется особая мысль... Так ли это?" Я ответил ему, что, действительно, думал об этом вопросе и пришел к выводу, что допустить смену власти в порядке революционной анархии нельзя, что ответственные и государственные люди должны на себя взять инициативу смены власти и что дворцовый переворот является единственным выходом для спасения России от всех бед, связанных с грозящей ей стихийной революцией.

Из дальнейшей беседы с Некрасовым выяснилось, что и он тоже пришел к выводу о невозможности добиться в России нормального политического курса и о неизбежности насильственного переворота. Для него тоже было ясно, что переворот этот должны совершить спокойные государственные элементы нации, дабы предотвратить развитие стихийных сил революции.

Установив нашу солидарность в оценке положения, мы решили к обсуждению плана действий. Мысль о применении террористических актов к носителям верховной власти совсем не обсуждалась. Так как мы были согласны в том, что сменить на престоле государя должен его сын, а регентом на время его малолетства должен быть брат государя, то нам представлялось совершенно невозможным заставить сына и брата перешагнуть через кровь убитого царя. Поэтому мы остановились на мысли произвести бескровный дворцовый переворот, заставив государя отказаться от престола в пользу сына.

Сговорившись с Некрасовым, мы решили привлечь в инициативную группу заговорщиков еще третье лицо — М.И. Терещенко, который принял наше предложение. Втроем мы и занялись детальной разработкой плана дворцового переворота. Представлялись три конкретные возможности: первая — захватить государя в Царском Селе или в Петергофе. Выполнение этого плана было сопряжено со значительными затруднениями. Если даже иметь на своей стороне воинские части в резиденции государя, то вовлечь в заговор весь гарнизон было невозможно. Следовательно, мы могли встретить вооруженное сопротивление, ставившее под сомнение удачное выполнение плана. Во вся-

ком случае предстояло вероятное кровопролитие, которого хотелось избежать.

Другая возможность — захватить государя в Ставке. Но для этого необходимо было либо прямое участие, либо попущительство высшего командования. Но, во-первых, мы не были уверены, что сможем заручиться согласием высшего командования, а, во-вторых, мы не хотели вовлекать в политическую борьбу людей, возглавлявших армию. Наконец, мы боялись, при отсутствии единодушия, вызвать на самом фронте гражданскую войну. Поэтому мы остановились на третьей возможности — захват царского поезда на пути между Петербургом и Ставкой. Изучив маршруты царских поездов, мы выяснили, какие воинские части расположены вдоль пути и остановились на нескольких участках железной дороги, вдоль которых были расположены гвардейские кавалерийские части. Вот среди офицерства этих частей мы и стали производить разведку. Солдат мы совершенно не хотели вводить в дело, а решили сосредоточиться на том, чтобы получить единомышленников среди офицеров. Мы знали, что гвардейские офицеры больше, чем армейские, проникнуты отрицательным отношением к правительству, больше знают о развале государственной власти и болезненнее это чувствуют.

К нашему кружку я привлек еще одного ценного сотрудника, князя Вяземского, с которым я сблизился на фронте, где он состоял уполномоченным отряда Бегового общества и был подчинен мне как особоуполномоченному Красного Креста Западного Фронта. Кн. Вяземский был вдумчивым человеком, с большим благородством души. Уже раньше в наших разговорах о положении России он высказывал мысли о том, что на высших классах общества, пользующихся в России привилегиями, лежит сугубая обязанность спасти ее от того управления, которое ведет ее к гибели. Поэтому именно мы, принадлежащие к высшим классам люди, должны взять на себя выполнение тяжелой задачи по очистке государственного строя от накопившейся в нем гнили. Этого требует от нас не только чувство морального долга перед родиной, но и политические соображения, ибо если мы предоставим поле борьбы массам при дикой расправе их с существующим режимом, потерпевшими прежде всего окажемся мы.

Кн. Вяземский был для нас очень ценным человеком. Во-

первых, он не находился под наблюдением, как мы все, а, во-вторых, имел большие связи в кругах гвардейского офицерства. Ему и поручено было выяснить настроение офицерства запасных частей, стоявших на охране дороги, а также привлечь к нашему заговору каких-либо военных из высшего офицерского состава. Мы высоко не шли: нам нужны были лишь командиры полков, которые бы во время своих отпусков или командировок с фронта понемногу образовали группу заговорщиков. Вяземский вскорее привлек к нашей группе одного ротмистра, а затем он и Терещенко отправились на фронт вербовать заговорщиков в тех гвардейских полках, запасные части которых были расположены между Петербургом и Ставкой на ж.д. путях. Ротмистр, получивший назначение в запасный эскадрон, начал там свою работу.

Они докладывали нам о некоторых достигнутых ими успехах, но, по преимуществу, среди молодого офицерства. В среде же высшего офицерства мы встречали атмосферу сочувствия, но отказ от прямого ответственного участия в деле. С одним из таких видных военных, близким к придворным кругам, Вяземский говорил с полной откровенностью. Этот военный был в отчаянии от всего, что совершалось в стране и на фронте и считал неизбежным развал фронта и падение власти со всеми гибельными последствиями для страны. Когда Вяземский рассказал ему нашу задачу, тот отнесся к этому весьма сочувственно, но наотрез отказался от активного участия в заговоре. Не знаю, действовала ли тут привычная лояльность, связанная с присягой на верность царю, или просто страх ответственности и кары. Тем не менее, работа шла и, если бы не вспыхнула революция, наш план был бы, вероятно, приведен в исполнение.

Весь план был разработан в подробностях. Царский поезд должен был быть захвачен ночью. Мы твердо верили, что нам удастся вынудить государя отречься в пользу наследника. Соответствующие манифесты должны были быть заранее заготовлены. Таким образом, уже утром вся Россия и армия узнали бы о двух актах, исходящих от верховной власти: об отречении государя от престола и о вступлении на престол наследника. Незаконным было бы лишь произведенное нами моральное насилие над государем, формально же закон не нарушался. Кто-то меня

спрашивал о том, что бы мы сделали, если бы государь и в таких условиях отказался отречься. Признаться, мы об этом не думали, ибо крепко верили в то, что предпринятое нами дело осуществится именно так, как мы того хотели. Во всяком случае, мы были далеки от мысли о возможности пролития крови. Поэтому на поставленный мне вопрос, я ответил: "Если бы государь отказался, то нас бы, вероятно, арестовали и повесили". Я настолько был убежден, что дворцовый переворот был единственным средством спасения России и династии, что готов был свою судьбу поставить на карту. Я был монархистом, им остался и умру монархистом. И, должен сказать, что никогда за все время моей политической деятельности у меня не было более твердого сознания, что я совершаю столь необходимый для монархии шаг, как в тот момент, когда я принимал участие в заговоре против императора Николая II.

Претензий на захват власти для себя у нас не было никаких. У нас не было списка кандидатов в министры, и никаких лиц мы не намечали. Я, по крайней мере, не намечал. Мы были убеждены, что если бы новая власть составила из представителей старой бюрократии, то и среди них нашлось бы достаточно морально незапятнанных государственных людей, из которых мог бы быть составлен кабинет, приемлемый для широких общественных кругов. Таковыми лицами были Кривошеин, Сазонов и др. Конечно, Штюмерам, Голицыным и Протопоповым в этом кабинете не было бы места. Я всегда скептически относился к возможности создания в тогдашней России общественного или парламентского кабинета. В русских общественных деятелях, при всем их уме и талантах, я не встречал того гражданского мужества, которое должно быть проявлено властью в столь ответственные моменты. Скорее его можно было встретить у представителей бюрократии. А кроме того, за каждым общественным деятелем тянулся хвост данных им обещаний, личных и партийных связей, и тому подобное.

В полном сознании опасности задуманного нами дворцового переворота, меня подбадривала, однако, мысль о том, что чувство злобы, презрения и гадливости по отношению к верховной власти, все более нараставшее во всех слоях населения, будет начисто смыто и разрушено, когда ее носителем окажется

мальчик, о котором ничего нельзя сказать дурного. Правда, смущало меня несколько то, что регентом будет Михаил, хороший и чистый человек, но безвольный и находившийся под влиянием своей жены. Но все же это было лучше того, с чем приходилось считаться при Николае II.

Я до сих пор глубоко убежден, что если бы нам удалось технически осуществить задуманный нами переворот, Россия избежала бы всех последующих несчастий, выпавших на ее долю.

Мысль о необходимости дворцового переворота для спасения России как от военного разгрома, так и от надвигавшейся стихийной революции, стала в 1916 году чрезвычайно распространенной среди патриотически настроенных и политически умеренных общественных кругов. Так, параллельно с нашим заговором и совершенно независимо от него, в кругах деятелей Земского и Городского Союзов, по-видимому, возник аналогичный план, по поводу которого велись предварительные переговоры с вел. кн. Николаем Николаевичем, о чем свидетельствует рассказ бывшего тифлисского городского головы Хатисова, опубликованный в русской эмигрантской прессе.

Эпизод, рассказанный Хатисовым, заключался в следующем: в декабре 1916 года он отправился из Тифлиса по городским делам в Петербург, а оттуда — в Москву, на съезд деятелей Земского и Городского Союзов. Перед отъездом он виделся в Тифлисе с членом Думы и лидером с.д. партии Чхеидзе, который говорил ему: "Когда вы увидите наших эсдеков, скажите им от меня, что в ближайшее время нет никаких надежд на удачную революцию. Я знаю, что полиция пытается инсценировать революционные вспышки и вызвать рабочих на улицу, чтобы с ними расправиться. Так скажите нашим товарищам, чтобы они остерегались провокации и не допускали уличных беспорядков". Отсюда следует, что за три месяца до революции видные революционеры еще на нее не рассчитывали.

Между тем, на съезде умеренных земских и городских деятелей Хатисов застал крайне возбужденное настроение. Съезд был закрыт по распоряжению администрации и продолжался конспиративно на частных квартирах. Происходил ряд частных совещаний, в которых участвовал и Хатисов. На одном из таких совещаний, в присутствии лишь нескольких посвященных в дело

лиц, князь Львов сообщил Хатисову, что они рассчитывают на дворцовый переворот, который, по их мнению, должен совершить вел. кн. Николай Николаевич. При великом князе предполагается образовать правительство из общественных деятелей. В числе лиц, намеченных в министры, кн. Львов упомянул и себя, упомянул и обо мне (мне тогда этот план, сильно отличавшийся от нашего, не был известен и о своей кандидатуре в министры я, само собой разумеется, не знал). Затем кн. Львов просил Хатисова поставить по приезду в Тифлис в известность об этом великого князя, который жил там в качестве кавказского наместника после его устранения от должности главнокомандующего. Хатисов добросовестно исполнил поручение и передал все, что знал, Николаю Николаевичу. Великий князь внимательно выслушал Хатисова и сказал: "Прошу вас придти ко мне завтра и тогда поговорим, а пока я обдумаю. На следующий день Николай Николаевич принял Хатисова в присутствии своей жены и начальника штаба ген. Янушкевича, прося повторить все, что он ему говорил накануне. Великая княгиня отнеслась к предложению сочувственно, а Янушкевич высказал сомнение в выполнимости дворцового переворота и опасения, что армия и ее вожди могут не поддержать великого князя, и тогда может произойти мятеж на самом фронте.

Этот разговор не имел дальнейших последствий. Только после того, как в Петербурге вспыхнула революция, великий князь спешно вызвал к себе Хатисова и сказал, что теперь он согласен на сделанное ему кн. Львовым предложение, и просил его обещать с другими общественными деятелями и с кем-либо из чинов штаба казармы для того, чтобы сообщить солдатам о петербургских событиях и о том, что великий князь на стороне нового порядка. Таким образом, даже великий князь Николай Николаевич, старший представитель династии, стоя во главе совершенно крепкой кавказской армии, не имел решимости и моральной силы противодействовать революции в самом ее начале.

Февральская революция

В.В. Шульгин в своих воспоминаниях ярко изобразил сцены отречения от престола Николая II и его брата Михаила. Мне к

этому ничего не приходится добавитъ. Одно могу сказать: отречение государя предотвратить было нельзя вследствие его крайней непопулярности не только в крестьянских и рабочих массах, но и в армии.

В самом деле, когда вспыхнул в Петербурге уличный бунт, казалось, что его можно подавить военными мерами, а затем приступить к реформам, в которых ощущалась потребность. Однако, я думаю, что не было никакой возможности подавить этот бунт и этим подавить революцию у самых ее истоков. Конечно, на фронте было еще много вполне лояльных воинских частей, но достаточно было их двинуть в Петербург для подавления революции, как они разлагались и переходили на сторону революционеров. Это было для меня ясно уже тогда, когда мы с Шульгиным приехали в Псков для переговоров с государем об отречении. Я сразу сказал государю, что при таких настроениях в армии ему сохранить престол за собой невозможно. Генерал Рузский меня поддержал, подтвердив, что нет такой воинской части, которая была бы настолько надежна, чтобы ее можно было послать в Петербург для подавления бунта. Необходимость скорейшего отречения Николая II для меня была очевидна потому, что я боялся, что, в противном случае, он будет низложен Советом рабочих и солдатских депутатов, и вопрос о преемственности власти будут тогда решать отдельные воинские части.

В вагоне, в котором происходила беседа об отречении государя, кроме Рузского, Шульгина и меня, находился еще генерал Савич, бывший командир корпуса жандармов. Помню, как меня тогда возмутило его веселое настроение. Он прямо ликовал по поводу происшедшего. У нас было глубокое ощущение трагизма этого момента, а у него: "Ах, слава Богу, кончилось все это". Этот жандарм, ликующий во время отречения своего монарха, является символической фигурой.

О том, насколько прогнил этот слой, который олицетворялся императором Николаем II, я привел уже достаточно материалов в предыдущих главах. Здесь я хочу привести несколько иллюстраций того, как он разлагающе действовал на главную силу, которая была естественной его защитницей — на армию.

В мои студенческие годы казаки считались оплотом самодержавия. Их посылали на усмирение всяких бунтов, они разго-

няли уличные демонстрации и т.п. А в Государственной Думе представители казачества оказались на левых скамьях, среди кадетов и прогрессистов. Это меня поразило. Почему так вышло?

Когда я познакомился с казачьими делами, я убедился, что есть к тому основания. Отношение к казачьим вольностям, к казачьим интересам в Петербурге было своекорыстное. Казачьи области считались местами для кормления людей, делавших карьеру. И вот, плохое управление казачьими областями и пренебрежение казачьими интересами вызвали недовольство и революционное настроение...

Вспоминается мне 1910 год. У власти Столыпин. Как будто все благополучно... Приезжает в Петербург депутация от кубанского казачьего войска представляться государю. Привезли, как полагается, ему подарки. Все люди почтенные, пожилые, атаманы казачьих округов. Приехали с разными местными нуждами, обходили разные министерства, хлопотали. Зашли ко мне, как к представителю комиссии государственной обороны. Я спрашиваю у них: "Были у государя?" "Ах, — говорят, — Александр Иванович, лучше бы и не рассказывать. Сошло так, что хуже и не может быть: вышел к нам государь. Один из нас произнес слово. А государь обошел всех нас, спросил каждого из нас — из какой, мол, станицы, а потом поклонился и ушел".

Приехали эти почтенные люди за две тысячи верст, со своими нуждами и просьбами. Можно было показать им хоть какое-нибудь человеческое участие, а их спрашивают — "Из какой станицы?" и отпускают. Этот бессмысленный вопрос о станицах их особенно возмущил.

— Ну, а у Сухомлинова были?

— Были, — смеются, — это еще хуже вышло. Он спросил тоже каждого из нас, из какой он станицы и сколько в станице жителей. Даже мозгами не пошевелил, чтобы казачьи интересы затронуть и сообщить, что я, мол, такому-то генералу скажу...

В то время я еще пытался строить мосты от старой России к новой, и думаю: так их нельзя отпускать. Ведь их дома спросят: "Как наши вопросы?" Что же они ответят? Ответы этих почтенных атаманов действуют хуже эсеровской агитации. Я решил их послать к Столыпину, а сам предварительно к нему заехал и, объяснив ему создавшееся положение, просил их принять. На

следующий день они были у Столыпина и от него прямо приехали ко мне. "Ну, — говорят, — это совсем другой человек, посадил нас, говорил с нами о разных казачьих нуждах". Словом, Столыпин отнесся к ним по-человечески. После этой беседы один из них говорит мне: "Вот как мы у государя побывали, наши здешние станичники нас к себе на обед пригласили. Ну и чего только там не наслышался... Эх, Александр Иванович, если на них полагаться будут, могут ошибиться".

Эти их "станичники" служили в конвое Его Величества. Эти конвойцы стоят у дверей царских гостинных, делают глупые лица, как будто ничего не видят, а, возвратившись в казармы, распускают языки, начинаются разговоры о царе, царице, о придворных сплетнях, о Распутине... И немудрено, что на второй день революции, еще до отречения государя, когда я зашел в Думу, в комнату президиума образовавшегося Думского Комитета, то слышу — докладывают Родзянко, что явилась депутация из Петергофа. А затем входят 25 казаков конвоя Е.И.В., несколько чинов сводного гвардейского полка, представители дворцовой полиции и чины первого жел. дор. батальона. Докладывают, что уполномочены заявить о преданности этих частей новой власти. Когда они это говорили, я вспомнил свои беседы с казачьими атаманами в 1910 году.

Хорошо запомнился мне также рассказ герцога Лейхтенбергского, с которым я был в дружеских отношениях. Это было в 1915 году, когда на петербургских заводах, особенно на заводах, работавших на оборону, происходили забастовки. Хотя рабочие и выставляли лишь экономические требования, все же чувствовались в организации забастовок какая-то посторонняя рука и политическая агитация. Правительство правильно учло, что в случае необходимости применения военной силы, на Петербургский гарнизон положиться нельзя. Поэтому было вызвано с фронта несколько рот гвардейских полков.

Офицеры этих рот, среди которых герцог имел многих знакомых, приходили к нему взволнованные, со слезами на глазах, и говорили: "Мы знаем, для чего нас сюда вызвали, но мы не сможем дать приказание стрелять в народ". Таково было настроение офицеров лучших гвардейских полков, участников войны. До такой степени они отрицательно относились к старому

государственному строю и, очевидно, они считали, что для революционного движения есть основания. Обо всем этом я вспоминал, когда поставил перед государем вопрос о необходимости его отречения от престола. Я был убежден, что нет больше верных войсковых частей, готовых за него пожертвовать жизнью.

Государь, предупрежденный об этом, очевидно уже принял заранее решение, и когда я начал излагать свои доводы, прервал меня и сказал: "Я об этом думал и решил... — но тут же добавил: — Но я не могу расстаться с сыном и не могу отречься в пользу него. Я решил отречься в пользу брата Михаила". Мы с Шульгиным пробовали возражать, но у нас сложилось впечатление, что наши доводы на него совершенно не действуют и что принятое им решение окончательное.

Это решение мне не нравилось. Мне казалось, что Михаил — фигура не царственная, что ему могли поставить в вину подчинение известным влияниям, отсутствие представительности и царственного блеска. Но я не ожидал, что он откажется принять корону.

Мы предложили государю составленный нами текст отречения, но у него оказался свой заготовленный текст, который он и подписал.

О том, как происходило отречение Михаила, подробно рассказано в печати другими свидетелями этого исторического эпизода. Я хочу добавить еще маленькую анекдотическую подробность. Когда мы с Шульгиным вернулись из Пскова в Петербург, начальник станции передал нам просьбу Родзянки, чтобы прямо с вокзала мы ехали на квартиру великого князя. Между тем я знал, что дома жена моя беспокоится, не зная причины моего долгого отсутствия. Поэтому, когда кончилась беседа с Михаилом и Набоков с Нольде стали составлять текст отречения, я попросил адъютанта великого князя разрешения поговорить по телефону. Только снял трубку, вдруг, вижу, рядом со мной Керенский.

— Вы что? — спрашиваю его. А он мне с заносчивым видом отвечает: "Я хотел знать, с кем вы будете говорить".

У Керенского было подозрение, что я хочу вызвать какую-нибудь воинскую часть, которая силой заставила бы Михаила

остаться на престоле. Я Керенского успокоил, сказав, что буду говорить с женой.

Временное правительство

Я задаю себе вопрос: какие были шансы на благоприятный исход революции? Думаю, что был один главный шанс, отпавший одновременно с появлением Временного правительства: оно осталось без какой-либо санкции сверху из-за отсутствия монарха и преемственности власти. Я понимал это тогда, когда убеждал государя отречься в пользу сына и считал, что с маленьким Алексеем в качестве законного государя, еще можно спасти положение. Он являлся бы не только символом, но и воплощением монархической власти, и нашлось бы немало людей, готовых умереть за маленького царя. А для того, чтобы жертвовать собой за Временное правительство, нужно было обладать широкими взглядами и через группу ординарных людей прозревать государство, отечество, Россию и видеть в них залог ее спасения от грозивших ей бед. У меня были еще надежды спасти положение, когда мы с Милюковым убеждали Михаила Александровича не отказываться от переданного ему братом престола. Милюкову я ставлю в большую заслугу, что в этот момент он сумел отвести в сторону свои политические симпатии и стать исключительно на патриотическую точку зрения.

После отречения Михаила я, как монархист, хотел уйти из Временного правительства, но Милюков убедил меня остаться. Он очень мало надеялся на благополучный исход революции, но все-таки был большим оптимистом, чем я. Объясняется это разницей впечатлений, которые мы получали от наших ведомств. Ему в министерстве иностранных дел приходилось иметь дело с полными радужных надежд дипломатами, а мне — с бунтующими солдатами. Кроме того у него еще были иллюзии и надежды на то, что кадетской партии удастся организовать средний класс интеллигенции и противопоставить его бурлящей народной стихии, тем более, что собрания, устраиваемые его партией, были переполнены и, как ему представлялось, имели огромный успех. Я же с первых шагов своей деятельности в качестве военного министра должен был считаться с возрастающей

в армии анархией и с содействовавшим ей знаменитым приказом No. 1. Если не ошибаюсь, приказ No. 1 обсуждался в комиссии при Совете рабочих и солдатских депутатов в ночь, когда я возвращался из Пскова после отречения государя. Секретарем этой комиссии был большевик Нахамкес-Стеклов.

Так как телеграф, и в частности телеграфное сообщение с фронта, находился в руках Совета, то приказ сейчас же был передан по всем армиям. В первый день по моем возвращении в Петербург я был занят переговорами с великим князем Михаилом и обсуждением конституции новой власти, а потому о существовании приказа узнал лишь на второй день. Я тотчас телеграфировал в ставку об этом самовольном акте Совета р. и с. депутатов и просил принять меры против его распространения. Но в центре правительство было бессильно по отношению к независимо от него возникшему Совету. Нашу внутреннюю политику мы могли строить лишь на попытках соглашения между Временным правительством и Советом р. и с. депутатов. Для разрешения всех серьезных вопросов делегации Совета приходили даже в заседание совета министров, а при отдельных ведомствах был образован Советом ряд контактных комиссий, которые контролировали нашу деятельность. Чтобы парализовать распространение приказа No. 1, мне пришлось созвать контактную комиссию при военно-морском министерстве, чтобы попытаться ее убедить во вреде приказа для боеспособности армии. Я, конечно, мог отменить приказ властью министра, но такая отмена не имела бы никаких практических последствий.

Контактная комиссия состояла из пяти-шести человек, в числе которых помню лишь Нахамкеса-Стеклова. Я пригласил также участвовать в моем совещании молодого генерала Потапова, которого знал еще по бурской и японской войнам и который, как мне было известно, был близок с социалистическими кругами и мог, следовательно, больше меня импонировать членам комиссии.

Открывая созванное мною совещание, я старался убедить присутствующих членов Совета с. и р. депутатов в необходимости отмены приказа No 1. Я утверждал, что, зная хорошо настроение офицерства, могу ручаться за то, что оно не станет орудием какого-либо реакционного переворота. Поэтому приказ No

1, как средство борьбы против возможности контрреволюционных действий войск, просто не нужен; зато, вводя в управление армией выборные солдатами комитеты и требуя для каждого распоряжения командного состава санкции этих комитетов, приказ No 1 приведет к полному разложению армии, которая, перестав быть опасной для внешнего врага, станет опасной для всякой власти, независимо от ее политического направления, и для всего мирного населения. Говорил я убежденно, а потому, по всем вероятностям, и убедительно. По тем замечаниям, какие делали члены комиссии, я видел, что они почти убедились моими доводами и готовы стать на мою точку зрения. Тогда я вышел в соседнюю комнату и просил их обсудить мои возражения, а затем сообщить мне, к какому решению они пришли.

Генерал Потапов, оставшийся в заседании комиссии, передавал мне, что большинство определенно склонялось к отмене приказа в какой-либо форме, которая не была бы конфузна для Совета р. и с. депутатов. Но Стеклов-Нахамкес был непреклонен. Большевикам, поддерживавшим связь с немецким штабом, во что бы то ни стало нужно было разложить русскую армию, лишив ее боеспособности на фронте и создав хаос внутри страны. И понятно, что большевик Нахамкес ни за что не хотел отмены приказа, действовавшего в этом направлении.

В конце концов комиссия приняла компромиссное решение, о котором и поставила меня в известность, когда я вернулся в ее заседание. Они согласились отменить приказ по отношению к частям фронта, но в тылу он должен оставаться в силе. Разумеется, меня такое решение не удовлетворяло, ибо разложение в тыловых частях не могло не отразиться и на состоянии фронта, а кроме того, между фронтом и тылом не было определенной границы. Вместе с тем пойти на такой компромисс, значило признать за Советом р. и с. депутатов право вмешательства в военные дела.

Но, с другой стороны, я понимал, что если я откажусь от предложенного соглашения, Совет не отменит приказа No 1 и положение будет еще хуже. Что было делать? Я вызвал к себе товарища министра генерала Поливанова и предложил ему срочно образовать под его председательством комиссию из членов генерального штаба для рассмотрения предложения Совета

р. и с. депутатов. Я надеялся этим выиграть время и как-нибудь, частным образом, повлиять на руководителей Совета.

Комиссия генерала Поливанова рассмотрела вопрос и единогласно постановила, что нужно согласиться на предлагаемый компромисс, как на меньшее из зол. После этого совет издал приказ No 2, который указывал, что приказ No 1 имеет отношение только к тыловым частям и что такое толкование принято по соглашению с военным министром. Так оно и было в действительности. Хотя я своей подписи под этим приказом не поставил, но согласие на него дал после одобрения его комиссией генерального штаба. Я и до сих пор затрудняюсь сказать, правильно ли я поступил. Конечно, я мог совершенно порвать с Советом р. и с. депутатов, но, во-первых, сомнительно, что нашел бы в таком шаге поддержку среди своих коллег по Временному правительству, а, во вторых, в этот первый период революции, когда Петербургский гарнизон не подчинялся Временному правительству, разрыв с Советом мог бы иметь последствием анархию и гражданскую войну.

Впоследствии я узнал, что идея приказа No 1 была привезена к нам из заграницы. Его принципы обсуждались на Циммервальдском и Кинтальском съездах социалистов-интернационалистов, занимавшихся вопросом о том, как завладеть армиями разных стран и использовать их для разрушения буржуазного строя. Эти съезды находились под воздействием тайных немецких агентов, а потому организовывали свою подрывную работу главным образом среди армий, сражавшихся против Германии, в частности — в армии русской. У меня создалось впечатление даже, что самый текст приказа No 1 был привезен к нам из заграницы и что кто-либо привез его в Россию еще до начала революции. Поэтому он и был опубликован уже на третий день после первой ее вспышки в Петербурге.

Приказом No 1 были введены во всех воинских частях выборные солдатами комитеты. Эти комитеты возникли немедленно, и перед Ставкой и военным министерством встал вопрос не о том, вводить ли в армию это революционное новшество, а о том, в состоянии ли мы их распустить. Все мы хорошо видели, что в этом отношении мы бессильны. Конечно, было бы лучше, если бы комитетов не было. Но раз уж они фактически возникли,

нам оставалось только пытаться, легализуя их, прибрать их к рукам. Так мы и поступили. Ставка выработала положение о комитетах, которое дало им широкие права в хозяйственной жизни армии, но ограничило их вмешательство в служебно-военные распоряжения командного состава.

Конечно, далеко не везде было возможно охранить воинскую дисциплину от вмешательства комитетов, но там, где командный состав пользовался авторитетом, ему удавалось привлекать комитеты на свою сторону и с их помощью останавливать развивавшуюся в армии анархию.

Исключительно умело использовал комитеты командовавший Черноморским флотом адмирал Колчак. Ему удалось провести в состав комитетов своих людей, которые помогали ему удерживать в подчиненном ему флоте воинскую дисциплину в то время, когда Балтийский флот находился уже в состоянии полного разложения.

Временное правительство и Совет рабочих депутатов

В сущности, на разложение армии повлияли не столько приказы № 1 и 2, сколько та агитация, которая велась как в тылу, так и на фронте. Если бы мы были в силах прекратить эту агитацию, можно было бы сравнительно легко парализовать действия приказов. К сожалению, мы этого сделать не могли, так как распоряжение об аресте агитаторов повлекло бы за собой разрыв между Временным правительством и Советом р. и с. депутатов. Я думал тогда, что без такого разрыва мы не обойдемся, но хотел дать бой Совету, когда у нас будут для этого достаточные силы. А в это время силы были на стороне Совета, которому подчинялся весь Петербургский гарнизон и который мог в любой момент ликвидировать Временное правительство.

Для того, чтобы прибрать к рукам Петербургский гарнизон, я вызвал с фронта генерала Корнилова, которого Временное правительство назначило командующим Петербургским военным округом. При первом заседании с генералом Корниловым я объяснил ему, что его главная задача должна состоять в создании военной опоры для Временного правительства. Корнилову были даны неограниченные полномочия в области личных на-

значений на все командные должности в частях Петербургского округа с правом смещать всех непригодных офицеров, начиная с высших должностей, и заменять их по своему усмотрению новыми, приглашая их хотя бы с фронта. Вместе с тем в его распоряжение были отпущены большие кредиты для организации пропаганды порядка и дисциплины в войсках.

Ознакомившись с состоянием гарнизона, Корнилов сказал мне: "Если бы мне были даны задачи создать революционный гарнизон, я поступил бы так, как мои предшественники". Гарнизон состоял из 125 тысяч солдат, живших в полной праздности, ибо учения были прекращены. Жили солдаты в крайней тесноте, на нарах, расположенных в два и три этажа. Состав унтер-офицеров был слабый, надзора за солдатами не было, и большевики свободно вели среди них пропаганду. Офицерский состав был тоже плох: часть офицеров состояла из лиц, эвакуированных с фронта из-за болезни и ранений. По слабости здоровья они не могли как следует работать. Кроме того, эта часть офицеров часто менялась, а потому между ними и солдатами не могло образоваться прочных связей. Другая часть офицеров состояла из молодых и неопытных прапорщиков, к тому же стремившихся скорее попасть на фронт и смотревших на свое пребывание в Петербургском гарнизоне, как на временное. Само собой разумеется, что такой офицерский состав не был в состоянии дисциплинировать разнуздавшихся солдат.

Корнилов энергично принялся за работу. Он поставил себе задачей если не оздоровление всего гарнизона, то хоть создание отдельных надежных частей, на которые Временное правительство могло бы опереться в случае вооруженного столкновения. Но на этом пути он был связан обязательствами Временного правительства о невыводе из Петербурга частей его гарнизона, совершившего государственный переворот. Это обязательство было принято без меня, когда я был в Пскове. Узнав о нем, я тогда же сказал Милюкову, что мы лишены всякой возможности бороться с Советом.

Солдаты Петербургского гарнизона, считавшие себя героями революции, желали пользоваться всеми благами праздной петербургской жизни и отказывались идти на фронт, тем более, что имели на это право, дарованное им Временным правитель-

ством. Вывести, следовательно, из Петербурга какую-либо часть его гарнизона было невозможно, а прибытию новых частей с фронта препятствовал Совет р. и с. депутатов. Поэтому Корнилов занялся чисткой офицерского состава и воспитанием менее разложившихся воинских частей. Таковыми были казачьи части, артиллерия и юнкерские училища. Работа шла медленно и мало-успешно, но все же кое-что ему сделать удалось. Хорошо помню дни 23-24 апреля, когда Ленин произносил зажигательные речи с балкона дома Кшесинской, а по улицам ходили толпы вооруженных солдат и рабочих с криками: "Долой буржуазное правительство, долой Милюкова и Гучкова!"

События принимали грозный характер, но мы с Корниловым выяснили, какими силами мы располагаем, чтобы вовремя дать отпор назревавшему восстанию. Мы пришли к заключению, что в нашем распоряжении имеется всего три с половиной тысячи надежных войск против ста с лишком тысяч остального гарнизона. Так как наши части были дисциплинированы, а прочие находились в состоянии анархии, то хотя мы не могли разгромить остальной революционный гарнизон, но все же были в состоянии защитить Временное правительство в случае попытки его свержения.

Когда уличные манифестации приняли грозный вид, в моем кабинете военного министерства состоялось заседание Временного правительства. Я доложил совершенно спокойным тоном вывод, к которому мы пришли с Корниловым, и заявил, что с нашими тремя с половиной тысячами войск мы не беремся усмирять происходившие в Петербурге волнения, но в случае вооруженного нападения на правительство дадим вооруженный отпор. Министры некоторое время молчали. Наконец, Терещенко заметил, что в случае пролития крови он вынужден будет уйти. Я посмотрел на остальных, и у меня создалось впечатление, что один Милюков готов был защищаться, а все остальные подали бы в отставку. Из них я выделяю еще князя Львова. Он производил на меня впечатление неисправимого непротивленца. Он крепко верил в здравый смысл русского народа и был убежден в том, что стихийные явления и эксцессы революции улягутся сами собой, когда этот здравый смысл возьмет верх и вернет революционный развал в мирное русло нормальной государствен-

ности. Может быть, и у других было такое же мирозерцание, этого я не знаю. Они были бы непрочь, если бы кто-нибудь другой, помимо них, подавил восстание, но брать на себя ответственность и риск ни за что не хотели. Я понял, что если бы дело дошло до вооруженного столкновения они, чтобы покрыть себя, отрелись бы и от Корнилова, и от меня, и от Милюкова...

Эта сцена ошеломила меня. Я увидел, что выраставшие перед нами задачи — необходимость контрреволюции и военных действий — с этим составом Временного правительства неосуществимы...

А между тем, я поставил себе целью во что бы то ни стало ликвидировать Совет р. и с. депутатов. Мне казалось, что если бы нам удалось избавиться от двоевластия и образовать единую, свободную и ответственную лишь перед собою власть, тогда бы, при всей разрухе, охватившей фронт и всю страну, мы имели бы шансы водворить порядок. Но для этого необходимо было пройти через серьезное вооруженное столкновение и произвести кровавую расправу. Позднее мы как-то с Милюковым вспоминали апрельские дни. Он сказал мне: *"В одном я вас только обвиняю, Александр Иванович, в том, что вы тогда не арестовали Временное правительство"*. Конечно, это сделать я мог бы, но не вызвало ли бы это еще большей смуты...

Демонстрации конца апреля все-таки обнаружили, что Временное правительство еще обладает некоторыми средствами самозащиты против покушений на его власть со стороны Совета р. и с. депутатов. Поэтому Совет сделал попытку еще сократить эти средства, обратившись к правительству с требованием, чтобы командующий войсками Петербургского округа был лишен права вызывать воинские части с фронта без санкции Совета р. и с. депутатов. С этой целью Совет намеревался делегировать своих представителей в состав штаба округа с тем, чтобы всякое распоряжение командующего о вызове войск подлежало их контрассигнованию.

Я, конечно, отказался от исполнения такого требования и добился того, что Временное правительство меня в этом поддержало. Но характерно, что сам генерал Корнилов, которому ни в смелости, ни в решительности отказать нельзя, долго меня убеждал согласиться на это нелепое требование Совета, считая,

что он сумеет договориться с советскими делегатами. Это показывает, как плохо разбирались военные в революционных событиях, ища выхода в сторону соглашения и примирения с главарями революции, с которыми необходимо было, не теряя времени, вести решительную борьбу.

Разложение центрального военного аппарата

Войдя в состав Временного правительства в качестве военного министра, я сразу же почувствовал, как аппарат военного управления — центрального военного ведомства и командования на фронте — стал быстро разлагаться. Воля руководящих людей как-то сразу надломилась. Приведу несколько характерных эпизодов.

Передо мной, как военным министром, стояло множество задач технического характера, с которыми, я чувствовал, мне не справиться. Масса времени моего уходила на приемы и на всякие вневедомственные дела (ведь Временное правительство заключало в себе функции управления и законодательства). Поэтому я решил несколько децентрализовать работу военного министерства, назначив трех помощников военного министра и предоставив им разрешать без доклада мне все текущие дела технического характера. На эти должности я назначил трех очень видных и сведущих генералов: Маниковского, Новицкого, и Филатьева, распределив между ними все главные военные управления.

В это время во главе инженерного управления стоял мой старый знакомый, генерал Шварц. Вскоре после назначения мною трех помощников военного министра генерал Шварц приходит ко мне и говорит: "Знаете, А.И., ваши помощники, обсудив положение, пришли к заключению, что судьба таких промежуточных образований, как Временное правительство, непрочна, и что нужно смотреть вперед. Поэтому, предвидя, что придут к власти социалисты, они решили, что им следует записаться в партию социалистов-революционеров." Они, очевидно, этим шагом думали купить доверие Совета р. и с. депутатов и солдатских масс. Такая готовность капитулировать перед Советом даже со стороны высших военных, делавших карьеру при царе,

парализовывала всякую возможность борьбы за укрепление власти Временного правительства.

Вот другой эпизод, происшедший в ведомстве генерала Шварца, в военно-инженерном управлении. Мы с Шварцем установили в нем порядок очередных командировок на фронт военных инженеров, засидевшихся в тыловых учреждениях, взамен тех, которые пробыли долгое время на фронте. В это время в главных управлениях уже действовали комитеты служащих. В военных управлениях еще силен был дух чиновничества, и потому, в первые комитеты были выбраны главным образом начальствующие лица. В комитете инженерного управления заседали преимущественно генералы. Когда Шварц довел до их сведения об установленном нами порядке обмена военных инженеров, этот комитет взбунтовался и пригрозил прекращением работы всего управления. Ведь это не писаря бунтовали, а генералы. Я призвал их к себе и старался убедить в возможности реформы, сказав, что жду от них, как ответственных лиц, не противодействия, а содействия. Говорил мягко и сдержанно, но все же намекнул, что в крайнем случае мне придется прибегнуть к другим мерам. Не знаю, чем кончилась эта история, так как скоро я сам ушел из Временного правительства. Другой эпизод, очень мелкий: однажды по какому-то важному делу нужно было разослать срочный циркуляр. Я набросал его текст вместе с помощником главного управления генерального штаба и попросил его немедленно сдать его в канцелярию для переписки и рассылки. Он ответил, что сделать этого нельзя, так как уже пять часов и установленный шестичасовой рабочий день закончился. Еще писаря в штабе есть, но офицеры все ушли...

Офицеры генерального штаба пользовались революционным временем в своих личных интересах. И это происходило во время войны. Тут был величайший трагизм. Я чувствовал, как все расшатывается, все распадается. Если бы этого не было, Россия дала бы отпор большевикам. А вот что происходило на фронте: в первые дни революции явились ко мне два офицера с Западного фронта и с возмущением рассказывали о том, что только что им пришлось видеть в Минске, где помещался штаб командующего фронтом ген. Эверта.

В Минске шел солдатский митинг в каком-то большом правительственном здании, зал которого был украшен гербом Российской империи. На митинге председательствовал сам Эверт, открывший его речью. Он говорил, что всегда был другом народа и сторонником революции и всячески осуждал царский режим. А когда возбужденная толпа сорвала имперский герб и стала топтать его ногами и рубить шашками, Эверт, на виду у всех, аплодировал этому безобразию.

Те же картины можно было видеть и на других фронтах. Так же вел себя генерал Брусилов в Бердичеве, где его застала смена власти. Он сразу стал говорить солдатам демагогические речи, а когда по улицам города дефилировала большая революционная демонстрация, то командующего фронтом толпа несла на носилках под красным балдахином с развевавшимися вокруг красными флагами. И это происходило в самом начале революции: значительная часть армии еще не разложилась, а на ее верхах уже началось гниение...

Эверт и Брусилов все-таки подчинились Временному правительству, а вот командир Балтийского флота, адмирал Максимов, уже прямо встал на сторону бунтовавших матросов. Мы с адмиралом Кедровым, который стоял во главе морского ведомства, не решались его уволить, ибо опасались, что в таком случае он приведет в Петербург эскадру для борьбы со Временным правительством, и тогда появление ее на Неве, при отсутствии достаточного количества надежных войск, могло бы кончиться так, как это и случилось через полгода при большевистском перевороте. Я припоминаю общий вывод, сделанный генералом Корниловым после всех попыток прибрать к рукам Петербургский гарнизон. Покидая свой пост, он мне говорил, что во всех воинских частях, в которых быстро шло разложение, виноват, главным образом, командный состав, потакавший солдатской анархии. И это было не столько проявлением слабости, сколько революционного карьеризма.

Приведу для характеристики высших военных кругов еще один эпизод. После истории с приказом № 1 я не сомневался, что со стороны Совета р. и. с. депутатов будут предъявляться дальнейшие требования по демократизации армии. Предвидя это, я решил образовать постоянный коллегиальный орган при

военном министерстве для предварительного рассмотрения предложений Совета по военному ведомству. Я надеялся, что такая комиссия, состоящая из военных специалистов, даст мне материал для мотивированного отклонения требования Совета, а кроме того, выигрывал этим время для принятия тех или иных мер противодействия. После того, как комиссия под председательством генерала Поливанова, собранная мною для рассмотрения приказа No. 2, представила мне свое заключение, я ее преобразовал, сделав постоянным органом и расширив ее состав до 40-50 человек. В нее вошли представители начальников главных военных управлений и командующих армиями по их назначению. Все это были генералы и полковники, и заседали они под председательством бывшего министра царских времен генерала Поливанова. Так она и называлась: "Поливановская комиссия". Казалось, что такой состав гарантировал ее от избытка революционных настроений. А на самом деле вышло вот что.

В конце апреля я получил из Совета р. и с. депутатов документ, озаглавленный "Декларация прав солдата", с предложением разослать его в приказе по армии. К нему была приложена резолюция солдатского фронтового съезда, его одоббившего, очевидно, с целью показать мне, что фактически эта "декларация" в армии уже известна. В декларации говорилось о том, что вне службы упраздняется всякое подчинение солдат своим офицерам. Отменялось отдание чести и т.д. Словом, в известных отношениях "Декларация" шла дальше приказа No. 1.

Прочтя этот документ, я, конечно, признал его абсолютно неприемлемым. Вызвал генерала Поливанова и говорю: "Вот вам декларация прав солдата. Прошу не торопиться с ее рассмотрением". О существовании ее мы даже не говорили, настолько мне было ясно, что для комиссии, состоявшей из военных, она будет еще более неприемлемой, чем для меня.

Однако, через короткий промежуток времени приходит ко мне Поливанов и как-то сконфуженно говорит, что под давлением разных общественных кругов пришлось поставить вопрос на обсуждение комиссии, которая одобрила декларацию прав солдата.

Как, — говорю, — одобрила, без поправок?

— Да, без поправок и единогласно.

Я был в полном недоумении от такого оборота дела и решил противиться во что бы то ни стало. Я послал документ на отзыв всем командующим фронтами и почти от всех получил ответ о его недопустимости. Это послужило мне поводом для пересмотра дела в комиссии. Вызываю Поливанова, передаю ему отзывы командующих и говорю: "Если вам не удастся добиться отрицательного голосования в комиссии, добейтесь хотя бы того, чтобы в ней было образовано меньшинство, голосовавшее против, с которым бы я мог согласиться. А то в какое положение вы меня ставите? Я, штатский человек, поставленный революцией во главе военного ведомства, должен охранять воинскую дисциплину, имея против себя военных, слуг старого режима. Как это будет использовано крайними революционерами! Так прошу вас, добейтесь меньшинства. Нужно, чтобы хоть один или два человека имели гражданское мужество".

Через два-три дня Поливанов снова докладывает мне, что декларация опять была принята единогласно...

Я любил Поливанова, находил, что он — очень умный человек и знающий свое дело военный. В свое время он много пользы принес русской армии. Но оказалось, что у него не хватает гражданского мужества и чувства долга. Увидев, что он совершенно непригоден на роль председателя комиссии, я вынужден был сказать ему, что я его устранию от этой должности и заменяю другим лицом. Выбор мой остановился на помощнике военного министра, управляющем главным штабом, генерале Новицком, которого я знал с лучшей стороны, как очень образованного военного специалиста. Призываю его и говорю, что назначаю его председателем комиссии. "А как эта комиссия будет называться?" — спросил он меня.

Как я упоминал выше, она раньше называлась "Поливановской комиссией". Теперь, конечно, она так называться не могла. По-видимому, Новицкому хотелось, чтобы она называлась "комиссией Новицкого". Поливанов своей уступчивостью уже стал популярен в левых кругах. К такой же популярности стремился и Новицкий. Многие военные в это время мечтали стать Бонапартами... Я знал, что Новицкий — либеральный генерал, но тут увидел, что он просто был карьеристом и делал ставку на победу Совета р. и с. депутатов над Временным правительством.

Новицкому я дал те же инструкции, что и Поливанову, но и результат был тот же: через несколько дней он сообщил мне, что комиссия снова единодушно одобрила "Декларацию прав солдата".

Меня это взорвало. Я заявил, что моей подписи на этом документе не будет и решил было уволить Новицкого, но передумал, так как в это время я сам уже решил уходить.

Прошло несколько дней. Сiju я как-то в своем кабинете и подписываю бумаги. Входит мой секретарь Шильдер и докладывает, что пришли члены Совета р. и с. депутатов объясняться со мной по поводу "Декларации". Я всегда был с ними холоден, а этот ночной визит меня возмутил. Говорю Шильдеру: "Передайте им, что я их не приму". Шильдер вышел, но тотчас же вернулся и сказал, что они объявили, что не уйдут и будут сидеть, пока я их не приму. Тогда, окончательно всплывши, я говорю: "Ладно, зовите их".

Вошли двое, один — прапорщик, другой — инженер-механик флота.

— Вот, г. министр, мы пришли к вам справиться — когда, наконец, вы утвердите Декларацию прав солдата.

— Никогда!

— Но позвольте, Декларация три раза проходила через комиссию и одобрена единогласно. Там уже, кажется, сидят компетентные люди. Как же вы не утвердите?

— Я вам заявляю, что я этого документа утверждать не буду. Пусть засохнет моя рука, но она не даст под ним подписи.

— Очень жаль, — заявили они уже в повышенном тоне, — но имейте в виду, г. министр, что в крайнем случае можно обойтись и без вашей подписи. Вспомните историю приказа No. 1, который был подписан одним Чхеидзе. Если вы не подпишете декларации, она попадет на фронт за подписью одних представителей Совета. В результате начнется борьба на фронте между командным составом и солдатскими массами.

— Все равно моей подписи вы не получите, — сказал я твердо.

— Посмотрим, — ответили они вызывающе и ушли...

Через несколько дней я подал в отставку и военным министром стал Керенский, окруживший себя молодыми полковника-

ми генерального штаба, "младотурками", как их называли, делавшими карьеру на революционной демагогии. Они сейчас же доложили ему об этом документе, и Керенский его подписал. Его за это я не могу винить. Его положение было хуже моего, так как он был более связан с революцией. Ему труднее было идти против мнения военных специалистов, потакавших революции из карьерных целей. Соппротивление им было бы для него актом политического самоубийства. Не Керенский возмутил меня, а эти военные старого режима, игравшие с революцией в поддавки из желания выслужиться перед новыми хозяевами...

Моя отставка

С каждым днем я все больше чувствовал свое бессилие в борьбе с возраставшей разрухой. Разруха шла во всей стране, но разложение моего военного ведомства было особенно трагичным. Оно отнимало у нас почву под ногами, и я ясно видел, какое крушение ждет страну и армию. Но что меня особенно тревожило и угнетало — это ощущение своего одиночества в составе Временного правительства. Я чувствовал, что если бы пришлось разойтись с моими коллегами по какому-нибудь серьезному вопросу и вступить с ними в решительный бой, то я мог бы получить поддержку со стороны одного лишь Милюкова. Мог бы, пожалуй, рассчитывать еще на Шингарева, но и то если бы дело не шло о каких-нибудь серьезных репрессиях, санкционировать которые Шингарев не был бы в состоянии.

Вот я и стал думать об уходе от власти. Я просто считал, что центральное правительство в таком составе ничего сделать не может, но что можно еще сделать попытку организовать в борьбе с анархией здоровые элементы страны и армии. Поэтому я ставил себе целью вернуться на фронт в качестве представителя Военно-Промышленного комитета, чтобы подготовить там кадры для похода на Москву и Петербург. Словом, я ставил себе задачу, которую потом так неудачно пытался осуществить ген. Корнилов.

Последним толчком, побудившим меня подать в отставку, явилась отставка Милюкова, единственного человека, который

меня поддерживал в составе Временного правительства, а также обстоятельства, с нею связанные.

Известно, что разногласия между большинством Временного правительства и Милюковым происходили по вопросу о притязаниях России на проливы, дающие выход Черноморскому флоту в Средиземное море. Милюков был в этом вопросе непримирим. Я тоже был сторонником приобретения права на проливы, но считал в тот момент этот вопрос не столь важным, чтобы из-за него давать бой своим коллегам, а потому не поддерживал Милюкова в его твердокаменной позиции. Однако, разногласием с Милюковым из-за проливов воспользовались его противники как вне, так и внутри правительства. В начале мая, когда Милюков и Шингарев поехали по служебным делам в Ставку, кн. Львов неожиданно созвал заседание Временного правительства на своей квартире. На этом заседании Керенский и Терещенко подняли вопрос о проливах и в самых резких выражениях стали нападать на политику Милюкова. Я вступился за него, но кроме меня — никто.

Одни молчали, другие критиковали Милюкова. Особенно резко говорил против него Терещенко. В конце концов пришли к мысли, что нужно с Милюковым расстаться. Все понимали, что так просто выбросить Милюкова нельзя, так как он стоял во главе большой общественной группы, но решили предоставить ему портфель министра народного просвещения, нисколько не стесняясь присутствием Мануйлова, занимавшего этот пост. Сам князь Львов все время молчал, но видно было, что он сочувствовал удалению Милюкова с поста министра иностранных дел. Все, что могло обострить отношения Временного правительства с революционной стихией было не по нем. Он верил, что все в конце концов устроится само собой. Такая мягкотелость кн. Львова раздражала даже левых членов Временного правительства. Так, однажды, во время заседания, на котором он обнаружил свое безволие, Керенский вскочил со своего места и пробормотал сквозь зубы: "Когда же уберут эту старую калошу?"

Как никак, с Милюковым вопрос был покончен. Для меня было ясно, что в министры народного просвещения он не пойдет после столь грубого удаления его с поста министра иностранных

дел во время его отсутствия. Значит, мне приходилось бы одному отстаивать более твердый курс политики.

В том же вечернем заседании велись разговоры об усилении в составе правительства социалистического сектора. И об этом заговорили тогда, когда я пришел к окончательному заключению, что единственный выход из положения заключается в том, чтобы окончательно порвать с социалистами, прекратить политику всякого примиренчества и дать им решительный бой, не стесняясь самими резкими мерами.

Я ясно увидел, что Временное правительство пошло по пути определенной демагогии, и вернувшись домой, написал письмо кн. Львову. В нем я заявлял, что дольше не могу принимать участие в составе Временного правительства, не могу нести ответственности за ту работу по разложению страны, которая усиленно ведется и не встречает с его стороны должного отпора, а потому прошу считать себя уволенным из числа членов Временного правительства и от должности военного министра. А для того, чтобы отрезать всякие попытки уговоров со стороны своих коллег, я, послав ночью свое письмо кн. Львову, копию его одновременно отправил в редакцию "Нового времени", в котором оно и появилось утром. Тем не менее, Терещенко, питавший какие-то надежды на меня, приехал меня убеждать остаться в правительстве, предлагая взять вместо тяжелого для меня военного ведомства, министерство иностранных дел. Я, конечно, отказался. Другое предложение сделал мне Керенский, который искренне хотел направить свой военный авторитет на службу целям войны. Он предложил принять от меня должность военного министра с тем, что я останусь его помощником по технической части. Это тоже меня не устраивало.

После моего ухода из Временного правительства я снова занял прежнюю должность председателя Военно-Промышленного комитета. Это положение давало мне возможность вступить в непосредственные сношения с военным ведомством и с фронтом.

В это время по инициативе А.И. Путилова образовался негласный комитет из представителей банков и страховых обществ. В этот комитет вошел и я. Чтобы официально оправдать наше существование, мы назвали себя обществом экономического воз-

рождения России. На самом же деле мы поставили себе целью собрать крупные средства на поддержку умеренных буржуазных кандидатов при выборах в Учредительное собрание, а также для работы по борьбе с влияниями социалистов на фронте. В конце концов, однако, мы решили собираемые нами крупные средства передать целиком в распоряжение генерала Корнилова для организации вооруженной борьбы против Совета р. и с. депутатов.

Я часто бывал на фронте в ставке Корнилова и видел, какая шла там большая работа. Печатались агитационная литература, рассылались по фронту агитаторы из офицеров и солдат, развозились подарки для солдат от имени командующего, чтобы поднять среди них его популярность и т.д. Я считаю, что корниловское выступление потерпело неудачу главным образом потому, что создался антагонизм между ним и Керенским. При более умелом ведении дела командование в союзе с правительством еще имело некоторые шансы захватить власть и разгромить советы прежде, чем они окончательно подпали под влияние большевиков.

* * *

С первых же дней существования Временного правительства я почувствовал его шаткость. С отречением от престола великого князя Михаила Александровича прекратилась преемственность власти, исчезла санкция, придававшая ей легитимный характер. В то же время под нее снизу не были подведены сколько-нибудь прочные устои. Не было санкции народного избрания, не было законодательных учреждений, опирающихся на народную волю, словом — не было ничего конкретного, на что могла бы опереться власть Временного правительства. Эти вопросы были переданы для разработки в особую комиссию юристов и государствоведов. Представлялось даже сомнительным, возможно ли произвести выборы в Учредительное собрание, когда на фронте еще продолжались военные действия.

Таким образом, Временное правительство оказалось висющим в воздухе. Наверху — пустота. Внизу — бездна. Оно оказалось в положении захватчика власти и самозванца. Единственный выход из такого положения я видел в созыве законодательных учреждений, имевших, как никак, санкции народного избра-

ния. Наиболее правильным я считал созыв Государственной Думы в том составе, в каком застал ее переворот, но я готов был принять некоторые частичные поправки в ее конструкции в виде пополнения ее представителями непредставленных или слабо представленных в ней групп населения. Подобные перелицовки производились тогда в земских и городских самоуправлениях. С моей точки зрения, Временное правительство нуждалось в трибуне, в возможности говорить через законодательные учреждения с широкими слоями общества и с народными массами. Нужно было оно также в критике, которая создавала необходимость объяснять и оправдывать свои действия. В беседах со своими коллегами по Временному правительству я несколько раз поднимал вопрос о созыве Думы, но не нашел среди них ни одного, сочувствовавшего этой идее. Никто из них не ощущал так остро, как я, состояния какой-то заброшенности Временного правительства, его полной изоляции.

А.И. Шингарев, объясняя свое отрицательное отношение к моему предложению восстановить права Государственной Думы, сказал мне: "Вы предлагаете созвать Думу потому, что недостаточно знаете ее состав. Если бы надо было отслужить молебен или панихиду, то для этого ее нужно было бы созвать. Но на законодательную работу она неспособна". Шингарев имел в виду тот состав четвертой Государственной Думы, который образовался в условиях административного давления на выборы, в частности — давления церковных властей. Все же у меня получалось впечатление, что отрицательное отношение к идее созыва законодательных учреждений объяснялось принадлежностью большинства членов Временного правительства к составу партии к.-д., которая была в последней Думе очень слабо представлена. По-видимому, они полагали, что не найдут в этой Думе прочного большинства, в чем, по моему глубокому убеждению, они ошибались. В общественном мнении, да и в самой Гос. Думе, произошли во время революции глубокие сдвиги и те общественные классы, которые были представлены в Думе, возлагали на Временное правительство свои последние надежды на спасение государственной власти и всей страны от полной анархии, грозившей гибелью.

Потерпев неудачу внутри Временного правительства, я стал искать единомышленников вне его в среде лиц, которые могли иметь на него некоторое влияние. Но даже среди членов комитета Гос. Думы я нашел только двух человек, готовых поддержать мою идею: М.В. Родзянко и В.А. Маклакова. Другие либо относились к ней отрицательно, считая, что Дума в силу цензового характера своего избрания дискредитирована в глазах своего народа и не может ему импонировать, либо боялись разделить с Временным правительством ответственность и управление государством. Все же благодаря настояниям М.В. Родзянко и моим удалось добиться созыва совещания депутатов всех четырех Государственных Дум. Для противников созыва Четвертой Думы как определенного государственного установления, такое совещание было приемлемо, ибо, во-первых, в его состав входили первые две Думы с их демократическим характером и революционным прошлым, а во-вторых, оно не угрожало стать постоянным учреждением. При таких условиях Временное правительство сохраняло всю полноту власти. Те впечатления и наблюдения, которые я вынес от соприкосновения с совещанием четырех Дум, меня еще больше укрепили в мысли о необходимости для Временного правительства иметь рядом с собой правильно сконструированные законодательные учреждения. Прохождение через них правительственных законопроектов гарантировало бы до некоторой степени их большую продуманность и обоснованность, а вместе с тем трибуна этого законодательного учреждения давала возможность правительству живыми речами освещать общественное мнение и объяснять свою деятельность. Получалась какая-то связь со страной и возможность на нее опереться. Лучше даже было иметь такое уродливое многолюдное учреждение, как собрание четырех Дум, чем не иметь ничего.

Между тем комиссия, вырабатывавшая положение об Учредительном собрании, торопилась закончить свою работу и вместе с тем шансы созыва Гос. Думы все слабели. В конце концов Временное правительство осознало необходимость подвести под себя общественный фундамент, но уже было поздно. Московское совещание, впрочем не претендовавшее стать постоянным установлением, не внесло успокоения в страну, а петербургский "предпарламент" был разогнан большевиками.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Б. Элькин

ПАМЯТИ А.И. ГУЧКОВА

...Он любил родину страстно, я скажу — физическою любовью. И он физически страдал от мысли, что его родине навязывают свою волю и власть насильники. С ними никакого примирения не допускал. Однако, он был не из забывших, он знал цену и прошлому. Он ненавидел большевиков, но с презрением говорил и о тех, кто довел Россию до революции. За девять часов до его смерти я говорил с ним в присутствии его и моей жены — и не забуду я этого разговора. Не хочется передавать всего. Но отрывочные его, уже с трудом произносимые слова, били всё по тем же — по тем, кто погубил Россию.

За долгие годы близкой дружбы я не десятки, а сотни раз слышал его рассказы и суждения о "них". Он был сторонником сильной власти, посмеиваясь над либералами; чрезвычайно высоко ценя английские учреждения, он считал, что до английской свободы "надо дорасти". Более того, он признавал в известных условиях диктатуру, хотя разочаровался после первых результатов абиссинского опыта в единственной современной диктатуре, ему импонировавшей. Сильная государственность и сильная, непременно сильная власть были краеугольными камнями его политического мировоззрения — заметные следы германских влияний (он учился, после Москвы, в Берлине и Тюбингене). Но, любя сильную государственность, он ненавидел реакцию; любя сильную власть, он ненавидел власть сословную или классовую. Он любил свободу и знал значение ее в жизни и росте народа. Мракобесие и человеко-ненавистничество были ему противны [...]

Гучков признавал, что его ставка не удалась. Была ли она нужна? Не были ли России вообще заказаны мирные пути? На этот вопрос Гучков давал ответ, верный в устах политика. Попытку нужно было сделать, как ни невелики были шансы успеха. А шансы были невелики. В корне была подорвана моральная основа правящего сословия и высших правящих кругов. Они умышленно держали слабого монарха в неведении, скрывая от него действительное положение в стране, не предупреждали его о пропасти, ожидающей его... Шансы обновления России

были невелики. Препятствия были непреодолимы. Чтобы быть точным в изложении мысли Гучкова — почти непреодолимы. Гучков не разделял поэтому концепции В.А. Маклакова в воспоминаниях последнего. Он соглашался с В.А. Маклаковым в том, что в 1905 г. было наделано множество ошибок, но с горечью прибавлял: "Но если бы эти ошибки и не были сделаны, все равно — ничего не удалось бы". Не раз говорил он мне это в наших бесконечных беседах на темы о прошлом, а я всматривался в его глубокие глаза, подернутые дымкой какой-то особенной печали, и думал: "Да, он имеет право говорить это, он сделал пробу"...

Задача жизни не удалась. Трагедия большого человека — трагедия России.



Гучков любил говорить о своем мужицком происхождении (он так и говорил — "мужицком"). Его дед родился крепостным. "Мой прадед выкупил нас. *Они* покупали и продавали нас". Множество раз рассказывал он мне о своем прадеде, старообрядце, за веру сосланном на Север, о своем деде, выкупленном на волю и создавшем большое дело. Всеми корнями уходил он в низовую, крестьянскую Россию и с тоскою, но и с любовью вглядывался он в ее будущее, не теряя веры в нее, в ее возрождение. Россия совпадала для него с ее народными, крестьянскими массами. И этого человека называли "министром-помещиком", "министром-капиталистом", кажется, звали и "врагом народа"...

Он многое понимал не одним умом, но и сердцем. Он, думаю, не был способен отказать в обращенной к нему просьбе. Живя в Париже, я редкий день не говорил с ним. И не было, кажется, такого дня, когда Гучков не был бы занят чужими делами. Воспитанный как-то по старомодному, вежливый, ко всем внимательный и благожелательный. И добрый, любивший и творивший добро.

... В последние недели он сознавал приближение конца и говорил мне, что никогда смерти не боялся, не боится ее и теперь: "Но я не уйду неожиданно, я слежу за ней"... В четверг, 13 февраля 1937 г., я трижды был у него. Я спросил: "А.И., есть ли у вас боли?" Он ответил: "Нет, болей нет, но тоска". Это слово "тоска" было последнее слово Гучкова, которое я слышал. Он задремал, я постоял немного у его постели и вышел. Около 6 часов утра Мария Ильинична позвонила мне по телефону и сказала, что в 5 часов 20 мин. Александр Иванович перестал дышать...

Давным-давно, лет 10-12 назад, Александр Иванович писал мне, что мечтой его с ранних лет было — умереть красиво (филолог-классик, он употребил древнегреческое слово). Он умер мужественно — как жил.

П.Н. Милоков

БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК

Большой русский человек ушел из жизни в лице А.И. Гучкова. Эта оценка была сделана давно. Помнится, так и называлась театральная пьеса г. Колышко, в которой герой был довольно прозрачно загримирован под Гучкова. Пьеса имела успех сенсации. Но — большой человек, и притом политик, а Гучков был одним из немногих настоящих политиков, — на фоне кончающегося старого режима — это была трагедия большого человека, совпадавшая с трагедией России...

С А.И. Гучковым мы были знакомы давно, с дней его студенчества. Может быть, мало сказать, что мы были просто "знакомы". В студенческие годы, за общей работой, знакомство скоро переходит в дружеские отношения. А у нас была общая работа: в семинаре проф. Виноградова сблизился дружеский кружок молодежи, готовящейся к ученому званию. Гучков был в этой среде, хотя его личная работа стояла несколько в стороне от общей. Он работал над гомеровским вопросом. И тут же проявилась его широкая натура. Гомеровский вопрос требовал мелочной работы над германской ученой литературой и Гучков уехал в Берлинский университет. Проф. Легра, попавший в секунданты на студенческую дуэль Гучкова, мог бы рассказать об его времяпровождении в Берлине. А тут подвернулась Бурская война и Гучков пошел всерьез, как все, что он делал, освобождать буров.

Мы встретились с ним вновь, когда и я вернулся в Москву из балканских и американских скитаний — в самый разгар русского революционного движения 1905 года. Здесь в Гучкове заговорило национальное чувство. Он недаром часто говаривал мне, стараясь определить, в чем разница между нами: "Вы сильны наукой и книгами, а я — коренным, стихийным чувством московского купца, которое безошибочно подсказывает мне, что я должен делать".

В данном случае Гучков чувствовал себя обязанным противостоять тому общественному движению, которое, в его глазах, принимало, оче-

видно, слишком космополитический характер. И я помню московскую сенсацию, когда впервые это настроение нашло себе выражение в нашем споре на одном общественном собрании, следует ли давать автономии Польше. Нужна была смелость Гучкова, чтобы в такой среде резко высказаться против. Но этим определялась политическая позиция, на которой стоят перед массами избирателей; нам было труднее, чем Гучкову. Мы оформились в "кадетов". Гучков оказался в октябристах — партия, которую мы имели основание считать правительственной. И Гучкову досталась нелегкая роль: представлять в этой партии, более связанной интересами, нежели идеями, идеализацию русского почвенного элемента. Естественно, что пути наши далеко разошлись и из бывших друзей мы превратились в политических противников.

Не буду напоминать, как просторный челн Октябрьского Манифеста 1905 года превратился, после разгона двух первых Дум, в Третьедумскую "уховертку". Я с интересом смотрел, усидит ли на своей депутатской скамье Гучков, когда большинство Третьей Думы встало со своих мест и вышло из залы в виде протеста против моего первого появления на трибуне после возвращения из Америки. Он не мог же считать, подобно своим черноземным единомышленникам, что в Чикаго я предал Россию. Гучков посидел, помедлил... и вышел вместе с другими.

Потом дошло до того, что по поводу моего резкого выражения по его адресу в одной думской речи он послал мне вызов на дуэль. Единственный раз в жизни я, противник дуэли, этот вызов принял — из уважения к личности Гучкова. Нашим секундантам стоило немалых усилий предотвратить обычный исход, заставив обе стороны пойти на компромиссное решение. Казалось, после этого мы — навеки враги.

Но Гучков играл большую игру. Она начала выясняться, когда с думской трибуны он в яркой и образной речи, ему свойственной, напал на хозяйничанье в государстве великих князей. Его игра еще больше выяснилась, когда он повел свою партию на отказ в военных кредитах, заставив тем правительство с собою считаться. Наконец, его выбор в Председатели Государственной Думы показал, что здесь есть несомненный сговор с правительством Столыпина: несомненный конституционалист шел на сотрудничество с сомнительным под определенными условиями.

Мы, оппозиционеры, понимали, что борьба ведется на этой платформе за общее дело — и от случая к случаю шли вместе. Мы не очень верили, чтобы это правительство можно было победить "конституцион-

ным рублем" графа Бобринского, но охотно поддержали и эту форму борьбы.

В политической карьере большого человека это был кульминационный и, вместе, решающий момент. Его опора оказалась непрочной. Испуганный резкостью постановки и смелостью тона, Столыпин не выдержал. Он поспешил перестраховаться у подлинных националистов, чтобы спасти свое пошатнувшееся положение при дворе. Как известно, это не удалось Столыпину, и Гучков был пожертвован напрасно.

Он остался в одиночестве, ибо и в его собственной среде тип оппортуниста преобладал над типом серьезного политика. Гучкову оставалось признать, что его ставка бита, и он свойственным ему московским жестом бросил недоконченную игру. Из влиятельных Председателей Думы он немного спустя превратился в рядового члена Государственного Совета.

Но борьбы с режимом он на этом не кончил. Напротив, она с этих пор приобретает у него как бы личный характер. Теперь Николай II представляется основным препятствием на пути к осуществлению политического идеала Гучкова. Если в открытой борьбе с ним он потерпел фиаско, то остается путь слабых — тайный заговор. В своей роли парламентария Гучков достаточно сблизился с военной средой, особенно с военной молодежью, чтобы знать, что именно в этой среде он найдет сочувствующих...

Помню наше общее настроение в первые дни февральской революции, когда после полученного Гучковым отречения Николая II нам пришлось считаться с назначением, а потом с отречением Михаила, произвольно нарушившим все наши, ранее обдуманные планы. Был момент после этого отречения, когда оба мы сговорились, как и было условлено с группой Керенского, не участвовать в правительстве победившей партии. Но тотчас наступил другой момент, когда оба мы поняли, что уходить с корабля, открывшего течь, нельзя, и оба остались. Вступив вместе в первое Временное правительство, мы соглашались и выйти вместе, когда ни санкционировать его дальнейший путь, ни изменить его оказалось невозможным.

Но Гучков недаром производил на меня впечатление человека надломленного. Он поспешил уйти без боя, послав вдогонку тяжелое обвинение власти в бессилии, им самим испытанном прежде других. Я ушел побежденным, не порвав, однако, последних нитей солидарности с делом революции. Опять наши пути расходились после короткой встречи.

И я не помню его роли в течение всех восьми месяцев, отделивших победу национальной революции от победы интернациональной. В этой, пусть бесплодной, борьбе с последствиями собственных ошибок новой власти он, как кажется, не участвовал. Не помню его и среди первоначальных усилий начинавшегося белого движения. Личная роль политика тут как бы пропадала; большой человек, видимо, не находил себе места в борьбе, явно обреченной на неудачу. Он выбрал роль представителя белого движения за границей.

В эмиграции нам пришлось встретиться опять на разных и далеких позициях. Но на этот раз пессимизм Гучкова и мой оптимизм как будто поменялись местами. Гучков как бы вернул себе надежду на различные проявления того, что принято объединять под названием активизма. И снова вошли в обращение методы конспирации. Это не мешало, однако, Гучкову отделить себя от наиболее наивных сторонников этого метода. Он чем далее, тем более уяснял себе его слабые стороны. В то же время, внимательно следя за событиями на родине, он все более, казалось, интересовался новыми возможностями, которые открывались по ту сторону границы. Опять началось между нами некоторое сближение. Во всяком случае, здесь Гучков вернул себе всю прежнюю энергию и до последних дней жизни не переставал дергать за все нити, какие могли, по его мнению, повести к желательному исходу. Мне тут приходится употреблять самые общие выражения, ибо проникнуть в существо последней деятельности Гучкова мне не было дано. Я мог лишь наблюдать от времени до времени ее внешнюю сторону. Во всяком случае, я уверен, что серьезный ум Гучкова не мог позволить ему упереться в тупик на каком-либо одностороннем решении. В этом, вероятно, лежит объяснение того, почему он не мог примкнуть ни к одной из партий, близких его воззрениям и вызывал к себе со стороны этих партий более, нежели простое недоверие.

Так он и умер, одинокий, молчаливый, среди чужих и не вполне разгаданный. Сильная воля и ясная мысль остались его уделом в этом духовном одиночестве до самой кончины.

"Последние Новости",

15 февраля 1937 г.

ИЗ ИСТОРИИ БРЕСТСКОГО МИРА

РАЗРЫВ БРЕСТСКОГО МИРА

Подписанный большевиками в марте 1918 г. Брест-Литовский мирный договор никогда не пользовался популярностью даже в самой большевистской партии. Он расколол ее, по существу, на две, породив группу "левых коммунистов", привел к падению, и без того небольшой, популярности ленинского правительства, создал новую базу для критики большевиков со стороны оппозиционных социалистических партий. Причем критика эта была страшна для большевиков тем, что раздавалась с трибуны ВЦИКА, легальными членами которого были многие представители эсеров, меньшевиков и левых эсеров.

Показательной в этом смысле была реакция ВЦИКа на речь Ленина, произнесенную во ВЦИКе 14 мая 1918 г. В целом, речь привела слушателей в замешательство. Стенограмма не отмечает аплодисментов зала. Было общее ощущение, что Ленин ничего не сказал. Он говорил скользко, увертливо о том, что нужно сохранить передышку, и о том, что нужно оттянуть войну, но и о том, что эта война неизбежна, что армия к ней уже готова, что отпор может быть дан в любую минуту, но что сейчас к этому отпору Советы еще не готовы. Так запутав советский актив, он и кончил как-то странно, оставив всех в недоумении. Высту-

пивший после Ленина от левых эсеров Камков на этой растерянности Ленина в первую очередь и остановился:

“...Он не дал нам никакой детальной картины, он не дал нам ответа на самый важный затронутый здесь вопрос... Он не дает ответа, есть ли какая-нибудь реальная, конкретная возможность сохранить не только форму и оболочку Советской власти, но реальное, конкретное содержание того, чем жива Советская власть, и даже, я скажу больше: есть ли возможность сохранить ту политическую передышку, к которой мы сейчас пришли... Говорят: Брестский мир — бумага. Мы это говорили и в Петрограде, и на 4-м съезде, что Брестский мир ничего не гарантирует, и это правильно. Не ясно ли теперь, что эта бумага разорвана?... И сейчас, когда Брестского мира нет, а когда есть лишь одно постепенное удушение революции, как можно говорить о Брестском мире, как можно серьезно ссылаться на телеграмму, полученную от тов. Иоффе, где сказано, что Германия хочет... (аплодисменты не дают возможности дослышать последнее слово фразы)!. ...Наше положение при дальнейшей политике, которую мы ведем, является абсолютно безысходным... Здесь совершается огромная ошибка предыдущим докладчиком. Он не подготовляет условий сопротивления, а создает психологию беспомощности, он поддерживает эту психологию пассивности и выжидания... Но здесь одна реальная возможность, возможность прекращения этого лавирования, этого отступления, которое не значит, конечно, — при данных условиях надо считаться с исторически создавшимся положением, — что мы объявляем войну Германии, войну Австрии, Турции, Болгарии и еще некоторым другим государствам. Нет, мы не объявляем войны, но мы сопротивляемся, мы оказываем сопротивление... И если на нас наступают, мы всякому наступлению, по мере сил и возможности, оказываем сопротивление. ...Сейчас докладчик должен был указать, что восстание, которое называли пустой фразой, легкомыслием, что оно оказалось реальным фактором на Украине. Его серьезно приходится учитывать германскому командованию, и мы знаем ...что оно вынуждено наводнять воен-

1. Вероятно, Камков сказал “мира”.

ными силами Украинну, чтобы сдержать этот законный протест... Есть один путь сопротивления, и на пути сопротивления мы готовы с тов. Лениным следовать до Урала, но на путях сопротивления, а не на путях капитуляции (рукоплескания)... С точки зрения революционного движения и задач социальной революции не существует другой политики, кроме политики борьбы, хотя бы с минимальными шансами на успех, борьбы, в которой нас ждут громадные поражения, но все же не путь лавирования. Это единственный путь, который спасет Советскую Россию, независимо от того, считает или нет руководящая партия его целесообразным... Если есть путь для русской революции, учитывая ее национальное содержание, выйти из создавшегося трагического положения, то, конечно, этот путь к спасению русской революции и начинающегося международного движения лежит не на пути отступления к Учредительному Собранию, а лежит на плечах наступления революции по всему фронту, как международному, так и внутреннему, по отношению к национальной буржуазии... и на этот путь зовет наша партия..."

Эсер Коган-Бернштейн на все это заметил: "...Если бы мы сохранили нашу армию... то не было бы теперь такого положения, которое называют передышкой; смешно говорить о самой передышке, когда ни на одном фронте не прекращается движение германских полчищ...". А выступивший затем меньшевик Мартов, как и Камков, остановился прежде всего на пустоте доклада Ленина:

"Пять дней тому назад... было объявлено, что только по техническим обстоятельствам на 4 дня откладывается заслушивание чрезвычайно важного информационного сообщения... о международном положении. ...И дал ли он (Ленин) отчет о том, что в действительности происходит в Советской Украинской республике и в международном положении?... Дан ли вам ответ об этом? Нет, ответа нет... Вы не созрели, чтобы вам давали отчет, вы созрели только, чтобы слушать в тысячный раз доклад о том, как был прав Ленин два месяца назад, заключая мир. ...Мы авансом не доверяем правительству Ленина... но я предлагаю требовать ...чтобы было ясно сказано, в какой стадии находятся взаимоотношения Советской Республики с Германской Империей. Вчера официальная пресса говорила о том, что передышка

приходит к концу... Мы желаем знать, как намерена Советская власть реагировать на требования германской власти о Мурмане и, прежде всего, в чем заключаются эти требования. Верно ли, что Германия требует права пропустить немецкие войска через русскую территорию на Мурман... ..Германская власть придумала новую теорию, чтобы занять весь Крымский полуостров, захватив по пути в карман наш Черноморский флот. Германская власть разъяснила, что Крым не имеет никакого отношения к Украине, что они продвигаются не на Украине, а на Крымской территории, в интересах самоопределения крымского населения..."

Левый эсер Карелин также подверг критике доклад Ленина: "Если какой-нибудь наблюдатель... вздумал бы составлять свое представление о современном политическом положении по докладу тов. Ленина, то, конечно, все представлялось бы ему в необычайно розовом свете... Мы, современники ...приходим к иным выводам... Положение настает для революции необычайно грозное, и думать, что мы от этих бурь застрахованы "передышкой" ни в коем случае нельзя... Германцы все время продвигаются. Но если бы даже они не продвигались, а сидели на месте, отрезав нас от наших важнейших резервуаров пищи и топлива, все равно голод снес бы Советскую власть... Даже не двигаясь вперед, немцы привели бы к гибели Советскую Республику. Это ясно, и не на "передышку" можно надеяться."²

Такого удара, такого поражения Ленин просто не выдержал. Он отказался от своего ответного слова, на которое имел полное право и покинул заседание ВЦИК. Заключительное слово зачитал вместо него Свердлов. Большинством голосов, что всегда было predetermined, ВЦИК принял большевистскую резолюцию, одобряющую доклад Ленина и текущую политику советской власти.

Если так говорили во ВЦИК, можно представить, что писала оппозиционная и еще не закрытая социалистическая пресса. Меньшевики, например, обвиняли большевиков в измене: "...Страна живет под градом унижительных ультиматумов Гер-

2. Протоколы заседаний ВЦИК 4-го созыва (Москва, 1920), стр. 227, 271-276, 279-282, 285-286.

мании. Ультиматум о военнопленных, ультиматум о Черноморском флоте... Германцы занимают Курскую губернию, вторглись уже в центральную область, германцы направляются к Севастополю, германцы около Петрограда... Что делает Советская власть? Она платит по Брестскому векселю. Она готова на все. Она заявляет в своем ответе Германии, что во всем виноваты батумские "контрреволюционеры" (это отстаивающие свою независимость революционеры преданного Кавказа!); она приказывает, чтобы в Сибири среди военнопленных не делалось никаких агитационных выступлений против германской государственности; она приказывает разоружать на русской территории финскую красную гвардию... И в заключение — граф Мирбах в Москве. ...Советская власть принуждена расплачиваться за право своего существования исполнением всех приказов и желаний германского империализма. К Вильгельмовой кабале на Руси уже прикладывается официальный штамп Советской власти во всех последних ее шагах. И скоро мы не будем знать, какой у нас режим: советский или 'мирбаховский'!?"³

Под этот аккорд протестов проводил Ленин политику сотрудничества с немцами, отважившись даже на обмен послами. 7 апреля на заседании ЦК РКП(б) в Берлин решено было послать А.А. Иоффе, большевика, сторонника перманентной революции и противника Брестского мира. Выбор этот не был случаен. Иоффе считался одним из лучших советских дипломатов и экспертов по Германии, где все еще предстояло готовить революцию. И готовить ее там должен был в первую очередь советский посол.

Ленин, совсем недавно указывавший на силу германской армии, теперь уже подводил советский актив к возможному изменению курса советской внешней политики. В речи на Пятом съезде Советов, проходившем в Москве в первых числах июля, он уделил много внимания *слабости* держав Запада, прежде всего — Германии. Ленин, в частности, сказал:

"Бешеные силы империализма продолжают бороться, находясь уже три месяца, протекающие с предыдущего съезда, на

3. "Новая заря". Еженедельный политический журнал. Орган комитета Центральной области РСДРП (меньшевиков), Москва, 1 мая 1918, No. 2, стр. 3-4.

несколько шагов ближе к пропасти... Наше положение не может быть иное, как дожидаться ...что эти бешенные группы империалистов, сейчас еще сильные, свалятся в эту пропасть, к которой они подходят — это все видят... Эта пропасть за три с половиной месяца... несомненно подошла ближе... Державы Запада сделали громадный шаг вперед к той пропасти, в которую империализм падает тем быстрее, чем идет дальше каждая неделя войны... За три с половиной месяца... войны империалистические государства приблизились к этой пропасти... У нас этот истекающий зверь (Германия — Ю.Ф.) оторвал массу кусков живого организма. Наши враги так быстро приближаются к этой пропасти, что если бы даже им было предоставлено больше трех с половиной месяцев и если бы империалистическая бойня нанесла нам снова такие же потери, погибнут они, а не мы, потому что быстрота, с которой падает их сопротивление, быстро ведет их к пропасти..." (Ленин, Полн. собр. соч., т. 36, стр. 493, 495, 497).

Ленин, таким образом, не только назвал Германию "истекающим кровью зверем", но и откровенно признался в том, что уже не боится гибели Советской республики из-за германского нашествия. А ведь именно эта боязнь была фундаментом ленинской платформы поддержки Брестского мира. Но в этой шизофренической речи Ленина, с многократными повторениями почти одинаковых фраз, проскальзывало чувство растерянности из-за сознания собственной ошибки. Ведь если Германия оказалась на краю гибели через три с половиной месяца после заключения Брестского мира, ведя боевые действия крупного масштаба лишь на одном фронте, получая продовольственную помощь России и Украины и используя Красную армию в борьбе с Чехословацким корпусом, который, если бы не акции большевиков, давно бы уже воевал в Европе против немцев, на каком глубоком дне пропасти лежала бы кайзеровская Германия, вынужденная воевать на два фронта? В каком состоянии находились бы теперь страны Четвертного союза? Где проходила бы граница коммунистических государств?

По одному только ему понятным причинам, никогда не высказанным вслух, уходящим своими корнями, возможно, еще в дореволюцию, весной 1918 г. настаивал Ленин на передышке.

Может быть, делал он это по инерции, тянувшейся с первых дней октябрьского переворота, или же увидел в возможном наступлении Германии угрозу своей личной власти... Может быть, боялся идти на риск столкновения с державами Запада, начинать европейскую революцию, имея в своем тылу оппозиционные социалистические партии. В марте их было несколько: эсеры, анархисты, меньшевики и левые эсеры. К началу июля 1918 г. осталась одна партия — левые эсеры. Прав был Ленин или нет, но в феврале-марте 1918 г., отстаивая первый плацдарм мировой революции, власть своего правительства в России, Ленин пошел на заключение Брестского мира. Волновало ли Ленина отторжение от России огромных территорий? Безусловно, нет. Он смотрел намного дальше, в будущее, за пределы границ, очерченных Брестским договором: "Нам говорят, что Россия раздробится, распадется на отдельные республики, но нам нечего бояться этого... Для нас важно не то, где проходит государственная граница, а то, чтобы сохранить союз между трудящимися всех наций для борьбы с буржуазией каких угодно наций..."⁴

Ленинские цитаты о мировой революции бесконечны: "Русская революция была, в сущности, генеральной репетицией всемирной пролетарской революции..."⁵ "Мы никогда не скрывали, что наша революция только начало, что она придет к победному концу только тогда, когда мы весь свет зажжем таким же огнем революции..."⁶. "Окончательно победить можно только в мировом масштабе и только совместными усилиями всех стран..."⁷ "...Мы никогда не делали иллюзий, что силой пролетариата и революционных масс какой-либо одной страны... международный империализм можно свергнуть; это можно сделать только совместными усилиями пролетариата всех стран. ...Мы не обманывали себя, что добиться этого можно силами одной страны. Мы знали, что наши усилия неизбежно ведут к всемирной революции... Конечно, из теперешней войны империализму всего

4. Ленин, Сочинения, 4-е изд., т. 27, стр. 73.

5. Там же, 2-е изд., т. 24, стр. 121.

6. Там же, т. 25, стр. 49.

7. Ленин, Полн. собр. соч., т. 36, стр. 335.

мира из ряда революций не выйти; иначе, как конечной победой социализма эта война не кончится.”⁸

Как хорошо понимал Ленин все это теоретически! Как парализована была его воля к действиям! Но в мае-июне все ближе толкало Ленина на рельсы мировой революции, все чаще склонялся он к мысли, что либо гибель придет большевистскому правительству России и важнейший плацдарм европейской коммунистической революции будет все равно навсегда потерян, либо, как предлагали еще в марте левые коммунисты, нужно поднимать знамя мировой революции⁹, а если не знамя немедленной революционной войны, так уж по крайней мере лозунг “ни мира, ни войны” Троцкого.

В мае-июне стало очевидным самим большевистским лидерам, что дни их власти в России сочтены. Кроме Москвы и Петрограда у большевиков во всей стране не было опоры. В мае к тому же считался предрешенным и вопрос о падении советской власти в Питере. 22 мая в статье “О голоде (Письмо Питерским рабочим)” Ленин открыто признал, что из-за продовольственных трудностей и охватившего громадные районы страны голода советская власть стоит на грани катастрофы.¹⁰ А за несколько дней до этого, 19 мая, на заседании ЦК РКП(б) члены ЦК обсудили общее положение и решили ускорить эвакуацию Петрограда.¹¹

Заключение и ратификация Брест-Литовского мирного договора не привели к снижению напряженности в германо-советских отношениях и такие чрезвычайные и радикальные меры, как эвакуация Петрограда, продолжались весной и летом 1918 г.,

8. Пятый Созыв ВЦИК, стр. 68, 69, 73.

9. См.: R. G. Wesson, *Soviet Foreign Policy in Perspective*, The Dorsey Press, 1969, p. 30.

10. См. “Правда”, 24 мая 1918, № 101. Письмо написано 22 мая.

11. См.: В.В. Анисеев, Деятельность ЦК РСДРП(б) — РКП(б) в 1917-1918 годах, М., 1974, стр. 278.

“Началась знаменитая бессмысленная эвакуация, подготовка к сдаче красной столицы немцам...” — так писал Луначарский, но о другой эвакуации, начатой Временным правительством. (См.: А. Луначарский, Бывшие люди. Очерк истории партии эсеров, ГИЗ, М., 1922, стр. 30.) К большевистской эвакуации Луначарский те же мерки применить забыл.

так как советское правительство было уверено, что германское наступление на большевиков, в первую очередь на Петроград, состоится. Но опасность угрожала не только Петрограду.

И об этом вполне открыто заявил Радек на Первом Всероссийском съезде Советов Народного Хозяйства: "...Соотношение сил, которое создало Брестский мир, угрожает нам дальнейшими глубокими потрясениями и большими экономическими потерями. ...Можно сказать, что территориальные потери, являющиеся следствием Брестского мира, еще не кончены, что мы в территориальном смысле еще стоим перед периодом тяжелой борьбы..."¹²

Именно это предсмертное состояние советской власти стало причиной все более усиливающейся в рядах большевиков паники. Вацетис вспоминает: "Как это ни странно, но тогда настроение умов было такое, что центр советской России делается театром междоусобной войны и что большевики едва ли удержатся у власти и сделаются жертвой голода и общего недовольства внутри страны. Не исключена была возможность движения на Москву германцев, донских казаков и белочехов. Эта последняя версия была в то время распространена особенно широко..."¹³

О царившей среди большевиков летом 1918 г. панике писал в своих воспоминаниях и Г. Соломон. Он указывал, что примерно в это же время один из ведущих советских дипломатов, находившихся в Берлине, сказал ему: "Мы обречены и должны тянуть до последней возможности... Ведь, конечно, наша попытка окончится провалом, и нас ждет суровая расправа... Мы заварили эту кашу, и нам же следует ее расхлебывать..."¹⁴

4 июня во ВЦИКе Ленин открыто признал, что "перед нами теперь, летом 1918 года, может быть, один из самых трудных, из самых тяжелых и самых критических переходов нашей революции, самый трудный переход не только с точки зрения меж-

12. Труды I Всероссийского Съезда Советов Народного Хозяйства. 26 мая — 4 июня 1918 г. (Стенографический отчет). М. 1918, стр. 15-16.

13. И.И. Вацетис, Июльское восстание в Москве 6 и 7 июля 1918 г. — в сб.: Память, т. 2, Москва, 1977-Париж 1979, стр. 43.

14. Г. Соломон, Среди красных вождей, т. 1, Париж, 1930, стр. 85.

дународной... приходится испытывать величайшие трудности внутри страны... мучительный продовольственный кризис, мучительнейший голод..." Троцкий, выступавший вскоре после Ленина, добавил: "Мы входим в два-три наиболее критических месяца русской революции..."¹⁵

Война внешняя переплеталась с войной гражданской, голодом, сопротивлением оппозиционных партий. Очнувшись от гипноза, навешанного декретом о земле, столкнувшись с жесткостью реальной советской политики по отношению к крестьянству, на борьбу с Советами поднималась деревня. А город голодал. Все устали. Советскую власть теперь ненавидели. Вот что писал 16 июня меньшевик В.О. Левицкий П.Б. Аксельроду: "Начался... отход рабочих от Советов и большевиков. Если бы вы знали, что за атмосфера жгучей ненависти всего населения окружает Советы, и не столько в центрах, сколько в провинции. Эту атмосферу можно только почувствовать, словами ее не передашь. И не о "буржуазии" здесь идет речь. Она, конечно, давно уже настроена вполне определенно. Ненависть бушует среди обывателей, среди мещанства, среди мелкой городской буржуазии, среди доведенного до отчаяния крестьянства и среди рабочих... Наступила пора общей апатии и разочарования: "Ну вас всех, и большевиков, и меньшевиков, к черту со всей вашей политикой". И растет раздражение и против социалистов вообще, против всех партий, "обманувших" ожидания..."¹⁶

В один из тех летних дней, в июне, даже Троцкий, неунывающий и спокойный, проронил холодно: "Мы уже фактически покойники; теперь дело за гробовщиком"¹⁷. И, наверное, в ту же минуту пришло к нему старое, мартовское, но спасительное для большевистского правительства решение: "Сколько бы мы ни мудрили, какую бы тактику ни изобрели, спасти нас в полном смысле слова может только европейская революция..."¹⁸ И это

15. Протоколы заседаний ВЦИК 4-го созыва, стр. 376, 388.

16. Мартов и его близкие. Сборник, Нью-Йорк, 1959, стр. 62-63.

17. Цит. по кн.: Д. Кармайкл, Троцкий (сокр. пер. с англ.), Иерусалим, 1980, стр. 142.

18. Седьмой экстренный съезд РКП(б). Март 1918 года. Стенографический отчет, Москва, 1962, стр. 63.

простое решение самым естественным образом указало и ближайший этап революции, первое, после России, ее звено — раздираемую войной Германию, ту самую, о которой Ленин сказал при обсуждении вопроса о подписании Брест-Литовского мирного договора: *“Если мы верим в то, что германское движение может развиваться немедленно в случае перерыва мирных переговоров, то мы должны пожертвовать собою, ибо германская революция по силе будет гораздо выше нашей...”*¹⁹ Возможно, войну с Германией летом 1918 г. было вести ненамного менее рискованно, чем в марте. Но в июне большевикам уже не из чего было выбирать. Ленинский путь передышки был испробован ими и не привел к ожидаемым результатам. Немцы, прежде поддерживавшие большевиков, вели теперь двойную игру, что было большевикам хорошо известно.²⁰ Об изменении отношения к советскому правительству лучше всего свидетельствуют донесения графа Мирбаха в Берлин. Вот несколько выдержек из этих донесений: *“Особенно сильное смятение царит в умах буржуазных русских кругов, которые совершенно неправильно понимают характер нашей миссии, большинство из них рассматривает нас как своих союзников в борьбе против большевиков и намеренно злоупотребляет этим.”*²¹

По поводу приема, который был оказан мне в Народном Комиссариате Иностранных дел, у меня ни в каком отношении жалоб нет. Чичерин приветствовал меня в весьма сердечном тоне и совершенно явно стремился с первого же дня установить отношения, основанные на взаимном доверии. Подвергать сомнению его искренность у меня нет абсолютно никаких оснований...

19. Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 — февраль 1918 г., Москва, 1958, стр. 172.

20. Ленин знал об изменении отношения к большевикам и лично Мирбаха. 6 июля, сразу же после убийства германского посла, он эту ему припомнил (см. Л. Троцкий, О Ленине. М., [1924], стр. 118).

21. Подчеркнуто Вильгельмом II; его надпись на полях донесения: “Так как они ожидают от немцев освобождения, то это ведь вполне естественно”.

Как я уже сообщал в телеграмме²², наше наступление на Украине — Финляндия стоит на втором плане — уже через два дня после моего прибытия стало первой причиной осложнений. Чичерин выразил это только намеками и скорее в элегической форме, однако достаточно ясно и понятно...

Более сильные личности меньше стеснялись и не пытались скрывать свое неудовольствие: это прежде всего председатель Исполнительного Комитета Свердлов, которому я как раз в этот день вручил свои верительные грамоты. Свердлов — особенно настойчивый и суровый тип пролетария... Вручение моих верительных грамот происходило не только в самой простой, но и в самой холодной обстановке... В своей ответной речи председатель выразил ожидание, что я "сумею устранить препятствия, которые все еще мешают установлению подлинного мира". В этих словах ясно чувствовалось негодование. По окончании официальной церемонии он не предложил мне присесть и не удостоил меня личной беседы".²³

16 мая Мирбах встретился с Лениным, о чем тут же сообщил в Берлин рейхсканцлеру Гертлингу: "Сегодня я имел продолжительную беседу с Лениным об общем положении. Надо сказать, что Ленин твердо верит в свою звезду и продолжает неизменно сохранять свой неисчерпаемый оптимизм. Все же и он признает, что, хотя его система остается непоколебимой, количество нападающих на нее элементов увеличилось и положение "требуется более напряженного внимания, чем еще месяц тому назад".

Свою уверенность он обосновывает прежде всего тем, что правящая партия является единственной партией, опирающейся на организованную власть, в то время как все другие партии сходятся только на отрицании существующей системы. По всем остальным вопросам у этих партий имеются одни лишь разногласия, они разбрасываются и придерживаются самых противо-

22. Телеграмма Мирбаха министерству иностранных дел Германии из Москвы от 24 апреля 1918 г. не опубликована (хранится в Политическом архиве МИД в Бонне).

23. Документы германского посла в Москве Мирбаха, публ. С.М. Драбкиной. — "Вопросы истории", 1971, No 9, стр. 123-124.

речивых взглядов. Кроме того, у них нет таких источников силы, которые могли бы сравниться с силами большевиков...²⁴

Ленин признает также, что его противники принадлежат не только к правым партиям, а в настоящее время появились и в его партии, где образовалось нечто вроде левого крыла. Эта оппозиция в собственном доме упрекает его главным образом в том, что Брест-Литовский договор, который он, как и раньше, намеревается отстаивать с величайшей настойчивостью, был ошибкой: продолжается захват все новых областей, принадлежащих России; мирные договоры с Украиной и Финляндией все еще не заключены; голод не только не удалось побороть, но он еще увеличивается; короче говоря, до мирного положения, которое действительно заслуживало бы этого названия, по-видимому, еще далеко.

К сожалению, он должен признать, что определенные события последнего времени, по-видимому, активизировали выступления его врагов. Поэтому все его стремления и пожелания направлены прежде всего на то, чтобы как можно скорее внести ясность в положение на Севере и Юге²⁵, и в первую очередь мы должны принять меры и употребить свое влияние для заключения мира с Гельсингфорсом и Киевом.

Ленин говорил, отнюдь не жалуясь и без каких-либо упреков. Он избегал также всяких намеков на то, что при дальнейшем затягивании нынешнего положения он мог бы оказаться вынужденным возобновить контакты с другой группировкой держав. Однако, он, по-видимому, *стремился по возможности четко обрисовать все трудности сложившегося положения*".²⁶

Мирбах, однако, еще не осмеливался рекомендовать своему правительству изменить политику в отношении большевиков. Первый шаг в этом направлении сделал советник посольства

24. Пометка Вильгельма II на полях: "А японцы, китайцы, англичане? Все казачье войско против".

25. Пометка Вильгельма II на полях: "Этого скоро добьются казачьи войска! — Он не сумеет выполнить их условия в России, так же как условия Брестского мира! У него нет людей для управления, нет исполнителей — он стоит на краю пропасти".

26. Документы германского посла в Москве Мирбаха, стр. 124.

граф Бассевиц, посетивший Петербург и написавший по этому поводу в Берлин докладную записку. Под влиянием этой записки и изменил, видимо, Мирбах свое отношение к большевистскому правительству. 2 июня он направил Гертлингу донесение, в котором, в частности, говорилось:

“...В общем и целом положение в Петрограде такое же, какое наблюдается за последнее время в Москве.

Принимая во внимание бурный темп развития событий здесь, в стране, в особенности за последнее время, и все возрастающую неустойчивость положения большевиков, мы, по моему мнению, поступили бы безусловно правильно, если бы своевременно, хотя для начала очень осторожно, подготовились бы к перегруппировке сил, которая, возможно, станет необходимой²⁷.

Связь с политическими партиями, которые намереваются перетянуть Россию в лагерь наших противников, разумеется, уже а priori исключается: это, в первую очередь, с головой продавшиеся Антанте эсеры, а также кадеты более старого и строго правого направления.

В то же время другая группа кадетов, преимущественно правой ориентации, известная сейчас под названием “монархистов”, могла бы быть присоединена к тем элементам, которые, возможно, составят ядро будущего нового порядка. Надо все же иметь в виду, что не очень-то можно доверять их организационному таланту, а тем более их боеспособности. Все же если мы уже сейчас постепенно, с должными мерами предосторожности и соответственно замаскированно, начали бы с предоставления этим кругам желательных им денежных средств, — вопрос о поставках оружия, которого они ждут, по ряду причин отпадает, — то тем самым был бы уже установлен какой-то контакт с ними на случай, если они в один прекрасный день заменят нынешний режим. Тем самым мы имели бы в своих руках, если даже опять не на очень долгий срок, — для установления новых германо-русских отношений — элементы, на которые можно было бы более или менее опереться и которые охотно соглаша-

27. Пометка Кюльмана на полях документа: “Согласен, но очень осторожно”.

ются на сотрудничество с нами..."²⁸

В дополнении к этому донесению, 13 июня, Мирбах писал: "Со времени прибытия миссии в Москву очень многие представители разнообразных буржуазных кругов и партий прямо или через посредство других лиц обращались к членам миссии с предложениями и просьбами об установлении контактов или заключении союза с ними в целях свержения большевиков и реставрации власти русской буржуазии ценою пересмотра условий Брестского договора.

Наиболее серьезная из этих попыток зондирования исходила от имени блока, который образовался еще при Временном правительстве и состоит из членов монархистских организаций, помещиков, представителей земства, кадетской партии и в особенности торгово-промышленных кругов. Ныне они, как передают, решились выступить, ориентируясь на Германию. Ведущее лицо этого объединения — бывший министр земледелия Кривошеин, который в настоящее время является директором Морозовских текстильных предприятий. По единодушному мнению, как сообщают из разных источников, он сумел внушить к себе доверие и надежды буржуазных слоев, за исключением крайне правых.

В особенности он пользуется авторитетом в банковских и промышленных кругах. Кривошеин, который, по высказываниям некоторых представителей крайне правых кругов, рассматривается этими последними как в некотором роде отщепенец, в настоящее время, по-видимому, очень близко связан с кадетами и даже поддерживает хорошие отношения с отдельными представителями правых социалистов.

После того, как он через членов партии октябристов осторожно запросил, согласна ли германская миссия установить связи с некоторыми представителями вышеназванной группы, и получил утвердительный ответ, он поручил предпринять дальнейшие шаги двум членам Центрального комитета кадетской партии — барону Нольде, бывшему помощнику министра иностранных дел в кабинете Львова, и Леонтьеву, бывшему помощнику министра внутренних дел в том же кабинете.

28. Документы германского посла в Москве Мирбаха, стр. 125.

Учитывая своеобразие создавшегося положения, мне представляется, что нашей очередной задачей является предотвращение объединения под руководством Антанты противников находящейся в агонии большевистской системы. Следует учесть, что в Сибири, по-видимому, могут одержать победу силы контрреволюции, возглавляемые антантофильскими элементами, опирающимися на чехословацкий корпус. В то же время на Украине, в связи с формированием октябристско-кадетского министерства, к власти пришли слои, которые при первой возможности будут вновь стремиться к созданию небольшевистской Великороссии, если потребуется — против воли оккупационных властей. В случае, если в процессе ведущихся сейчас с уполномоченными Кривошеина переговоров, пока общего характера, возникнут конкретные возможности и предложения, я не замедлю сообщить об этом.²⁹

И, наконец, 25 июня, в личном письме министру иностранных дел Германии Кюльману, Мирбах обобщил свои впечатления о двухмесячном пребывании в Советской России: "... Сего дня, после более чем 2-месячного внимательного наблюдения, я не могу более поставить благоприятного диагноза большевизму: мы, бесспорно, находимся у постели тяжелобольного; и хотя возможны моменты кажущегося улучшения, но в конечном счете он обречен.

Независимо от того, что большевизм вскоре должен сам погибнуть в результате процесса внутреннего разложения, который его разъедает, слишком многочисленные элементы также неумолимо действуют с целью по возможности ускорить этот конец и урегулировать в своих интересах вопрос о преемниках.

При таких обстоятельствах в один прекрасный день может возникнуть нежелательная для нас конъюнктура: эсеры, подкупленные деньгами Антанты и снабженные чехословацким оружием, вернут новую Россию в ряды наших противников. (С военной точки зрения это, разумеется, не очень-то страшно, но в политическом и экономическом отношениях крайне нежелательно).

29. Документы германского посла в Москве Мирбаха, стр. 125-126.

Если согласиться с фактом, что силы большевизма и без того иссякли, то я полагаю, что нам следует позаботиться о том, чтобы сразу же заполнить вакуум, который образуется здесь после ухода большевиков, режимом, соответствующим нашим пожеланиям и интересам. Может быть, даже не обязательно будет сразу же восстанавливать монархию.

Необходимые предпосылки для этого уже имеются; пока эти силы еще частично находятся в скрытом состоянии, но в любое время могут быть использованы для активной деятельности. Многие заинтересованные группы разнообразных направлений оказались бы в нашем распоряжении, в первую очередь монархисты в узком смысле слова, которые заслуживают внимания, но которых нельзя рекомендовать как главную опору для наших возможных комбинаций: уж очень они бестолковые, ненадежные и равнодушные люди и в общем стремятся только к тому, чтобы с нашей помощью восстановить свои старые, обеспеченные условия существования и личные удобства.

Наше основное ядро должно состоять из умеренных правых октябристов и кадетов (по возможности с привлечением даже самых левых элементов). Благодаря этому мы прежде всего сумеем использовать большой процент влиятельных представителей промышленных и финансово-банковских кругов для наших безбрежных экономических интересов.

Этот уже довольно солидный блок можно было бы усилить и подкрепить, если бы удалось завербовать на свою сторону сибиряков. Но это, безусловно, наиболее трудная проблема. Если бы она была разрешена, то перед нами открылись бы еще более широкие перспективы на базе использования природных богатств Сибири. При этом я хочу здесь лишь в самых общих чертах напомнить о новых, почти неограниченных возможностях нашего проникновения в Сибирь и на Дальний Восток.

В случае, если эти новые возможности осуществляются, у нас не будет даже необходимости применять слишком большое насилие: кроме того, мы сможем до последнего момента внешне сохранять видимость лояльных отношений с большевиками. Длительный развал экономики и постоянное тяжелейшее ущемление всех наших интересов могут в любое время и в удобный для нас момент быть использованы как предлог для военного выступле-

ния. Любое крупное наше выступление — при этом вовсе нет необходимости занимать с самого начала обе столицы — сразу же автоматически приведет к падению большевизма; и так же автоматически заранее подготовленные нами и всецело преданные нам новые органы управления займут освободившиеся места.

Совершенно бесплатно, разумеется, мы ничего не получим: какой-то ценой все же придется расплачиваться, если не сразу, то в процессе развития событий. Наши здешние возможные друзья никак не согласятся безоговорочно принять карту России, начертанную в Брест-Литовске. С потерей Польши, Литвы и Курляндии они внутренне уже в достаточной мере примирились; отказ от Лифляндии также не будет слишком трудным, но очень обидна для них ампутация Эстонии из-за потери Ревеля. Следует также признать, что отделение Украины от остальной России является недолговечным, — этот тезис в полном смысле слова стал политической аксиомой. Тот, кто защищает точку зрения, что Украина должна стать нашей навечно, конечно, с трудом примирится с мыслью, что придется вновь согласиться на ее слияние с остальной Россией, а тому, кто рассматривает захват Украины как военное мероприятие, по-видимому, легче будет пересмотреть этот вопрос..."³⁰ Свою двойную игру Мирбах вел так неосторожно, что о ней узнали не только большевики, но и Антанта. Вот что доносил в телеграмме 20 мая 1918 г. американский посол в России Д. Фрэнсис статс-секретарю Р. Лансингу: "Мирбах... с немецкой беспринципностью и нарушая соглашения, постоянно меняет тактику... Он на прошлой неделе нанес свой первый визит Ленину и находился у него в течение часа. Мирбах заявил, что вторжение немцев в Финляндию и на Украину прекращено, и дал еще другие обещания Советскому правительству. В то же время, как мне стало известно из достоверных источников, Мирбах поддерживает связи с кадетами и антикоммунистами и планирует переворот, подобный тому, который произведен на Украине, где с помощью германских войск было поставлено контрреволюционное правительство".³¹

30. Документы германского посла в Москве Мирбаха, стр. 128-129.

31. "Papers relating to the Foreign Relations of the United States". Vol. I: Russia. Washington. 1931, p. 536. Цит. в переводе С.М. Дабкиной. ("Вопросы Истории", 1971, No 9, стр. 121).

В этих условиях не было для большевиков ничего более рискованного, чем пассивное бездействие правительства Ленина, терпящего при себе предсказывающего скорое падение большевистской власти германского посла, уже не делающего, как раньше, ставки на ленинское правительство. У большевиков же, кроме пути передышки, оставалось еще два: "ни мира, ни войны" — путь Троцкого; и революционная война — путь Бухарина. По-прежнему оставаясь противниками бухаринской точки зрения, Ленин и Троцкий предпочли "среднюю" альтернативу: не разрывая с немцами формально Брестского мира, разорвать его по существу. Установить между двумя государствами состояние "ни мира, ни войны" открыто.

Именно в этот момент, 6 июля 1918 г., и произошло убийство германского посла в Москве графа Мирбаха. Казалось, представилась реальная возможность уже 6 июля разорвать Брест-Литовский мир фактически, установив с немцами отношения "ни мира, ни войны". Но Ленин еще выжидал. Менять политику, имея за спиной сильную оппозиционную партию — левых эсеров — он не мог. Было слишком рискованно на глазах у левых эсеров объявлять обанкротившейся старую политику и провозглашать новую. Поэтому 6 июля Ленин в отношениях с немцами был крайней осторожен. В 5 часов 15 минут, вскоре после убийства германского посла, Ленин телеграфировал советскому полпреду в Берлине А.А. Иоффе:

"Сегодня в 2 часа дня двое неизвестных, пробравшись с подложным документом от Чрезвычайной комиссии в германское посольство, бросили бомбу в кабинете графа Мирбаха. Граф Мирбах, тяжело раненный, скончался. Правительство, представители которого немедленно посетили германское посольство и выразили ему свое негодование по поводу этого акта политической провокации, принимает все меры к обнаружению убийц для предания их чрезвычайному революционному трибуналу. Усилены меры для охраны германского посольства и германских граждан. Правительство поручает Вам немедленно посетить германского министра иностранных дел и выразить германскому правительству возмущение русского правительства этим

актом, а равно семью убитого графа Мирбаха для выражения ей своего соболезнования".³²

И только после того, как партия левых эсеров была обвинена в восстании против советской власти и разгромлена, Ленин отказался подчиниться ультиматуму Германии о вводе в Москву для охраны германского посольства батальона немецких солдат и в течение недели свел на нет советско-германские отношения и прекратил влияние германского правительства на ход дел в России. Время боязни войны с Германией прошло. Когда несколько позже, в том же июле, зашла речь о переброске всех советских войск, выставленных по линии германской оккупации, на Восток для борьбы с чехословаками и Ленину указали на опасность, исходящую со стороны Германии, тот ответил: "Немцы не двинутся — им не до того, да они и сами заинтересованы в том, чтобы мы справились с чехословаками".³³

Именно поэтому немцам пришлось довольно быстро забыть об убийстве своего посла в советской России. 28 июня в Москву прибыл новый германский дипломатический представитель — Карл Гельферих.³⁴ Он немедленно вступил в переговоры с советским правительством о заключении новых советско-германских соглашений. 29 июля Ленин в речи во ВЦИК признал, что "Германия ведет теперь переговоры о том, сколько миллиардов взять с России на основании Брестского мира, но она признала все те национализации, которые у нас были проведены декретом 28 июня".³⁵

Преподнес это Ленин так, что на уступку шла Германия, что было неправдой. Просто Россия платила Германии за предложение, которое Чичерин от имени советского правительства сделал Гельфериху 1 августа. Это предложение сводилось к следующему. Германские войска на Юге России прекращают всякие контакты с Красновым и выступают против Алексеева. Поскольку большевики ошибочно считали, что высадившиеся в Мурманске

32. Ленин, Полн. собр. соч. т. 50, стр. 113.

33. Троцкий, О Ленине, стр. 120

34. См.: L. Kochan, *Russia and the Weimar Republic*, Cambridge, 1954, p. 12.

35. Пятый Созыв ВЦИК, стр. 71.

англичане предпримут наступление на Петроград, куда англичанам фактически была открыта дорога (на этом направлении у большевиков почти не было преданных им войск), Чичерин предложил немцам объединиться с финнами для предотвращения продвижения английского десанта. Сами же большевики должны были сосредоточиться на обороне Москвы, причем, по мнению советского правительства, как советские так и германские войска могли и на севере и на юге действовать параллельно.³⁶

Предложение Чичерина было переслано в Берлин, причем сам Гельферих высказался против большевистского проекта и предложил своему правительству прямо противоположный вариант: немедленно перевести посольство в Петроград или даже в занятый немцами Псков и установить контакты с представителями Белого движения. Примерно того же мнения придерживался и военный атташе посольства в Москве майор Шуберт. Наконец, что еще более важно, вопрос о разрыве с большевиками был поднят и в кругах германского верховного командования, причем за этот разрыв очень активно выступал начальник штаба Восточного фронта Германии генерал Гофман.

Однако, в Берлине отнеслись крайне скептически и к идее заключения какого-либо союза с Белым движением. Против соглашения с белыми особенно резко выступал государственный секретарь по иностранным делам адмирал Гинце. К мнению его прислушивались, так как раньше он возглавлял военную миссию в Петрограде и считалось, что он знает Россию. Немцы к тому же понимали, что никакое русское правительство, будь то, например, правительство во главе с Великим князем Павлом Александровичем, не сможет согласиться на отторжение от России Украины, даже если оно согласится на отторжение от России всех остальных территорий, отторгнутых от Российской Империи по Брест-Литовскому мирному договору. Вместе с тем, тот же Гинце считал предложение Чичерина неприемлемым и по политическим, и по военно-практическим соображениям.³⁷ Нуж-

36. См.: Karl Helfferich, *Der Weltkrieg*, v. III, Berlin, 1919, p. 487.

37. См.: Georg von Rauch, *History of Soviet Russia*, Six edition, New York, 1976, p. 98-99.

но было искать какой-то компромисс, позволяющий немцам продолжать войну с Антантой и сохранить в силе условия Брестского мира, но при этом готовить почву для соглашения с другими партиями или организациями.

Пробыв в России всего десять дней, Гельферих 6 августа уехал в Берлин, причем, как писал Иоффе, немецкий дипломат прибыл в Германию "с твердым убеждением, что большевизм падет со дня на день, и с планом убедить не связываться с большевиками и уже готовить другие элементы, с которыми можно работать".³⁸ Причины отъезда Гельфериха в своем докладе на заседании ВЦИК 2 сентября с ехидством изложил Чичерин:

"После убийства графа Мирбаха германское правительство выдвинуло мысль о вводе в Москву батальона германских солдат для охраны германского посольства. После нашего отказа оно ограничилось требованием допущения внутрь посольских зданий внутренней охраны из трехсот немцев без военных мундиров. Оно требовало также эвакуации целого комплекта окружающих посольство домов и занятия последних нашей охраной в количестве 1000 человек. Когда было приступлено к попыткам осуществить эти желания на деле, выяснилось, что эти требования были несоразмерны даже с чисто стратегическими потребностями защиты посольства; пришлось бы при том выселить массу местного населения, и нахождение для него новых жилищ представляло большие трудности."

Здесь, однако, Чичерин преувеличивал. В обезлюдевшей Москве было вовсе нетрудно найти жилища для 1000 человек. Другое дело, что большевики не намерены были уступать немцам в их требованиях и поэтому встречали все германские предложения отказом и ссылкой на принципиальную или практическую невозможность выполнения. Чичерин продолжал: "В это время посольство почти ежедневно сообщало нам о получаемых им угрожающих письмах и сведениях, касающихся якобы предстоящих покушений и готовящихся заговоров против посольства; однажды ночью произошло таинственное нападение

38. Цит. по кн.: Чичерин — дипломат ленинской школы, стр. 94.

39. См. Karl Helfferich, Der Weltkrieg, Vol. III, p. 466-467.

на садовую ограду посольства; по специальной просьбе советника посольства д-ра Рицлера новый германский посланник, д-р Гельферих, в момент приезда в Москву был встречен в Кунцеве и привезен оттуда в автомобиле в посольство, причем д-р Рицлер особенно настаивал на том, чтобы об этом не было известно никому, кроме представителей народного комиссариата. В течение своего 10-ти дневного пребывания в Москве д-р Гельферих сидел почти все время взаперти, пока, наконец, он был вызван спешно в Берлин для участия в коронном совете по Восточно-Европейским делам, после чего все посольство уехало через Петроград во Псков и, наконец, поселилось в Ревеле. Германское правительство официально заявило, что этот переезд вызван исключительно опасностью покушения на посольство, и что оно при этом руководствуется своим желанием избегать всего, могущего повредить отношениям между Германией и Россией".⁴⁰

После отъезда Гельфериха связь с правительством Германии осуществлялась главным образом через советского полпреда в Берлине Иоффе и оставшегося в Москве германского генерального консула Гаушильда. Именно через них большевики начали вести свои августовские переговоры с немцами, ища компромисс на базе Брестского договора и предложений Чичерина от 1 августа. Смягчение ленинской позиции не было случайным. Советские руководители уже перестали видеть угрозу в слабой Германии, дни которой были сочтены. На сцене появлялся другой противник — куда более серьезный — Антанта, усиливавшаяся по мере ослабления Германии и уже начавшая, как казалось советскому правительству, интервенцию в Россию. Ослабление Германии было в интересах большевиков лишь постольку, поскольку это не вело к заключению европейского мира. Советское правительство конечно же было заинтересовано в продолжении войны в Европе, так как именно эта война увеличивала шансы на европейскую и мировую революцию. Мир же, наоборот, грозил открытием совместных военных действий европейских держав против коммунистического правительства России. О том, что заключение европейского мира было не в интересах большевиков, писали впоследствии и советские историки: "Поражение

40. Пятый Созыв ВЦИК, стр. 88-89.

Германии имело и отрицательные последствия для советской России. Оно покончило с разделением капиталистического мира на две воюющие коалиции. Теперь Антанта могла бросить против страны Советов все свои силы".⁴¹

Ленин, конечно же, не мог знать в августе 1918 г., что Антанта сочтет для себя куда более спокойным ни во что не вмешиваться. Переоценивая решимость своих противников уничтожить большевистский строй, Ленин опасался еще и того, что это будет сделано немецкими штыками, что Антанта потребует от Германии свержения советской власти как предварительного условия подписания европейского мира.⁴² В этих условиях любыми средствами нужно было помочь Германии вести мировую войну. И 20 августа Ленин написал свое знаменитое "Письмо к американским рабочим".

В самом факте обращения Ленина к рабочим другой страны не было, с точки зрения большевиков, ничего особенного. Интересно другое. По существу, Ленин призвал американских рабочих оказать помощь "германскому пролетариату", или — не воевать с Германией. Стремление Ленина продлить Первую мировую войну и стремление Германии усовершенствовать Брестский мир привели оба правительства к столу переговоров, закончившихся подписанием 27 августа трех договоров, служащих дополнением к Брест-Литовскому мирному соглашению.⁴³ Ленин-теоретик противился им. Ленин-практик должен был пойти на их заключение. Как указывает фон Раух, договоры "были платой, за которую Германия согласилась не поддерживать Белых".⁴⁴ Германия, с другой стороны, получала золото, на которое она собиралась продолжать мировую войну, оттягивая заключение всеобщего мира и, как по крайней мере казалось

41. Чичерин — дипломат ленинской школы, стр. 100-101.

42. По аналогии с Брест-Литовским договором такое требование Антанты не казалось бы удивительным. Так, в Брест-Литовске немцы потребовали от РСФСР признания законности Украинской Центральной Рады и заключения с нею мирного договора. Фактически немцы потребовали от большевиков отказаться от идеи установления советской власти на Украине.

43. См. Документы внешней политики СССР, т. I, 1959, стр. 437-453, 692-703.

44. G. von Rauch, History of Soviet Russia, p. 99.

большевикам, ослабляя шансы на возможную интервенцию англо-французских сил в Россию, равно как и объединенных германо-франко-английских сил, чего больше всего боялся Ленин. В целом, конечно же, договоры способствовали консолидации власти в руках большевистской партии. И именно поэтому германские дипломаты оценивали их по-разному. Гельферих, например, выступал против этих соглашений и настаивал на полном разрыве с большевиками столь упорно, что в знак протеста против подписания договоров 27 августа 1918 г. подал в отставку. Но большинство германских дипломатов соглашения приветствовали. В советском полпредстве по этому поводу впервые со дня установления дипломатических отношений между Германией и РСФСР состоялся торжественный обед.

Большевики также считали договоры для себя выгодными. Как заявил на заседании ВЦИК 2 сентября 1918 г. Красиков, большевики, подписав соглашения, смогли сохранить "свободу социалистической политики", а с точки зрения финансовой получили от Германии согласие на аннулирование Россией русского государственного долга. Долговые обязательства и платежи, установленные Брестским договором, также были аннулированы. Германия согласилась признать все советские декреты по экономическим вопросам, в том числе и декрет о национализации промышленности от 28 июня 1918 г., хотя на самом деле принципиальное согласие на признание советских экономических декретов было дано Германией уже во время первого раунда советско-германских переговоров о мире в декабре 1917 г. Но об этом большевики теперь старались не напоминать.

Когда встал вопрос о ратификации соглашений, большевистская фракция не была против. А в оппозиции уже никого не было. Фракция левых эсеров из ВЦИК была удалена. Все, что осталось — незначительная фракция максималистов. От их имени против ратификации договоров выступил Архангельский, подвергший резкой критике доклады Чичерина и Красикова. Архангельскому возразили бывший левый эсер Загс (Закс), переназавшийся народным коммунистом, и Каменев. Загс сказал, что пока что договоры нужно ратифицировать, "но наступит момент, когда мы сможем приступить и к действию. ...Ратифицируя временно этот самый тяжелый договор мы, русские революцио-

неры... будем стремиться к созданию таких условий, чтобы ...нас застали совершенно новые условия и чтобы те куски, которые отрывает от нас германский империализм, стали ему поперек горла.”

Каменев об Архангельском сказал, что тот ”временами весьма наивно выражал ту мысль, что социалистическое государство, каким является Советская Россия, может каким-то образом находиться среди империалистических противников и быть в таком положении, чтобы эти империалисты ее не грабили”. ”Надо сказать, — продолжал Каменев, — что весьма наивны те люди, которые полагают, что можно сейчас, в современном капиталистическом мире, создать социалистический оазис, к которому не тянулись бы руки всех империалистов... Но до того момента, пока мы остаемся оазисом, этого положения изменить нельзя... Мы идем в бой только тогда и постольку, поскольку мы действительно уверены, что мы можем победить... Мы подписываем этот договор в надежде, что не замедлит прийти на помощь международный пролетариат и в союзе с ним мы выроем действительную могилу империализму всех стран⁴⁵.”

Учитывая все это, ВЦИК ратифицировал договоры большинством голосов.

На фронте мировой революции надежды возлагались снова на Германию. Ждать, казалось, осталось совсем недолго. Революция в Германии действительно началась скоро — в сентябре. И в конце месяца еще не оправившийся от ранения Ленин почувствовал приближение германского *октября*. Он собрался прервать свой отдых в Горках и хоть ненадолго прибыть в Москву, так как боялся, что без него ЦК ошибется, сделает что-нибудь не так, как нужно. 1 октября Ленин написал Свердлову:

”Дела так ’ускорились’ в Германии, что нельзя отставать и нам... Надо собрать *завтра* соединенное собрание ЦИК, Московского Совета, Райсоветов, Профессиональных союзов и прочая и прочая... Назначьте собрание в среду в 2 ч... мне дайте слово на ¼ часа вступления, я приеду и уеду назад. Завтра утром

45. Пятый Созыв ВЦИК, стр. 104-107.

пришлите за мной машину (а по телефону скажите только: *согласны*)”⁴⁶

Но ЦК согласия на приезд Ленина не дал. 2 октября на заседании Бюро ЦК, а затем и всего ЦК решено было, не приглашая Ленина лично, зачитать его письмо. Вот что сообщал об этом Свердлов в посланной в тот же день Сталину и Ворошилову телеграмме:

”Мы расцениваем события Германии как начало революции. Дальнейшее быстрое развитие событий неизбежно. Завтра соединенное заседание ВЦИК, Совнаркома, Московского Совета, профессиональных заводских комитетов, районных Советов. Огласим правительственное сообщение, подписанное Лениным... Основные мысли таковы: в Германии разразился политический кризис, правительство мечется, не находит опоры в массах. Дело кончится переходом власти руки пролетариата. Тактика большевиков оправдалась. Мы не будем нарушать Брестского мира теперь. Но мы уже ставим вопрос подготовки помощи немецким рабочим их тяжелой борьбе своим и английским империализмом. Должны начать готовить им хлеб, должны сильнее, чем раньше, организовать армию, увеличить численность несколько раз. Возможны попытки соглашения германских и английских империалистов против нас. Мы должны ускорить работу подготовки, удесятить наши усилия. Болгария за ней Турция начали переговоры перемирия Антантой, идущие успешно. Софию отправлены немецкие войска. Под Софией идет борьба между немцами, болгарами. Резолюцию завтрашнего заседания сообщу телеграфно...”⁴⁷.

Ленин нервничал. 3 октября, как казалось, решалась судьба мировой революции. Весь день Ленин просидел у дороги, все ждал, что ЦК передумает, придет за ним машину. Но машины так и не прислали. И беспокоился Ленин не зря — упущено было время. 4 октября к власти в Германии пришло правительство Макса Баденского с участием лидера правого крыла немецких

46. Цит. по кн.: К.Т. Свердлова, Яков Михайлович Свердлов, М., 1976, стр. 377.

47. Цит. по кн.: Я.М. Свердлов, Избранные произведения, т. 3, М., 1960, стр. 28-29.

социал-демократов Шейдемана. В тот же день Берлин заявил о своем согласии подписать со странами Антанты мир на условиях "14 пунктов" президента США Вильсона. Эти события в корне меняли советско-германские отношения. С точки зрения большевиков произошло наихудшее из того, что могло случиться. Больше всех паниковал Ленин. Потому-то он и рвался в Москву, и горевал, что приходится ограничиваться письмом. Но делать было ничего. И Ленин обратился с посланием к советскому активу. Он предлагал в перспективе готовиться к войне с Западной Европой, но пока что... *помогать Германии* и не разрывать Брестского мира. Короче, Ленин предлагал выжидать. Но это уже не отвечало настроению большевистского актива.

Разглагольствования о сохранении Брестского мира ВЦИК посчитал неуместным. Письмо-обращение Ленина было встречено холодно. В протоколе заседания по поводу письма была сделана лаконичная запись: "принять к сведению".⁴⁸ Вслед за этим был заслушан доклад Радека и Троцкого о международном положении. И тот и другой клонили к революционной войне. Радек, в частности, сказал: "Момент неслыханно грандиозный. Прошло 8 месяцев после того, когда первая рабочая революция лежала на земле, имея перед собой сапог германского капитала... этот победитель находится сам на пути Бреста. В этот момент, товарищи, рабочий класс России... должен помнить, что в великие моменты надо быть великим, надо уметь рисковать всем, чтобы достигнуть всего."

Троцкий добавил: "Сейчас, при радикальной перемене, мы так далеки от союза с англо-французским империализмом, как далеки были еще вчера от германского. Мы остаемся независимыми на оба фланга целиком, как самостоятельная сила, как самостоятельный отряд грядущей пролетарской мировой революции... Судьбу народов не определяют только договоры... Мы должны сказать и говорим, что судьбы как народа германского, так и Украины, Польши и Прибалтики, Финляндии не могут оправдать документа, который был написан в известный момент политического развития. Новые силы развиваются внутри самой Германии и за ее пределами, и мы не сомневаемся,

48. Пятый Созыв ВЦИК, стр. 34, 243.

что близок тот час, когда Брест-Литовский договор будет пересмотрен теми силами, которые стремятся к власти. Этой силой в Германии является рабочий класс... Разумеется, мы не возьмем на себя инициативу тех или других азартных авантюристических шагов объявления войны Германии в союзе с Англией и Францией... Завтра германский милитаризм будет еще слабее, а мы завтра будем сильнее... ..Ни от кого мы не скрываем, ни от себя, ни от германского рабочего класса, что мы ждем и приветствуем грядущее шествие к власти германского рабочего класса. ...И не нужно быть пророком и фантастом, чтобы сказать: на другой день после того, как станет ясным, что германский рабочий класс протянул руку к власти, — на улицах Парижа будут воздвигнуты пролетарские баррикады. (Продолжительные овации). История работает с нами и за нас... Мы укрепляемся все больше и больше, а наши враги кровоточат из всех ран, они слабы, и те, которые кажутся всемогущими сегодня, завтра опишут ту же дугу, которую описала Германия... И падение для Франции, Америки и Японии наступит более катастрофическое, чем для Австрии и Германии.

Если будет сделана попытка наступать пролетариатом Германии, то для Советской России основным долгом будет не знать границ в революционной борьбе. Революционная судьба борьбы германского народа будет нашей собственной борьбой. Что Советская Россия чувствует себя только аванпостом европейской и германской пролетарской революции — это для нас всех ясно ...Мы можем сказать с уверенностью, что германский пролетариат со своей техникой, с одной стороны, и наша неорганизованная, но богатейшая естественными богатствами с 200 миллионов жителей Россия — с другой, — это тот могущественный блок, о которой разобьются все волны империализма. Мы все отдаем для общей пролетарской мировой борьбы. Здесь, в этом письме т. Ленина, сказано ясно и отчетливо, чтобы мы стремились создать миллионную армию для защиты Советской Республики. Эта программа узка... Германский пролетариат испытывает голод больше нашего. Пусть он протянет руки к власти, пусть он возьмет в руки власть, он поможет нам наладить железные дороги, а мы из Самарской губ., с Дона, где я видел неистощимые запасы хлеба, возьмем эти богатства хлебные

и поделимся ими по-братски с германским рабочим классом для общей борьбы. Во время борьбы рабочего класса Германии мы будем с ним целиком. Если мы — коммунары, то мы наши коммунистические воззрения разделяем и на рабочий класс Германии. Все, что наше, то его. Наши силы и хлеб — это его силы и хлеб для общей пролетарской революции”.

ВЦИК единогласно принял резолюцию в духе доклада Троцкого, предписав Реввоенсовету Республики, председателем которого был Троцкий, “немедленно разработать расширенную программу формирования Красной армии в соответствии с новыми условиями международных отношений; разработать план создания продовольственного фонда для трудящихся масс Германии и Австро-Венгрии”. Таким образом, там, где Ленин собирался помогать Германии, ВЦИК требовал содействия германской революции, причем о сохранении формального мира с Германией ни слова не говорил. О мире теперь речи не шло. Ленин потерпел поражение.

Но отступать было не в его правилах. Помимо открытого боя с советскими активистами, он решил вести и партизанскую борьбу. По его поручению 11 октября Чичерин дал следующую директиву советскому полпреду в Германии Иоффе: “Мы... во всякий момент готовы идти на то, что обеспечит нам мир, если только условия будут приемлемы. Для всех наших представителей, имеющих возможность встречаться с антантовскими представителями или политиками, связанными с ними, эта задача является одной из важнейших. Не забегая и не производя впечатления, будто мы молим о пощаде, надо в то же время при представляющихся случаях давать понять, что мы ничего так не желаем, как жить в мире со всеми. Их дело сказать нам их условия. Конечно, мы не можем санкционировать замену германской оккупации антантовской. Если нам скажут точно, чего хотят — обсудим”.⁴⁹

Чуть позже Ленин вернулся к исполнению обязанностей. 22 октября на соединенном заседании ВЦИК, Моссовета, фабрич-

49. Пятый Созыв ВЦИК, стр. 245-250.

50. Цит. по кн.: Чичерин — дипломат ленинской школы, стр. 97-98.

но-заводских комитетов и профсоюзов он выступал уже с докладом о международном положении лично, не доверив его ни Троцкому, ни Радеку. И снова красной нитью прошло через его доклад то главное, о чем он думал в те дни и недели — как выбрать между европейской революцией и своим спасением, и выбрать так, чтобы нигде не потерять: "С одной стороны, мы никогда не были так близки к международной пролетарской революции, как теперь, а с другой — мы никогда не были столь в опасном положении, как теперь. Налицо нет уже двух, взаимно друг друга пожирающих и обессиливающих, приблизительно одинаково сильных групп империалистических хищников. Остается одна группа победителей — англо-французских империалистов... Она ставит свою задачей во что бы то ни стало свергнуть Советскую власть России... Я думаю, что широкие массы едва ли сознают ту опасность, которая на нас надвигается".

И Ленин снова заговорил об опасности, о революционной войне, о передышке и о судьбе, постигшей германских оккупантов на Украине:

"Вы знаете, что вспыхнула революция в Болгарии... Теперь приходят с каждым днем известия и о Сербии... Мы знаем, что в восточной Германии образованы военно-революционные комитеты... поэтому с полной определенностью можно говорить, что революция назревает не по дням, а по часам... Большевизм стал мировой теорией и тактикой международного пролетариата... Вот почему, повторяю, никогда мы не были так близки к международной революции, и никогда не было наше положение столь опасным, потому что раньше никогда с большевизмом не считались, как с мировой силой... ...Есть новый враг... этот враг — англо-французский империализм... Три месяца назад смеялись, когда говорили, что в Германии может быть революция... Эта сила, которая ее разрушила, действует и в Америке, и в Англии, она сегодня слаба, но с каждым шагом, который попробуют сделать англо-французы в России, попробуют оккупировать Украину, как это сделали немцы, — с каждым шагом эта сила будет всплывать все больше... В настоящее время, когда все утвердилось, на первом плане вопрос о войне, об укреплении армии... Мы знаем, что у нас есть силы, но мы также знаем, что англо-

французский империализм сильнее нас... Мы говорим: надо усилить армию в 10 раз и более".⁵¹

В духе доклада Ленина и была принята резолюция. Как переоценивал Ленин своих врагов — либералов Запада. Как ошибался! И суетился. И при этом боялся действовать открыто, от своего имени — не хотел себя компрометировать. Через Чичерина было удобней. Так, 24 октября приказал Чичерину направить пространное письмо президенту Вильсону, а 3 ноября — Чичерину же — официально обратиться к правительствам США, Англии, Франции, Японии и Италии с предложением... начать мирные переговоры. Но — не поверили ему. И — поспешил. Днем позже, 4 ноября, в Австро-Венгрии началась революция.

Правда, Радек с первого дня вел подкоп под новое германское правительство, продолжал организовывать революцию в Германии, главным образом через советское полпредство в Берлине. Большевики финансировали более десяти левых социал-демократических газет; получаемая посольством из различных министерств и от германских официальных лиц информация немедленно передавалась немецким радикалам для использования во время выступлений в Рейхстаге, на митингах или в печати. Антивоенная и антиправительственная литература, отпечатанная на немецком языке в РСФСР, рассылалась советским полпредством во все уголки Германии и на фронт. Свой долг Германии — немецкие миллионы, выплаченные на организацию революции в России — Ленин отдавал теми же купюрами — оплачивал коммунистическую революцию в Германии.

Несколько позже, в радиопослании, переданном Иоффе германским Советам 15 декабря 1918 г., Иоффе указал, что советским правительством было потрачено 100 тысяч марок на закупки оружия для немецких коммунистов, а в самой Германии для поддержания революции советским полпредством был основан фонд в 10 миллионов рублей, оставленный на попечение депутата-социалиста Оскара Кохна.⁵²

Германское правительство было осведомлено о деятель-

51. Пятый Созыв ВЦИК, стр. 257, 266.

52. См.: L. Fisher, *The Soviets in the World Affairs. 1917-1929*, v. 1, Princeton, 1951, p. 75-76.

ности советского полпредства. Но поскольку вся агитационная литература посылалась из Москвы в контейнерах с дипломатическими грузами, поймать советских дипломатов с поличным было крайне трудно. В результате германской полиции пришлось прибегнуть к провокации. В контейнер с советским дипгрузом были подброшены антигерманские листовки, которые и были "случайно" обнаружены германской таможней. Воспользовавшись этим, правительство Германии 5 ноября "за нарушение советским правительством в Берлине ст. 2-й Брестского мира, воспрепятствовавшей всякую агитацию или пропаганду против правительства или государственных военных установлений внутри страны", отозвало свое представительство и все свои комиссии из Москвы и выслало за пределы Германии представительство советской России."

В циркулярной телеграмме, разосланной на следующий день за подписями Ленина, Свердлова и Чичерина всем советским и военным организациям, назывались две причины разрыва немцев с советской Россией — участие советских дипломатов в революционном движении Германии и нежелание большевиков наказать убийц графа Мирбаха: "Обвиняя русское представительство в Германии в участии в революционном движении и обвиняя русское правительство в нежелании наказать убийц гр. Мирбаха, Германское правительство потребовало отъезда из Германии в 24 часа всех находящихся в Берлине русских официальных лиц и в недельный срок русских официальных лиц, находящихся в других местах Германии, впредь до получения от русского правительства гарантии в том, что оно прекратит революционную агитацию в Германии и впредь до наказания убийц и инициаторов убийства Мирбаха. Одновременно в такой же срок должны выехать германские официальные лица из России. Хотя нет признаков, заставляющих ожидать военного наступления на нас Германии, следует быть наготове, на случай всяких неожиданных событий с ее стороны."⁵³

Иоффе уехал, что было большим ударом для большевиков, так как революция ожидалась со дня на день, и налаженная со-

53. Harvard University, Houghton Library, Trotsky Archive, bMs Russ. 13, T-71.

ветским полпредом система рушилась вместе с его отбытием. Не оправдались и надежды большевиков на социал-демократов, пришедших к власти 8 ноября. Даже они не восстановили отношений с советской Россией. Иоффе было необходимо вернуться в Германию любыми средствами. И большевики добились его возвращения, используя своих агентов в Берлине: 9 ноября Берлинский Совет, воспользовавшись низвержением кайзера Вильгельма II и эмиграцией его в Голландию, постановил разрешить Иоффе вернуться в Германию и вызвал советского посла в Берлин. Иоффе вернулся. Но через два, 11 ноября, правительство новопровозглашенной Германской республики, возглавляемое лидерами правых социал-демократов Эбертом и Шейдеманом, подписало в Компьене перемирие с Антантой. Это событие не застало врасплох большевиков, уже давно готовых к разрыву Брест-Литовского мирного договора. 13 ноября на заседании ВЦИК, состоявшемся в гостинице "Метрополь", Свердлов от имени советского правительства зачитал постановление ВЦИК о том, "что условия мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта 1918 года, лишлись силы и значения. Брест-Литовский договор... в целом и во всех пунктах объявляется уничтоженным... Брест-Литовский мир насилия и грабежа пал..."

Иоффе снова покинул пределы Германии. А Красная армия повела свое первое наступление на Запад. Революционная война началась.

Ю. Фельштинский.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Смена смене рознь

Нынешняя смена "великого вождя" имеет два знаменательных отличия от предыдущих. Прежде всего, борьба за власть, за место "великого вождя" чрезвычайно ослабела. Смена Ленина Сталиным была необыкновенно жестокой и кровопролитной. Если даже не говорить о всех многомиллионных жертвах воцарения Сталина (и социализма), а только об уничтоженных Сталиным якобы соперниках, то и в этом случае речь пойдет о сотнях, если не тысячах высших сановников революции.

Смена Сталина Хрущевым была значительно менее кровопролитной, но тоже жестокой. Были уничтожены, по-видимому, десятки, если не сотни высших сановников.

Смена Хрущева Брежневым произошла мгновенно. Если не считать появления танков в Кремле и около, то в Москве (я тогда жил в Москве) все было тихо. Все перемещения и расправы произошли позднее.

Смена Брежнева Андроповым сопровождалась борьбой за власть только на страницах западной печати. В действительности, было лишь некоторое ограниченное соперничество, но не борьба за власть. Конечно, придя к власти, Андропов, как и все властители, подбирал свою команду и разными средствами убирал неподходящих людей.

Смена Андропова и Черненко на Горбачева произошла совсем тихо. Можете ли вы себе представить, чтобы на пост "великого вождя" во времена Ленина, Сталина, Хрущева и даже Брежнева мог претендовать такой "зеленый" деятель, как Горбачев? Конечно, нет. Ему бы свернули голову при первой же попытке.

Спрашивается, чем можно объяснить такое мирное восшествие на престол? Отметим, что Хрущев был последним "великим вождем", искренно верившим в социализм. Если Брежнев и его команда сначала хоть чуть-чуть и верили в социализм, их вера в прекрасное будущее социализма очень скоро испарилась полностью. Брежнев в частных разговорах жаловался, что его приказы не выполняются, а он помнит, что Сталину было достаточно лишь глазом моргнуть, как все было сделано. Суть социализма и состоит в полном послушании воле вождя. Какой же это социализм, если даже "великого вождя" не слушают. Так или иначе, какой бы то ни было прогресс социализма при Брежневе не только затормозился, но и появилась тенденция к регрессу, а затем и просто самый регресс: направление развития социализма сменилось с положительного на отрицательное. В 1976 г. СССР стоял по национальному доходу на душу населения на 56 месте среди стран мира. В 1982 году он оказался на 70 месте, позади Ирландии, Венесуэлы, Испании, Греции и даже Пуэрто Рико. Брежнев занимался только тем, что пытался затормозить этот регресс. Главной заботой "великого вождя" стало сохранить власть, обеспеченную ему социализмом — ситуация для "великого вождя" нерадостная.

Старая гвардия Политбюро и верхушки ЦК отдавали себе отчет в ситуации, в том, что у них самих больше нет прежних энергии и задора, да и веры в социализм тоже уже нет. Однако, что-то предпринимать было явно необходимо. Пришлось пригласить энергичных и толковых новичков ("варягов"), имеющих достаточно сильное (может быть, по недостатку опыта) желание попробовать свои силы в качестве "великих вождей", чтобы исправить положение. Можно предположить, что дряхлеющая гвардия решила, что она обладает и без того твердыми привилегиями и властью и стремиться в "великие вожди" нет смысла: привилегий и власти ничуть не больше, а неприятностей, конечно, много больше. *Положение "великого вождя" потеряло прежнюю неотразимую привлекательность.*

Смена Ленина Сталиным шла под лозунгом: вперед к сияющим вершинам социализма. Смена Сталина Хрущевым шла под лозунгом: тиран и террорист Сталин применял неправильные методы строительства социализма; мы должны исправить ошиб-

ки Сталина и на всех парах устремиться вперед, к завершающей социализм стадии, к коммунизму.

Сменивший Хрущева Брежнев использовал вариант того же лозунга: Хрущев применял неправильные методы, он был волюнтаристом. Мы это исправим. Насчет коммунизма уже ни слова. Удовлетворились только зрелым социализмом.

Смена Брежнева Андроповым шла под лозунгом весьма срочного ремонта зрелого социализма. Конечно, официально это называлось — и называется сейчас — не ремонтом, а дальнейшим прогрессом.

Смена Андропова и Черненко на Горбачева проходит под лозунгом не только срочного, но уже капитального ремонта социализма. К этому времени и программа КПСС перестала обещать что-либо в обозримом будущем и, по существу, стала такой же бесперспективной, как и социалистическая жизнь в стране. Чтобы такая "зелень", как Горбачев, могла прийти к власти, многое должно было измениться в стране социализма.

Критика критике рознь

Смена каждого "великого вождя" при социализме вызывает волну критики социалистической жизни. В ней участвуют сам новый "великий вождь", весь аппарат управления страной и — несчастное население. Конечно, население никогда не прекращает слать жалобы и вопли властям предрежащим, но, при смене вождей, эта критика и вопли в какой-то степени прорываются в открытую печать.

Отличие нынешнего периода в жизни социализма от предыдущих проявляется и в содержании критики. В нынешней волне критики, как можно будет убедиться ниже, речь идет не только о том, что кто-то портит социализм, как это было всегда раньше. Речь идет теперь о том, что то социалистическое "изделие", которое получилось в результате 68 лет крошечного ужаса и невероятных страданий миллионов, не годится для употребления. Это "изделие", зрелый (и единственно возможный) социализм, либо требует капитального ремонта, либо замены. (Когда вожди справляются со своими делами и положение вещей более или менее терпимо, они всегда держат свои мотивы и действия в се-

крете: чем меньше знают управляемые, тем легче управлять. Сейчас дела идут из рук вон плохо. Без участия населения в исправлении ситуации не обойтись. Приходится обнажать язвы и болячки и призывать население к ликвидации их).

Следует отметить, что сам по себе социализм, его идеи или система управления в целом в критике, конечно, не фигурируют. Критика еще не получила правильного адреса. Однако, читая нынешнюю советскую прессу, можно прийти к выводу, что ни в одной стране мира не обсуждаются так глубоко, так всеобщее, так откровенно и так конкретно античеловечность и дефекты *именно социализма и социалистической идеи* "не указывая пальцем", "без адреса", как это сейчас делается в советской прессе.

Любопытно, что при этом поведение населения в конкретной жизни внешне никак не изменилось. Люди, конечно, более или менее интересуются происходящим на верхах, но уже давно во всем изверились и не ждут от нового "великого вождя" ничего хорошего. Однако, в другом отношении поведение населения изменилось резко, если сравнивать нынешние времена со сталинскими и хрущевскими: массовое социалистическое послушание населения, которое с такой жестокостью, истребив 67 миллионов самых лучших людей, создал Сталин, практически исчезло. Я не хочу сказать, что оно заменилось на открытое массовое неподчинение. Нет. Но сила власти "поднять массы" на что-либо во имя "прекрасного будущего" явно исчезла. Осталась, еще очень сильная, власть наказать, уничтожить, но и ее даже сравнивать со сталинской невозможно.

Существенно, что процесс освобождения населения от сталинского послушания, всеобщая потеря социалистической дисциплины, затронул в особенности нижние эшелоны аппарата власти. За последние годы ни одно постановление "Партии и Правительства" не было выполнено, а виновных не найти: есть только козлы отпущения (у всех одинаково "рыльце в пушку"). Население сильно распустилось, потеряло "страх Божий" и дает слишком много воли языку. Вот примеры крайне необычных высказываний, прорвавшихся в советскую прессу.

"Частный бизнес *возник* в недрах социалистической системы хозяйствования и только за ее счет может существовать (не наоборот ли: социалистическая система кормится этим частным

бизнесом? — *А.Ф.*)... Про такой бизнес уже не скажешь: пережитки капитализма в сознании. *Это наши собственные нажитки*, сами их нажили, сами и возимся.” (А. Злобин, “Лит. Газета” от 31.7.85 (Курсив здесь и далее мой — *А.Ф.*)

”Признаюсь честно, я пользуюсь услугами левых бизнесменов. И, между прочим, делаю это охотно. *Леваки, как правило, отменные мастера. Они не халтурят. У них в работе брака не бывает. Они работают с душой (!! А.Ф.) И цены у них вполне божеские, по прейскуранту.* Разумеется, я понимаю, с левым бизнесом надо бороться-ради того и заметки свои сел писать” (Там же).

”Сидит журналист и беседует с шабашником. Современный шабашник из студентов. Интонация беседы какая-то смутная. Шабашник спокоен, а вот журналистом владеет странная смесь восхищения (!!А.Ф.), недоумения и желания прочесть нотацию. У шабашника все открыто и ясно, как дважды два: некий сельстрой и межколхозное объединение, вместе взятые, делают, сравнительно с шабашником, в полтора раза меньше. И хуже. Шабашник работает быстрее, лучше и надежнее” (Л. Аннинский, “Лит. Газета”, 17.7.85).

А вот как работают на государство. Пишет Марк Захаров, главный режиссер театра имени Ленинского комсомола (“Лит. Газета”, 31.7.85): “Я однажды наблюдал, как во дворе одной московской парикмахерской новенькая маникюрша получила несколько дружных зуботычин от своих старших коллег. Она обслужила *сглуна* 17 клиенток за смену вместо 12 по плану. Поначалу я очень сочувствовал горько плачущей маникюрше, но потом, после длительного размышления и углубленного анализа, оценил всю несомненную правоту ее старших товарищей.” Нетрудно установить по советской прессе, что тоже самое происходит везде по всей стране.

Тот же Марк Захаров: “Мы можем заработать в силу ряда причин много денег, другие наши коллеги в настоящий момент этого не могут, а те люди, что занимаются верховным творческим планированием, в такие нюансы не вникают (не в силах — *А.Ф.*). Они просто подтягивают и выравнивают все общие нормативы и требования. И возникает временами (временами ли? — *А.Ф.*) странный до абсурда вывод: хорошо работать невыгодно”.

Он же о государственном планировании, душащем творческую инициативу: *"Неправдоподобно большое число руководящих нами лиц, создавая все возрастающее количество внутритеатральных правил, ограничений, разъяснений и установок, почти напрочь лишает театры своего экономического и творческого самосознания, чувства ответственности, свободы маневра, гибкой тактики и стратегии — т.е. качеств, необходимых любому творческому организму в решении выдвинутых партией идеологических и экономических задач"*.

В планирующих организациях, как я сам лично и неоднократно убеждался, сидят нормальные и совершенно незлонамеренные люди, но они — такие же рабы социалистической системы, как и все остальные, разве что, может быть, более привилегированные. И они не могут поступать иначе. Они выполняют свои обязанности, вероятно, так же плохо, как и все население, когда оно работает на государство.

Вот высказывание некоей Черкасовой в *"Лит. Газете"* от 27.11.85: *"Расскажу немного о себе. Окончила строительный институт, работаю в управлении стройтреста, оклад небольшой, семья. Что делать? Пошла на курсы машинной вышивки. Вместе с подружкой после основной (!?! А.Ф.) работы шьем современные вещи на высоком уровне. Иногда, если заказ срочный, шьем до шести утра, потом допинг — крепчайший кофе, и на работу. Это дает мне примерно 100 рублей в неделю (почти месячный заработок на основной работе). Так ведь в каждую вещь я вкладываю душу, делаю, как для себя. Кроме благодарности, ничего слышать не приходилось. Клиенткам радость, нам — средства к существованию. Что же в этом постыдного?"*

С удовольствием занималась бы вышивкой в какой-нибудь государственной фирме. Но что-то не зовут пока. (Едва ли она этого хочет: работать за гроши. Она лишь хочет показать, что она якобы не враг социализма — А.Ф.). А у нас уже организовался спаянный коллектив (имею в виду еще несколько подруг). Клиента и со вкусом оденут, и модно подстригут, примут в ремонт обувь, сделают лечебный массаж, примут заказ достать билет на любой вид транспорта (законным путем, предварительно, без всякого блата). И не нужно ходить по изнуряющим человека (государственным — А.Ф.) службам сферы услуг. *Все достает-*

ся без испорченного настроения и испорченной вещи. Кому от этого хорошо, я думаю, ясно. А кому плохо? Людям? Но ведь благо отдельных членов общества является в сумме общественным благом. Государству? Но разве оно не заинтересовано в том, чтобы его граждане могли с меньшей затратой сил удовлетворить свои законные потребности? Да и много ли это — 400 рублей заработка за такой напряженный, добросовестный, честный труд. И последнее — чтобы не было недо-молвок: все мы на своей основной работе среди самых передовых работников. Жалоб нет..."

Вы чувствуете? Эта Черкасова имеет ум подстать зрелому государственному деятелю. Конечно, она не сказала и даже не думала сказать этих слов: *долой социализм!* Но они в этой речи незримо присутствуют. 15-20 лет тому назад такая ясность ума в вопросах социализма у Черкасовых и вообще у рядовых людей еще не существовала. Сейчас Черкасовых стало много. А много ли людей на Западе понимают то, что поняла Черкасова: *"но ведь благо отдельных членов общества и является в сумме общественным благом"*? Для миллионов социалистов на Западе это ересь. Они считают, что существует что-то, что называется общественным благом, и что оно существует независимо, отдельно и даже, как правило, *вопреки* благу самих членов общества. Черкасова — гигант мысли по сравнению с десятками профессор-марксистов на Западе, сотнями парламентариев и политических деятелей-социалистов, жующих все ту же марксистско-социалистическую жвачку. На примере Черкасовой нетрудно видеть, каким колоссальным и неиспользуемым творческим, созидательным потенциалом обладает население в стране. Потенциалом, который социализм принципиально не может использовать. В то же время, сила этого созидательного потенциала прорывает социалистическое окостенение и разрушает социалистические правила и преграды. Вы заметили, что Черкасова действует не как одиночка? Она сумела организовать большой и чрезвычайно эффективный в своей работе коллектив. Для социализма это должно быть страшнее любого диссидентства. Это активная перестройка дряхлеющей системы социализма в нечто совсем другое явочным порядком. Черкасова уже частично освободилась от социалистического рабства: средства ее су-

ществования в значительной степени уже не зависят от государства. Она обрела не только кусок экономической свободы, но и свободу мысли и духа и это, пожалуй, еще важнее.

Нетрудно видеть на примере той же Черкасовой, что колоссальная разница в трудовой отдаче при работе на себя и на государство проистекает не из каких-то злых интересов. Это есть следствие полного несоответствия социализма нормальной человеческой сущности. Когда трудящийся заявляет: "Ты здесь хозяин, а не гость. Тащи отсюда каждый гвоздь" (А. Злобин, *"Лит. Газета"* 31.7.85.), то это не пропаганда воровства государственного имущества. Это — протест против неэффективности использования этого самого гвоздя в социалистическом хозяйстве. "Гвоздь" у государства не приносит пользы никому. Тот же "гвоздь" в руках самого трудящегося приносит 100% пользы обществу в лице этого частника-трудящегося.

Вот высказывание некоей Ирины Снеговской из Ростова на Дону (*"Неделя"* от 18-24. 11.85). "Вы поверите, я готова идти в кафе мыть посуду — я думаю, что со временем я смогу там *продвинуться* и сделать из кафе то, о чем мечтаю. *Но неужели всем на все наплевать? Каждый хочет получать зарплату, не задумываясь, а соответствует ли ей мера затрачиваемого труда?* (Если бы эта мера могла быть найдена, что возможно только для самых примитивных физических работ, все в мире резко бы изменилось. Исчезли бы и "классовая" борьба, и несправедливость, и так называемая эксплуатация и многие другие беды человечества — А.Ф.)

У нас неважно с общепитом. Но тот же плохой повар полчаса стоит на остановке, ждет автобус, которого все нет и нет. Потому что этот автобус водит плохой шофер, который простаивает часами или лихо проезжает мимо остановок в пустой машине. А плохой шофер идет в магазин, где висит никому не нужная одежда, сшитая горе-швейником, и не может купить самого необходимого. А горе-швейник никак не решит проблему, где же ему поесть в обеденный перерыв, потому что плохой повар готовит несъедобные блюда. И круг замкнулся. Ну как же мы не поймем, что от того, как мы работаем, зависит то, как мы живем! (Она еще не совсем поняла, что в данном случае дело не в людях, а в полном отсутствии социального баланса при социализ-

ме — А.Ф.)

Я очень хочу сломать плохую традицию (не удастся: это есть свойство социализма, а не традиция — А.Ф.). Я очень хочу найти применение своей фантазии, своему умению. Но натыкаюсь на глухую стену равнодушия. И как пробить ее — не знаю. Мне 29 лет, муж — монтажник, есть дочка. Эти сведения сообщаю, чтобы письмо не получилось безликим”.

Как видите, социализм даже самопожертвование не способен принять и использовать. Думаю, что Снеговская понимает или, по крайней мере, чувствует, что эта ”глухая стена” есть именно социализм, система государственной собственности. Как частник-предприниматель, она, безусловно, давно бы создала свое чудесное кафе и служила бы обществу наилучшим образом. Как превосходна ее формулировка: плохо работая, люди сами себе коллективно портят жизнь. Повар — шоферу, шофер — повару, швейник — шоферу, шофер — швейнику и т.д. Легко убедиться, что трудящиеся Запада, скажем Англии, в результате не отсутствия, как в СССР, а значительной потери социального баланса, раздувают ”классовую” борьбу до небес и просто совсем не понимают ситуации. По сравнению со Снеговской они еще дети-несмышлениши.

”Благородная” программа

Спрашивается теперь, что хочет сделать Горбачев, сосредоточив такую колоссальную власть в своих руках?

1. Ликвидировать коррупцию и бюрократизм.
2. Наладить трудовую дисциплину снизу доверху.
3. Омолодить и активизировать аппарат управления страной снизу доверху.
4. Усовершенствовать систему государственного планирования, чтобы вкладываемые средства приносили результат, а не рассеивались по ветру. Считать каждую копейку.
5. Осуществить строгий режим экономии во всем. Ремонтировать и сапоги и предприятия, вместо того, чтобы строить новые.
6. Резко и повсеместно улучшить качество и услуг и продукции, а также улучшить жизнь.

7. Использовать для подъема хозяйства мировые достижения науки и техники.

8. Так усовершенствовать *социалистическую* систему управления, чтобы все страна жила и работала, как гигантский, превосходно организованный организм, как дружное коллективное целое.

9. Для этого усилить и развить идеологическую работу по превращению эгоистического человека в совершенное социалистическое существо. Заменить эгоизм разумным пониманием общности людей в коллективе.

Нет никакого сомнения, что такая программа удовлетворила бы самого придирчивого критика. Однако, мы же это все знаем и слышали от Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и Андропова. Это и есть суть идей социализма, который насчитывает теперь несколько столетий и имеет очень длинную "бороду". Горбачев не сказал ничего нового. Конечно, он молод, энергичен, умен, но что из того? Дело не в вожде, а в системе социализма. На безличное, неумелое государство люди работают плохо везде, по всему миру. Та же изумительная Черкасова на своей основной работе никаких подвигов не совершает и не может совершить, как бы она этого ни хотела. Но будучи предоставлена самой себе, она совершает чудеса. В свое свободное время, работая "налево", она служит обществу наиболее эффективным образом, создавая для него материальные и, я не боюсь сказать, духовные ценности тоже.

Вот что пишет о воздействии ручного труда на людей Георгий Кулагин: "Исходя из собственного жизненного опыта, осмелюсь утверждать: ничто так не способствует выработке *точности* и дисциплины мышления, как ручной труд. В нем истинность мысли, управляющей действиями руки, немедленно подтверждается или опровергается самым очевидным и наглядным образом. Здесь нет места для приблизительности, блужданий ума, спекуляций. Критерии просты: вышло — не вышло, хорошо — плохо, красиво — некрасиво" ("*Лит. Газета*", 27.11.85).

Лично я полагаю, что такими свойствами обладает любой творческий, созидательный труд, т.е. труд, приводящий к появлению на свет добротного стула, вкусного хлеба, красивого и удобного дома, толковой статьи, научной гипотезы или теории,

наконец, просто полезного совета, правильно прописанного лекарства и выздоровевшего пациента. Люди такого труда, как правило, уважают и ценят и свой, и труд других людей. Они не будут вандалами или снобами. Они знают, что законы природы нельзя обмануть. Они учатся правде, они, как правило, становятся порядочными людьми, ответственными за свои поступки. Отсюда недалеко до следующей ступени, когда они начинают трезво оценивать свой труд и свой разум в сравнении со всей бесконечной грандиозностью Вселенной (Бога) и ее бесконечной сложностью. Само существование для таких людей приобретает смысл и становится одухотворенным.

Черкасовы именно в их внеурочной ("левой") деятельности больше всего имеют возможность почувствовать те высокие духовные ценности, без которых ни коллектив Черкасовой, ни его слаженный, эффективный труд были бы невозможны. Для социализма все это-ересь. Не Бог, а человек есть наивысшее начало. Природа и Вселенная только и ждут их полного подчинения человеку, точнее, человечеству в целом. Поэтому личная, независимая творческая деятельность отдельного человека, если она не вписывается во всеобщую систему коллективной, государственно-целесообразной, планируемой деятельности, является, безусловно, вредной. Она разрушает эту систему.

"Благородная" программа Горбачева требует от него способности и умения направить труд 270 миллионного населения не на собственное выживание, а на выполнение задач социалистического общества в целом. Для своей же пользы (сформулированной Горбачевым), 270 миллионов должны превратиться в винтики огромной социалистической машины. Люди, все разные, все непредсказуемые, все со своими уникальными обстоятельствами жизни, этой горбачевской задаче совершенно не соответствуют. Задача эта невыполнима, как бы это не было теоретически полезно.

Фундаментальные несоответствия социализма человеческой природе

В чем главные причины невозможности выполнения задачи социализма?

1. В любой стране всё создается и производится трудящими-

ся, т.е. инженерами, учеными, рабочими, артистами и т.п. Вся духовная и материальная культура создается ими. Вожди, номенклатуры, правительства, партии, профсоюзы сами по себе ничего не производят. С неба тоже ничто не валится. Однако, ни один трудящийся не будет просить себе *поменьше* зарплаты и *побольше* работы и оставлять без внимания плохие условия труда. Если он не святой (как мать Тереза в Калькутте), он будет действовать в точности наоборот. Если его требования не сопровождаются повышением производительности труда и не встречают оппозиции, это ведет к росту цен-инфляции, к росту безработицы из-за разорения предпринимателей при капитализме и к дефициту и низкому качеству товаров и услуг при социализме. *Снеговская сказала совершенно правильно: чем хуже трудящиеся работают, тем хуже они сами и живут.*

В частнособственническом обществе в условиях свободного и конкурентного рынка действуют многие миллионы предпринимателей-собственников с личным, эгоистическим интересом выжать из трудящихся побольше и получше труда за меньшую зарплату в не очень шикарных условиях. В противоположность менеджерам, управляющим государственными предприятиями или западными корпорациями, которые управляют не своим собственным имуществом и тратят не свои собственные деньги, *предприниматели управляют* своим собственным имуществом и тратят свои собственные деньги. У них только два выбора (*если они не монополисты*): или банкротство или сопротивление разрушительным желаниям трудящихся. Поскольку их, как и трудящихся, миллионы, то они и могут уравновесить требования трудящихся, создав необходимое для общества производительное равновесие.

Существование этих двух мощнейших сил в человеческом обществе и их производительное социальное равновесие являются необходимыми условиями создания общего как материального, так и духовного процветания любой страны. При социализме одна из этих мощных сил полностью отсутствует: нет этих миллионов собственников-предпринимателей. Все, сверху донизу — наемные трудящиеся, имеющие один общий интерес: тащи все, что можно, в свою пользу. Советские начальники тоже управляют не своим имуществом и тратят на это не свои деньги.

Поэтому они вместе, совсем без злого умысла, совместно грабят страну и самих себя, так как *социальное равновесие отсутствует и при социализме невозможно*. (Конечно, поведение и свойства трудящихся (*и собственников-предпринимателей*), как любых людей вообще, являются чрезвычайно сложными и многогранными. Эгоизм совершенно не исчерпывает свойств человека, среди которых есть и самоотверженность, и честность, и милосердие, и героизм и т.п. Однако, в тех сторонах жизни, которые я обсуждаю, главным является больший или меньший, явный или малозаметный личный, эгоистический интерес.)

Если учесть облагораживающее влияние целесообразного труда, взаимодействие собственников-предпринимателей и трудящихся взаимно умеряет их эгоизм. Стихийные и правоверные социалисты, конечно, завопят, что это неправда. Однако, реальный опыт социализма показывает, что это правда: социализм резко выпячивает эгоизм, развивая именно эту сторону человеческой натуры.

2. Всё в социалистической стране является собственностью государства и поэтому управляется единой волей, единым руководством, по единому государственному плану в соответствии с задачами социалистического общества. Однако, оказалось, что правильно определить эти задачи, правильно учесть и распределить ресурсы, правильно обозначить вклад каждого участника в общее дело, т.е. составить правильный государственный план, *невозможно*. Недавно группа киевских математиков подсчитала, что составление эффективного плана для одной лишь Украины потребует труда всего населения земного шара в течение 10 миллионов лет. Нет таких компьютеров сейчас или в обозримом будущем, которые могли бы решить эту задачу достаточно быстро, чтобы дать совершенный план на будущее, а не давно прошедшее. До киевских математиков это обнаружили и другие советские ученые. Об этом много писала Дора Штурман. Таким образом, государственное планирование (в том числе, погорбачевски) может быть только произвольным (волюнтаристским), необоснованным, без соответствия средств задачам.

Получается мнимый парадокс: государственное планирование гораздо хуже "хаоса" (мнимого) миллионов индивидуальных решений и действий миллионов отдельных граждан. Поче-

му? Во-первых, потому, что решения граждан в их индивидуальных обстоятельствах жизни гораздо более обоснованны и правильны, чем если они продиктованы сверху, из одного центра. Во-вторых, в масштабе всей страны действуют одновременно многие миллионы мозгов и каждый — на полную свою мощь. А во всем аппарате управления страной действует, по крайней мере в сотни раз меньше, да еще и ленивых. Совокупно население действует, как невиданный колоссальной мощности самопрограммируемый компьютер с многими миллионами одновременно действующих процессоров. Социалистическая же система оказывается слепой и глухой, блуждающей в политических и экономических потемках.

3. Государственный единый план лишает людей возможности самостоятельного творчества: *огромный творческий созидательный потенциал населения (Черкасовых и Снеговских) не может быть реализован. Страна нищает.*

Людям, кроме того, просто противно работать в качестве механических винтиков огромной, бестолковой машины, да и невыгодно: зарплаты запланированы на годы вперед и начальники не могут платить существенно больше за существенно больший, но не запланированный труд.

Спрашивается, как Горбачев может ликвидировать коррупцию, бюрократию, волюнтаризм и потемки государственного планирования, научно-техническую отсталость, неэффективность вложений, незаинтересованность и недисциплинированность, неэкономность и распыление средств, "левые" работы, "левую" экономику вообще, если все это есть свойства социализма и результат его *несоответствия человеческой природе*? Какая идеологическая пропаганда может столь коренным образом изменить человеческую природу, чтобы разные и непредсказуемые люди превратились в точно действующие механические винтики.

Вспомнить Сталина? Истребить миллионы Черкасовых и Снеговых? *Но они ведь с рождения воспитывались именно социализмом.* Беда в том, что коррупция, бюрократизм, недисциплинированность, индивидуализм, эгоизм, стяжательство *под воздействием социализма* пропитали всю человеческую массу сверху донизу, включая и КГБ, и аппарат управления, и тех, кто дол-

жен все эти язвы ликвидировать. Горбачеву пришлось бы отправить в концлагеря и на тот свет, вероятно, не менее 90% всего населения, чтобы добиться перевоспитания и необходимого послушания. Психология населения за 68 лет после революции резко изменилась, растеряв все плоды сталинского "образования": беспрекословного послушания "великому вождю". В борьбе за перестройку человеческого самосознания социализм потерпел полное поражение. Это можно видеть на примере самого "великого вождя" и его супруги. Они продемонстрировали собственное стяжательство, если не прямую коррупцию, одеваясь и украшаясь западным "барахлом".

Есть и еще одно важное и неприятное для Горбачева обстоятельство. Сталин, чтобы построить социализм, истребил 67 миллионов людей не своими руками. У него были миллионы послушных и заинтересованных исполнителей. Горбачеву этих *заинтересованных в социализме миллионов исполнителей грязных дел уже не набрать*. Их нет. Даже подкупить необходимые миллионы нечем: всего ведь не хватает. Словом, люди не те, обстоятельства не те, времена не те.

Необыкновенное признание

Апрельский пленум ЦК КПСС 1985 года сделал необыкновенно знаменательное заявление о том, что он решил поручить "экономистам и юристам *решить задачу создания организационной экономико-правовой конструкции производственных отношений, которая бы обеспечивала триединство (!!! А.Ф.) целей деятельности индивидуума (!!! А.Ф.), трудового коллектива и всего предприятия в интересах общества.*"

Формулировка на первый взгляд довольно невинная и, я бы сказал, ставит вполне разумную и даже благородную задачу. Это — суть многовековой мечты человечества осуществить гармонию личных, групповых и всего общества интересов в целом. В масштабе семьи, небольшого племени, небольшой группы подходящих людей эта гармония, этот солидаризм, в большинстве случаев, получается естественным образом. Связь личного и общего в таких малых коллективах вполне видима. В обществе миллионов эту связь наблюдать и видеть чрезвычайно трудно.

Математики, я думаю, правильно, считают, что *в ее полном виде она объективно не может быть установлена. Действительно*, еще никто не смог показать, как поведение отдельного гражданина влияет на историю нашего общества в целом. В истории было немало попыток, включая социализм, осуществить эту гармонию, этот солидаризм интересов с помощью силы. Все они кончались неуспехом.

Вышеуказанное заявление ЦК КПСС является потрясающе важным историческим документом. Оно раскрывает всю глубинную тупика, в котором находятся люди, пытающиеся осуществить идею социализма.

Во-первых, КПСС ясно заявляет, что она не справилась со своей главной и основной задачей, для выполнения которой она с самого начала и была создана, т.е. с задачей осуществления этой самой гармонии, "триединства целей".

Во-вторых, КПСС поручает решение своей задачи, отказываясь от него сама, *экономистам и юристам*. Но какое же они имеют отношение к этой многовековой мечте перестроить внутренний мир человека так, чтобы совокупность его жизненных целей включала каким-то чудесным образом еще и цели общества, которые он до сих пор, следовательно, игнорировал и им не следовал?

В третьих, что же это за цели коллектива и общества? Ведь даже цели простой фабрики весьма сложны и не исчерпываются финансово-экономическими показателями, если рассматривать их в связи с целями всего общества. А в заявлении именно эта тесная связь и имеется в виду. И опять, как объективно узнать или определить эти самые цели общества? Если государственный план может быть только волюнтаристским, то, очевидно, что и цели могут быть только волюнтаристские. Кроме того, каждый из нас, отдельных людей, считает само собой разумеющимся, что цель коллектива и цель общества состоит в том, чтобы сделать нашу жизнь полнее, интереснее, счастливее. И это правильно. Иначе зачем нам общество нужно? Ведь не для "классовой" же борьбы? Очевидно, что такая интерпретация целей общества КПСС не устраивает.

В четвертых, КПСС, если судить по заявлению, отказывается от своего главного социалистического правила: общество (го-

сударство) — все, а личность, индивидум — ничто или, коллектив — все, а индивидум — ничто. КПСС, хотя бы на словах, вынуждена признать, что личность, индивидум нельзя сбрасывать со счетов.

Трудно предсказать, какие, и будут ли, последствия этого необыкновенного партийного заявления. Ясно одно, что оно не в силах изменить ход вещей, который определяется не заявлениями, а свойствами социализма по отношению к свойствам человека. Однако, трудно переоценить это свидетельство крушения попыток переделать сознание человека.

А. Федосеев

КОНТИНЕНТ № 46

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, РЕЛИГИОЗНЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Главный редактор журнала
ВЛАДИМИР МАКСИМОВ.

«Континент» — ежеквартальный журнал, объемом около
400 стр. Цена отдельного номера — \$5.25
(пересылка за счет заказчика).

Цена годовой подписки (4 номера) — \$17.50
(включая пересылку).



A. Neimanis • Buchvertrieb ^{Gm}_{bH}
Bauerstr. 28 • 8000 München 40 • Germany

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ЛИДИЯ ИВАНОВА

Жизнь Лидии Вячеславовны Ивановой, оборвавшаяся в Риме 9 июля 1985 года, была исполнена высокого достоинства и творческого героизма.

Дочь одного из выдающихся русских поэтов XX века, Лидия Иванова родилась в 1896 году. Уже в четыре года, во время пребывания семьи Вячеслава Иванова за границей, ее посещают первые вестники будущего призвания. Живя в окрестностях Женевы, она сочиняет сигналы и гимны для выдуманной ею утопической страны. Она рано знакомится со скрипкой и фортепьяно. Вячеслав Иванов упоминает в своем дневнике (1908 г.) о том, как по утрам Лидия будила его, по его просьбе, игрой на скрипке. Уже тогда он не сомневался в незаурядной одаренности дочери, восхищаясь "оживленную неожиданною предприимчивостью талантливой натуры". В 1912 г. Лидия сочиняет первые мелодии на стихи отца — она "заказывает" ему балладу для музыки с обязательным присутствием луны, замка и озера. Выполнением "заказа" и было стихотворение "Уход царя" (сборник "Нежная тайна"). Тогда же было положено ею на музыку стихотворение Вячеслава Иванова "Амальфея" — эта пьеса исполняется и поныне.

Формальное музыкальное образование Лидии Ивановой началось в Москве, где она брала уроки у известного музыканта и педагога Александра Гольденвейзера. В это же время происходит ее сближение со Скрибиным, глубоко запечатлевшееся в ее памяти. Об этом она рассказала в недавно законченных мемуарах: "Приблизительно в это время начинается знакомство и дружба Вячеслава со Скрибиным. Мы оба с отцом

любили Бетховена и Шуберта, любили классиков, а к новой музыке относились с недружелюбием, как относятся к подозрительным иноземцам. Скрябин это почувствовал, и так как очень полюбил Вячеслава, захотел непременно его ввести в свой мир. Один раз вечером он к нам пришел, сел за наш старый рояль и долго нам играл отрывки из своей поэмы "Прометей", повторял их, объяснял. Мы были только троим: Скрябин, Вячеслав и я. Когда Скрябин ушел, Вячеслав обратился ко мне и говорит: "Ну что же? Я сознаюсь — "хорошо". Не правда ли? "Мы оба смущены, а у Вячеслава было выражение, как если бы ему дали отведать от запрещенного плода познания добра и зла".

В революционные годы Л. Иванова работала в Наркомпросе, вначале короткое время в музыкальной библиотеке, где ей предложил место Артур Лурье, а затем — и с увлечением — в школьном отделе под руководством Н. Я. Брюсовой.

Консерваторское образование, полученное в Москве, дало возможность молодой музыкантше устроиться по специальности и в Баку, где в 1920 г. Университет предложил Вячеславу Иванову кафедру классической филологии. Лидия работала там инструктором местной консерватории и уделяла много времени серьезному изучению гармонии и оркестровки. Она и в этот период постоянно занималась композицией: писала мелодии и этюды для рояля.

После того, как в 1924 г. Вячеслав Иванов покидает с семьей Россию, начинается самый значительный и завершающий период музыкального образования его дочери. В Риме Лидия Вячеславовна занимается под руководством видного итальянского композитора Отторино Респи, с которым у нее завязывается дружба, интересно описанная в ее мемуарах. Как писал позднее один из критиков, в годы ученичества у Респи она приобрела большую технику, знание инструмента и оркестра, но ни в коей мере не подпала под композиторское влияние своего маэстро. Технически симфонические произведения, которые она начинает писать в Италии, принадлежат к т.н. "Римской школе". В этот же период она с успехом дает органнe концерты в Сиенской музыкальной Академии Киджи, одной из самых знаменитых музыкальных школ западного мира. И в середине тридцатых годов получает экстраординарную профессиу в Национальной Консерватории Св. Цецилии в Риме, той самой, которую она сама ранее с блеском окончила сперва по композиции, потом по органу.

Музыкальные сочинения Лидии Ивановны для симфонического

оркестра (из них наиболее известны "Вариации" на темы псалмов) исполнялись в Риме, Париже, Тулузе, Цюрихе, Брюсселе под руководством таких дирижеров, как Б. Молинари, П. Аргенто, И. Добровейн, П.-М. Ле Конт, М. Росси и др. "Песни труверов" были исполнены в Ленинграде Геннадием Рождественским. Среди произведений композитора — симфонии, концерты для рояля, кантаты (в частности, "Молитва Св. Бернарда" для сопрано, хора и оркестра), "музыкальные комментарии" к инсценировкам Толстого и Шекспира. Неоднократно возвращается Лидия Иванова к поэзии отца: в 1944 году она создает вдохновенный гимн, положив на музыку его латинское стихотворение "Breve aevum serapatum". К более легким жанрам относится музыка к спектаклям театра марионеток, широко исполнявшаяся по всей Италии, и опера-буфф "Похищенная теща", впервые поставленная в Бергамо в 1956 г. и имевшая большой успех; она передавалась по французскому и итальянскому радио.

Последнее десятилетие Лидия Иванова работала над глубоким и значительным замыслом: оперой-мистерией "Поклонение Кресту" на основе трагедии Кальдерона. Уже сам сюжет оперы говорит о необыкновенной духовной смелости ее создательницы — замысел музыкальной мистерии в наш религиозно кризисный век. В творческой биографии композитора этот сюжет не случаен: еще в незабвенные времена "ивановских сред", в разгар Серебряного Века, в апреле 1910 г., трагедия Кальдерона была разыграна на "Башне" в любительском спектакле под руководством Вс. Мейерхольда, причем одну из ролей исполняла четырнадцатилетняя Лидия.

Опера "Поклонение Кресту" была закончена композитором незадолго до смерти. Вячеслав Иванов выделял два вида высокого творчества: "соборное" и "келейное". По внешним и внутренним причинам музыка Лидии Ивановой относится к искусству "келейному". Противоборствуя модной бездуховности, она творила в одиночестве и не испытала громкого и повсеместного признания. Однако, в глубинном своем смысле "келейное" искусство равноправно "соборному" и безгранично превосходит эфемерность современного массового искусства, сколь бы популярным оно не казалось. Со свойственной ему тонкой проницательностью Вячеслав Иванов угадал "небесное", непреходящее начало в музыке своей дочери, когда писал в известном, к ней обращенном стихотворении, опубликованном в его посмертном сборнике "Свет Вечерний":

Твоих мелодий и созвучий
Люблю я необычный строй.
С какой небесною сестрой,
С какой Музою певучей
От ранних лет сдружилась ты?
Святой Цецилии черты,
К тебе склоненной, из тумана
Мерцают мне, когда органа
Твои касаются персты.

Мера признания определяется не количеством, а качеством: музыка Лидии Ивановой давно ценится в кругах знатоков. Крупнейший современный итальянский композитор Г. Петрасси полагает, что "ее музыкальное и художественное дарование было достаточно велико, чтобы обеспечить ей определенное незаурядное место в мире музыки". Последние годы свидетельствуют о необычайном, драматическом взлете интереса к творчеству Вячеслава Иванова среди литераторов и ученых: из полузабытого имени он обрел ныне статус весьма заметной фигуры в истории русской поэзии, философии и науки. Нет сомнения, что сходная судьба ожидает и музыкальное наследие его дочери.

За несколько лет до смерти Лидия Иванова, поощряемая друзьями, обратилась к писанию воспоминаний. Результатом стала замечательная книга, которая будет скоро опубликована целиком (часть была напечатана в "Новом Журнале"). Мемуары Лидии Ивановой, сочетающие живую изобразительность с "прекрасной ясностью" повествования, бесспорно относятся к одним из лучших, созданных русской эмиграцией в этом жанре. В них много метких наблюдений, мягкого юмора, точных и глубоких формулировок; всюду присутствует своеобразный и пытливый взгляд художника, особенно в незабываемых портретных зарисовках самого Вячеслава Иванова во всем его богатейшем интеллектуально-психологическом спектре; ее матери, Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал, натуры редкой душевной мощности; хрупкой и героической Веры Константиновны Шварсалон; близких и дальних людей их окружения — Брюсова, Белого, Кузмина, Бердяева, Флоренского, Эрн и других; и, наконец, верной и мудрой спутницы эмигрантских лет В. Иванова — Ольги Александровны Шор. Ненавязчиво вовлекается читатель в безбедное заграничное детство, в бурную жизнь на "Башне", в тяжкое горе после неожиданной смерти матери, в тихую

радость глубинного сближения с отцом, в растерянность и отчаяние революционной разрухи. Особенно интересны части, посвященные бакинскому и римскому периодам жизни Иванова, мало изученным специалистами.

Эти книга, однако, — не только воспоминания об отце, но и автобиография-история воспитания чувств и путей души. Стержень ее, единящий мир наблюдений, впечатлений и суждений — обаятельный образ мемуаристки, всегда сострадательной и терпимой, неизменно готовой к самопожертвованию, но при этом не теряющей заразительного, а иногда и лукавого задора. Такой она была в жизни, такой и останется в нашей памяти.

В жизни Лидия Вячеславовна была женщиной всеобъемлющей культуры и великолепной человеческой простоты. До последней минуты своих 89 лет она сохраняла ясность и остроту мысли, работая над оркестровкой оперы и редактированием мемуаров. Ее уход оставил ничем не заполнимую пустоту в жизни всех, кто имел счастье ее знать и любить.

В. Блинов, В. Рудич



Редакция "Нового Журнала"
с глубоким прискорбием извещает
о кончине, на 97-м году жизни,
большого друга журнала,

АБРАМА РАФАИЛОВИЧА ГУРВИЧА
последовавшей 4 апреля 1986 г.

Редакция "Нового Журнала"
с прискорбием извещает
о кончине своего сотрудника,

профессора
АЛЬБЕРТА ИГНАТЬЕВИЧА ОПУЛЬСКОГО
последовавшей 25 февраля 1986 г.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПУШКИН

(Предварительное сообщение)

В 1963 г. во "Временнике Пушкинской комиссии. 1962" пушкинист Н.В. Измайлов привел в русском переводе выдержки, касающиеся А.С. Пушкина, из дневника внучки М.И. Кутузова, графини Дарьи (Долли) Федоровны Фикельмон, урожденной Тизенгаузен (14.X.1804 — 10.IV.1863). Ее мать, приятельница и корреспондентка Пушкина, Елизавета Михайловна, во втором браке — Хитрово (1783-1839), была любимой дочерью знаменитого полководца.

Полностью дневник Долли Фикельмон за 1829-1831 гг. был опубликован на языке подлинника, по-французски, известной итальянской исследовательницей Н.М. Каучишвили, профессором Бергамского университета. Измайлов приводил извлечения из дневника Д.Ф. Фикельмон по тексту, опубликованному в 1959 г. проф. А.В. Флоровским в пражском журнале "Славия".

К дневниковым записям гр. Д. Фикельмон обращался Н.А. Раевский в двух книгах: "Если заговорят портреты" и, более подробно, "Портреты заговорили", вышедшей в двух изданиях, в 1965, 1976 годах. В дальнейшем мы будем ссылаться на текст из второго издания книги Раевского. Раевский посвятил четыре очерка жене графа Карла Людвига Фикельмона, австрийского посла в Петербурге, занимавшего этот пост с 1829 г. по 1839 г.: "Фикельмоны", "Д.Ф. Фикельмон в жизни и творчестве Пушкина", "Особняк на Дворцовой набережной", "Д.Ф. Фикельмон о дуэли и смерти Пушкина".

В своей книге Н. Раевский упоминает князя Фрица (Фридриха) Лихтенштейна среди участников маскарадного выезда 12 января 1830 г. Запись в дневнике Долли Фикельмон об этом событии была сделана на

следующий день: "Вчера, 12-го, мы доставили себе удовольствие поехать в домино и маска по разным домам. Нас было восемь — маменька, Катрин (сестра, Е.Ф. Тизенгаузен), г-жа Мейендорф, я, Геккерн, Пушкин, Скарятин (Григорий Яковлевич) и Фриц (сотрудник австрийского посольства). Мы побывали у английской посольши (леди Хейтсберн), у Лудольфов (семейство посланника Обеих Сицилий) и у Олениных (А.Н. и Е.М.). Мы очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были тотчас узнаны и вернулись ужинать к нам. Был прием в Эрмитаже, но послы были там без своих жен" (стр. 220).

На маскарадный выезд Пушкин был приглашен запиской Дарьи Федоровны: "Решено, что мы отправимся в нашу маскированную поездку завтра вечером. Мы собираемся в 9 часов у матушки. Приезжайте туда в черном домино и с черной маской. Нам не потребуется ваш экипаж, но нужен будет ваш слуга, потому что наших могут узнать. Мы рассчитываем на ваше остроумие, дорогой Пушкин, чтобы всех оживить. Вы поужинаете затем у меня. Еще раз вас благодарю. Д. Фикельмон. Суббота. Если вы захотите, мама приготовит вам ваше домино" (стр. 219-20).

Н. Раевский еще один раз упоминает князя Ф. Лихтенштейна, ставшего как бы членом семьи Фикельмонов во время его пребывания в Петербурге: "Об атташе австрийского посольства князе Фрице Лихтенштейне (1802-1872) ...можно только сказать, что Пушкин встречался с ним очень недолго — 23 марта 1830 года князь уехал в Австрию. Все же следовало бы когда-нибудь взглянуть на бумаги его потомков. Может быть, молодой дипломат и описал свои, вероятно неоднократные, встречи с русским поэтом" (стр. 221).

Возможность разыскать документы, подтверждающие неоднократность встреч Пушкина с Лихтенштейном предоставилась мне после знакомства в 50-х годах с бар. Ольгой Александровной Фальц-Фейн. С ее сводным братом, бар. Эдуардом Александровичем Фальц-Фейн знакомство состоялось позднее. Э.А. Фальц-Фейн, деловой человек и крупный общественный деятель, постоянно проживает в Лихтенштейне. Он оказал мне существенную помощь в налаживании заочного знакомства и деловой переписки с ныне вышедшим в отставку зав. семейным архивом князей Лихтенштейн, доктором Эвелин Оберхаммер.

На мой запрос в июне 1984 г., есть ли в архиве князей Лихтенштейн материалы о пребывании Фридриха Лихтенштейна в России в 1829-30 гг., госпожа Оберхаммер в письме от 6 июля 1984 г. сообщила, что в ар-

хиве нет никаких писем или документов этого периода, за исключением дневника, который князь вел в 1830 г. В ответ на мою просьбу прислать копии страниц, на которых упоминается имя Пушкина и Пушкиных, я получил около десяти страниц, а затем, в 1985 г. (через Э.А. Фальц-Фейна), остальные.

Дневник велся кн. Фридрихом Лихтенштейном в тетради альбомного формата размером 26×18 см. Почерк Лихтенштейна быстрый и очень неразборчивый. Г-жа Г. Коепп, специалистка по старонемецким рукописным материалам, почти полностью разобрала текст. Но не могла справиться с русскими фамилиями. Кн. Ф. Лихтенштейн не запомнил, как точно произносится та или иная фамилия и не умел точно транскрибировать их по-немецки. Почти все фамилии автор дневника приводит без упоминания имени и отчества. В некоторых случаях он дает заглавную букву фамилии, а затем у него идут сплошные "и". Однако, мне удалось "узнать" и расшифровать большую часть имен. Имя Пушкина приводится тем не менее без ошибок, что является косвенным свидетельством того, что знакомство автора дневника с поэтом не было мимолетным. При чтении записей кн. Ф. Лихтенштейна я одновременно обращался и к дневнику гр. Д. Фикельмон. Должен сказать, к своему огорчению, что ни разу не было совпадения дат записей, сделанных обоими. Да и характер ведения дневника был различным. Если Долли Фикельмон описывала и оценивала свои наблюдения как летописец и, одновременно, ее дневник был литературно-мемуарным документом, то кн. Ф. Лихтенштейн только регистрировал хронику своей жизни, ограничиваясь заметками о том, где был, с кем встречался и что делал. В его записях нет характеристик лиц, с которыми он общался.

Пока что не представляется возможным привести полный перевод на русский язык имеющегося дневникового материала кн. Ф. Лихтенштейна. Поэтому в моем предварительном сообщении я ограничусь свидетельствами о встречах Лихтенштейна с Пушкиным или Пушкиными.

Время пребывания Фридриха Лихтенштейна в Петербурге можно установить точно. Супруги Фикельмон прибыли в Петербург в ночь с 29-го на 30-е июня 1829 г. Примерно 5-6 июля прибыли на службу в посольство некий Салис (по-видимому, военный атташе) и кн. Фридрих Лихтенштейн, который в дневнике Долли Фикельмон упоминается под его уменьшительным именем Фриц. Полное его имя — принц Фридрих

де Паула Йоахим фон Лихтенштейн. Княжеством тогда правил его старший брат, Алоис-Иозеф фон Лихтенштейн.

Фридрих Лихтенштейн поселился у Фикельмонов в доме Ланского на Черной речке и был принят ими как член семьи. Он родился 25 февраля 1802 г., стало быть, ему во время пребывания в России было 27 лет. Он покинул Петербург 23 марта 1830 г. Позже, в военной службе он дослужился до чина генерал-майора. В 1841 г. женился на графине Юлии Потоцкой. Имел троих детей, двух сыновей — Альфреда и Алоиса, и дочь Жозефину.

А.С. Пушкин приехал в Петербург в начале ноября 1829 г. после неудачной поездки в Москву. Как всегда, остановился в знаменитом трактире Демута, сняв двухкомнатный номер. Прожил четыре месяца и выехал 12 марта 1830 г. в Москву. Это была последняя холостая зима поэта, по его собственному признанию, "шумная и беспорядочная".

Знакомство Пушкина и Лихтенштейна, даже если оно началось вскоре после приезда Пушкина в столицу, не могло длиться более четырех месяцев.

Дарья Федоровна дает самую лестную характеристику кн. Лихтенштейну: "Сегодня, 23 (марта) наш добрый Фриц покинул нас, чтобы вернуться в свой полк. Я не могу сказать, как мне больно видеть, как он уезжает. Он действительно стал членом нашего дома. Его все полюбили за его веселый нрав, доброту, юность его ума и сердца. После его отъезда я почувствовала ужасную пустоту. Никто из этих всех других господ мне так не подходил, как он. И кроме того, он естественная часть нашей семьи, поскольку он — Лихтенштейн" (стр. 126).

Благодаря своему общительному характеру, Фридрих быстро освоился в петербургском высшем свете и приобрел немало знакомых среди дипломатов, военных, придворной знати, стал посетителем известных салонов. С Пушкиным его знакомство завязалось через Дарью Федоровну и ее мать — Елизавету Михайловну Хитрово.

Фамилия Пушкина встречается в дневнике Ф. Лихтенштейна на 28 страницах. Однако, после 28-30-й страниц упоминается уже не поэт, а другие Пушкины, гр. Мария Александровна Мусина-Пушкина (1801-1853), жена генерал-майора, гофмейстера гр. Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, и гр. Эмилия Карловна Мусина-Пушкина (1810-1846), жена гр. Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина, капитана лейб-гвардии Измайловского полка.

За те месяцы, что Ф. Лихтенштейн жил у Фикельмонов, в дневнике Долли имя Пушкина встречается всего три раза. О ее записке Пушкину с приглашением участвовать в маскараде мы уже писали. До этого, 11 декабря 1829 г. Дарья Федоровна пишет о дипломатическом бале в их доме, состоявшемся накануне. И дает свою характеристику личности поэта. Русский перевод записи цитируем по книге Н. Раевского "Портреты заговорили": "Вчера, 10-го, у нас был второй большой дипломатический обед. Теперь у нас всегда бывает довольно много гостей на наших вечерних приемах по понедельникам, четвергам и субботам, но петербургское общество мне еще не нравится. Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом — без претензий, с увлечением и огнем; невозможно быть более некрасивым — это смесь наружности обезьяны и тигра, он происходит от африканских предков — в цвете его лица заметна еще некоторая чернота и есть что-то дикое в его взгляде" (стр. 218). Раевский, однако полагает, что "нет оснований считать, что Пушкин присутствовал на обеде, который Фикельмоны дали петербургскому дипломатическому корпусу, тем более, что в это время он был лицом совершенно неофициальным" (*там же*).

С Раевским можно спорить. У Пушкина уже давно были знакомства в русском и иностранном дипломатическом мире. Спрашивается, если на званом обеде у посла Пушкин отсутствовал, почему Долли поместила свое впечатление от поэта сразу после записи о приеме?

Но обратимся к дневнику кн. Фридриха Лихтенштейна. Остановимся только на тех записях, в которых упоминается имя Пушкина.

Стр. 12. "11-го. Прибыл герцог де Мортимар (французский посол). Вечером я пошел к Пушкину, потом к З." (фамилия неразборчива).

Стр. 13. "14-е. Парад. Вечером Пушкин..."

"19-е... Пошел к Пушкину. Юсупов был нездоров".

Стр. 15. "Парад. Мы обедали у Крамера... Оттуда я пошел к Пушкину, у которого оставался до 10 часов, чтобы потом посетить Нессельроде, где было скучно, так как забыли пригласить некоторых людей..."

Стр. 16-18. Длинное описание впечатлений Фридриха о праздничном катании на санях и спуске с ледяной горки, в которых принимали участие представители высшего света Петербурга и посмотреть которые приехала императрица Александра Федоровна в своих роскошных санях. Фридрих был в большой компании, которая перед выездом собралась у гр. Татищевой. В поездке принимали участие Пушкин, обе сестры Тизенгаузен, И.Г. Сенявин, граф Б.С. Потоцкий, граф А.А.

Суворов (внук полководца), граф В.П. Завадовский.

При спуске с горки управлявший салазками сделал неловкое движение, сани налетели на стенку, перевернулись и разбились. Пушкин вылетел из саней в снежный сугроб, Завадовский упал рядом с ним, Суворов зацепился за полоз и застрял, а Татищева села прямо на лед. Все весело смеялись, наняли другие сани и продолжали кататься.

Стр. 24. "12-е. Днем я был у Сергея Строганова, потом у Суворова, который был нездоров. Вечером у Пушкина и затем у Лудольфа".

Записи в дневнике Фридриха Лихтенштейна продолжают и после даты его отъезда, приведенной в дневнике Д.Ф. Фикельмон. Он все еще в Петербурге и продолжает упоминать Пушкиных, только уже Мусиных-Пушкиных, так как А. С. Пушкин в это время был в Москве. Ошиблась ли Долли Фикельмон в датировке отъезда Лихтенштейна в полк? Вряд ли. Скорее всего, Лихтенштейн задержался в Петербурге, но уже не квартировал у Фикельмонов. Об этом свидетельствует его запись на 25 стр., сделанная 19 марта (н.ст.) на Вербное Воскресенье: "Парад. Обед у Геккерна. Суворов. Пушкины, где я очень развлекался, потом Массон (Ольга), которая была скучнее, чем когда-либо... Я должен был против своего желания идти к Хитрово, к которой был приглашен. К счастью, там я застал обеих Тизенгаузен. Было очень весело. Кайзерфельд (сотрудник австрийского посольства) вел переговоры с генералом, и тот нашел вполне естественным, чтобы я здесь несколько задержался".

И в последующих записях, которые велись еще в России в апреле-мае-июне 1830 г., в дневнике кн. Фридриха Лихтенштейна встречается имя Пушкина или Пушкиных, вплоть до последней, 58-й страницы. Эта часть дневника, как и первые страницы, где перечисляются города и деревни, через которые он ехал в Петербург, требуют кропотливого разбора. Но это уже относится к изучению пребывания Лихтенштейна в России.

Хотя дневник кн. Ф. Лихтенштейна добавляет к биографии А.С. Пушкина всего несколько незначительных эпизодов, перефразируя слова А.С. Пушкина в статье о Вольтере, можно сказать, что всякий новый эпизод из жизни великого человека обогащает наше знание о нем.

А. Намов

ВЕСТИ ИЗ РОССИИ

Свидетельства людей, недавно покинувших Советский Союз, можно суммировать одним словом-тупик. Ни давление снизу, ни давление сверху недостаточно, чтобы изменить существующий статус-кво. Давление снизу во многом зависит от снабжения и положение в этой области является особенно важным для характеристики общественных настроений.

В некоторых районах снабжение продолжает ухудшаться. В Поволжье качественное ухудшение снабжения произошло где-то в восьмидесятом году. В это время в Куйбышеве ввели карточки, в Саратове они появились гораздо раньше. По карточкам в Куйбышеве можно получить 1 кг. мясных продуктов и 400 граммов масла на человека в месяц. Летом порция масла сокращается до 300 граммов. В Москве выдача продуктов в одни руки лимитируется. В Ленинграде появились, но вскоре стали закрываться, "комиссионные магазины". Причина — нехватка продуктов. Повсеместно пропагандируется "самоснабжение".

Повсеместно происходит рост цен. За последние годы резко повысились цены на апельсины и бананы. В магазинах появился новый сорт маяса "без костей", цена — более чем три рубля. Продолжается рост цен и на базаре. В Куйбышеве цена килограмма мяса 7 рублей, в Саратове — 5 рублей, но лишь потому, что она заморожена администрацией. В связи с этим мясо часто на саратовском рынке отсутствует.

Однако, не везде тенденция к ухудшению. В некоторых районах Прибалтики, например, продовольственное положение несколько улучшилось. Некоторое улучшение было отмечено и в начале краткого правления Андропова. В это время на прилавках Москвы и Ленинграда появились импортные продукты, импортное масло, например. Царствование Андропова было отмечено и появлением дешевой водки, прозванной в народе "Андроповкой". Судя по всему, резкого ухудшения продовольственного положения не происходит, и это, как я полагаю, во многом объясняет реакцию населения на польские и афганские события.

Нельзя сказать, что интерес к Польше отсутствует. Предпринимаются даже попытки "перевести" польский опыт с польского на русский. В Куйбышеве некий Алеша Разладский создал подпольную группу, достававшую откуда-то документы "Солидарности". Они переводились и распространялись. Стали создавать "пятерки" на предприятиях. Была установлена связь с Москвой и Саратовым. Идеология движения — "ле-

низм": нынешнее руководство извратило учение и нужно вернуться к первоначальной чистоте. Библией служило одно из первых изданий Ленина, конфискованное при аресте членов группы.

По слухам, советское руководство по-прежнему обеспокоено положением в Польше, даже больше, чем Афганистаном. Масса населения к Польше равнодушна или же относится враждебно. Бывшая москвичка сообщает, что интерес к Польше в Москве спал, хотя некоторые и выражают свою сочувствие. Вообще граждане боятся обсуждать скользкие темы. Их боятся затрагивать даже отказники, которым, казалось бы, терять нечего. Только один из ее знакомых сказал ей: "Взял бы автомат и расстрелял бы их (руководство) всех". На политинформациях Польшу выставляют "зажравшейся страной, которая с жиру бесится." Бывшая ленинградка также констатирует, что отношение к полякам в массе скверное. Сходные настроения и в Прибалтике.

Влияние афганских событий гораздо сильнее польских. Приходят похоронки. В Москве появилось много молодых парней на костылях. Для них существуют квоты в высших учебных заведениях. Их направляют на спокойную и прибыльную работу.

Отношение населения к войне неоднозначно. Часть войну осуждает. Но так относятся к войне далеко не все. Иногда бывает даже так, что те, кто относился к войне негативно в самом ее начале, впоследствии меняли свою позицию и начинали говорить, что ввод войск был необходим и другого выхода не было.

Судя по всему, волнения польского типа в ближайшем будущем маловероятны. Попытки изменить положение вещей сверху также ни к чему не привели. Брежневская стагнация продолжается, несмотря на отчаянные попытки послебрежневских лидеров изменить все, не меняя ничего.

О том, до чего дошла коррупция и воровство в последние годы правления Брежнева, свидетельствует следующая легенда-анекдот. Однажды Андропов направился в ведомственную поликлинику. После осмотра, возвратившись в раздевалку, Андропов обнаружил, что его брововая шапка исчезла. Он немедленно позвонил дочери и попросил привезти ему новую шапку, ибо старая "пропала". Дочь поспешила на вызов отца и устроила в поликлинике страшный скандал. Явился замминистра здравоохранения, несколько полковников-телохранителей Андропова, начались поиски злоумышленников, но безрезультатно. Во время заседания Политбюро Брежнев, не без схицства, заметил: "Что,

Юра, жалко шапку? Ведь хорошая была?" Все Политбюро смеялось.

После смерти Брежнева "владелец бобровой шапки" круто принялся за перевоспитание как аппарата, так и широких масс трудящихся. Больше всего были напуганы аппаратчики. Проворовавшихся чиновников строго карали. Некоторых даже специально вызывали из заграницы, чтобы по приезде тут же вклеить срок. Андропов не ограничивался средним звеном аппарата и планировал генеральную чистку на самом верху, в Политбюро. Гришин должен был быть одной из первых его жертв (он стал добычей Горбачева), а посему страшно был рад его смерти и шел за гробом Андропова, "приплясывая".

Самым любопытным в недолгом правлении Андропова было то, что он пытался урезать экономические привилегии господствующего класса. У чиновников стали отбирать дачи и сокращать жилплощадь. Поговаривали, что Андропов собирался даже ликвидировать закрытые распределители и буфеты.

Отношение между Черненко и партийно-хозяйственным аппаратом расценивается опрашиваемыми по-разному. Одни сообщают, что чистки прекратились лишь на самом верху и, как свидетельство этого, дочь Брежнева была приглашена на званый обед, но внизу все продолжало идти по проторенной Андроповым колее. Другие же утверждают, что чистки практически полностью прекратились и все вернулось к спокойствию брежневских дней.

Что касается Горбачева, то большинство опрашиваемых полагает, что, несмотря на чистку аппарата, он, скорее, ближе по своему стилю к Брежневу, чем к Андропову: "Андропов по форме, Брежнев по содержанию." Однако, часть интеллигенции ждет от Горбачева либеральных реформ.

Дм. Шляпентох

ЗАПАДНЫМ УНИВЕРСИТЕТАМ, СЛАВИСТАМ

Обращаюсь с просьбой: помогите получить работу в университете. 15 лет назад я защитил диссертацию о творчестве Чехова, издал на Западе 10 книг, мог бы давно иметь здесь постоянную университетскую работу, если бы согласился плыть по течению общепринятого "форма-

лизма". Но я считаю, что преподавание русской литературы должно соответствовать христианским традициям русской классики, естественно противостоящей марксизму, тоталитаризму любой окраски... Долгое время я был безработным в Израиле, поэтому уехал с семьей. Я поселился в Западной Германии, т.к. хотел удостовериться: возможно ли возрождение — после тоталитарной партийщины. 6 лет мы здесь прожили и я укрепился в надежде, что и Россия тоже сумеет возродиться.

Но для этого необходимо открыто говорить также и о негативных сторонах Запада, его университетов... Чтобы получить здесь работу — я должен был бы оформить "немецкость", что для меня неприемлемо, т.к. отец мой, борясь против гитлеризма, чувствовал себя евреем. А я, борясь против коммунизма, чувствую себя христианином. Но западные коллеги говорят, что антикоммунистам — не место в университетах. В советских — не место, поэтому я эмигрировал. Но в западных университетах работает масса марксистов, коммунистов, почему же нет места их оппонентам? Где же ваш плюрализм?

На Западе "единственно верным научным методом" в славистике признан формализм, имеющий так много общего с бездуховной бухгалтерией "Капитала"... Большевики тоже решили, что литературу можно преподавать только на основе "единственно верного научного метода", противников которого изгнали из университетов, а потом трудоустроили в концлагерях...

Лучших ученых России преследовали отнюдь не за методологию "формализма", то был лишь ярлык. Партия никогда не сумеет смириться с научным плюрализмом... Бахтин, Жирмунский, Оксман, Пропп, Томашевский, Тынянов, Шкловский, Эйхенбаум, многие современные ученые — неуютны партии за то, что показали духовную высоту классики, противостоящей убожеству марксизма, его трупного формализма.

Советские власти всеми средствами поддерживают своих единомышленников на Западе, культивирующих формализм "чистой науки", чтобы отвлечь внимание от современной русской литературы, освободившейся от коммунизма. Западные "передовые ученые" спешат услужить Кремлю, заявляя, что христианская тематика русской классики тоже "не может быть предметом университетского обучения"... А я предлагаю ввести курсы лекций, семинары — именно о духовной сущности русской литературы. Это необходимо, в первую очередь, для самого Запада, духовно разоруженного перед надвигающимися испытаниями.

Д-р Э. Бройде-Трэппэр (Д.А. Антонов)
Западная Германия

ПРИПИСКИ К "ЛОСЕВИАНЕ"

В одной из статей о А.Ф. Лосеве ("Н.Ж.", N 157) было сказано, что в его обильной библиографии — около полутысячи позиций — есть зияющий провал: 1931-1952 годы. Когда один из советских публицистов, Ю. Ростовцев, брал у Лосева интервью и спросил ученого, что он в этот период делал, тот ответил: "Я думал!". Что ученый *думал*, в этом сомневаться не приходится. О том, в каких обстоятельствах он думал, можно только гадать, а вот почему он *только* думал, станет понятным, если мы вспомним слова, прозвучавшие по его адресу с трибуны XVI съезда ВКП(б) в 1930 г. Там Каганович гремел, отмечая недостатки классовой борьбы на многих фронтах, в частности — по "линии культуры и по линии литературы". "В 'Правде' была помещена рецензия о семи книгах философа-мракобеса Лосева. Но последняя книга этого реакционера и черносотенца под названием 'Диалектика мифа', разрешенная к печатанию Главлитом, является самой откровенной пропагандой наглейшего нашего классового врага (несмотря на то, что она напечатана благодаря Главлиту, она не увидела света.)". Следует ряд цитат из Лосева. "И это выпускается в Советской стране. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас все еще недостаточно бдительности". (голоса: "Кто выпускает? Где выпущено?"). "Разрешено Главлитом". (голоса: "Чье издание?"). "Это выпущено самим автором, но ведь вопрос заключается в том, что у нас, в Советской стране, в стране пролетарской диктатуры, *на частном издании автора должна быть узда пролетарской диктатуры*. А тут узды не оказалось. Очень жаль" (голоса: "Правильно!") Кагановичу вторил Киришон: "...Этот Лосев, помимо всяческих других откровенно-черносотенных монархических высказываний, между прочим сообщает: "Пролетарские идеологи или ничем не отличаются от капиталистических гадов и шакалов, или отличаются, но еще неизвестно, чем собственно они отличаются". Коммунист, работник Главлита, пропустивший эту книжку, в которой нас в лицо называют капиталистическими гадами и шакалами, мотивировал необходимость ее разрешения тем, что это — "оттенок философской мысли"... А я думаю, нам не мешает за подобные оттенки *ставить к стенке* (аплодисменты, смех)"*.

* XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет. Госиздат, М., 1930, стр. 75, 279.

Если к этим высказываниям прибавить хорошо "подкованный" доклад Х. Гарбера, представлявший мировоззрение Лосева в кривом зеркале коммунистической идеологии, прочитанный 21 мая 1930 г. в Институте Философии Коммунистической Академии и затем напечатанный в ее "Вестнике" (тема доклада — "Против воинствующего мистицизма А.Ф. Лосева"), то читателю станет ясно, о чем мог думать Лосев в тот длительный период молчания, где бы он не находился в то время.

Но вернемся к интервью, взятому у А.Ф. Лосева Юрием Ростовцевым, бывшим учеником мыслителя. Там есть детали, обогащающие "Лосевяну". Интервью начинается следующими словами: "Представить читателю собеседника — значит прежде всего обозначить сферу его профессиональных привязанностей. Не так-то это просто, когда речь идет о А.Ф. Лосеве. Как минимум, шесть наук всецело претендуют на него. Эстетика, философия, филология, история, искусствоведение, лингвистика. Помимо названных, с его именем связывают музыковедение, психологию, литературоведение... Доктор философских наук А.В. Гулыга, например, считает, что на Лосева особые права имеет история, ибо он не только ее исследователь, но и предмет исследования: "Он плоть от плоти отечественной культуры, живое олицетворение мировой традиции, возвращенной на родной земле". Ростовцев продолжает: "На страницах недавно изданной коллективной монографии, посвященной творчеству А.Ф. Лосева, не только разбираются его взгляды, но и дана высокая оценка его исследованиям и переводам, создавшим "эпоху в деле изучения европейской античности". Предложенная им концепция античности признается наиболее всеобъемлющей и убедительной. Ибо ученому удалось охватить противоположности в их единстве, найти для многих, на первый взгляд взаимоисключающих, черт этой культуры объединяющую основу в специфическом античном видении мира".

"Видишь ли, — говорит сам Лосев, — я вырос в безотцовщине. В моем отце настолько сильно проявилась страстность натуры, что он не мог жить, как все, как принято. Увлечение скрипкой сделало его музыкантом, но привело к тому, что он оставил семью, дом, уважаемое дело... Он полностью отдался богеме, которая поглотила его. Стал дирижером одного из местных оркестриков. Так что единственное наследство, оставленное мне — привязанность к музыке. Она проявилась у меня столь же пылко. Еще мальчиком, услышав концертное выступление девятилетней скрипачки-вундеркинда, я потребовал себе инструмент и занялся его освоением упорно и самозабвенно. Параллельно с гимна-

зией стал посещать музыкальные классы, так что получил среднее образование и здесь”.

“Мною занималась мама, — вспоминает Лосев. — Все свои силы и возможности она отдала тому, чтобы развить меня и учить. И я ей глубоко благодарен. Она заложила во мне первые понятия чести, порядочности, ответственности”.

С большой любовью и благодарностью вспоминает А.Ф. Лосев своих учителей-педагогов в гимназии, особенно — Иосифа Антоновича Микиша. Это он возбудил в своих учениках любовь к античности.

Молодого Лосева живо интересовал театр. Будучи старшеклассником, он регулярно посещал театры. Он один, будучи отличником, имел разрешение дирекции посещать театральные представления ежедневно, а по воскресным дням — даже два раза.

“На протяжении трех лет просмотрел весь классический репертуар. Это был настоящий театральный запой. Но зато я узнал фактически всех драматургов — от античности до современности. Шекспира, Шиллера, Чехова, даже плодовитого Островского — почти полностью. Трагедии “Гамлет”, “Отелло”, “Король Лир”, “Макбет” видел по многу раз. Сравнивая в той или иной роли актеров — в те года театральные труппы каждый сезон обновлялись, — я составил представление не только о сущности драматургии, но и постигал мастерство исполнителей, их творческие особенности. Гамлета в исполнении Двинского, очень популярного в ту пору у нас на юге актера, помню до сих пор и ни с каким другим не спутаю.

Что еще оказалось для меня важным воспитательным моментом? Пожалуй, те записи, которые я заносил после каждого спектакля в дневник. От впечатления сценического я делал шаг к раздумью, к попыткам самостоятельного мышления и оформления своих наблюдений словом. Театр оказался для меня первым храмом познания науки и искусства. Ему я обязан почти всем”.

Кроме театра воображение молодого человека поражала астрономия. “Да, меня тогда сильно занимали, даже тревожили иные миры. Это беспокойство в сочетании с интимным восторгом перед бесконечной Вселенной, осознание тесной связи земных и космических явлений будоражили сознание. Способствовали стремлению осмыслить действительность.”

Сильное впечатление производили на него научно-популярные труды Фламмарiona. “Конечно, — продолжает А.Ф. Лосев, — это были

только робкие попытки, скорее близкие к юношеской рефлексии, чем к научному взгляду. Но здесь важно другое — возникали продолжительные, напряженные раздумья”.

Приведем еще один отрывок из этого интервью. А.Ф. Лосев вспоминает, как он сдавал экзамен в аспирантуру по древним языкам:

”Дали мне отрывок из Софокла для перевода на русский. Подготовил и сажусь к столу экзаменаторов. А профессор Покровский говорит эдак с растяжкой: ”Что же мы будем переводить с греческого на русский?! Скучно. Давайте лучше на латинский?!”. Хотя бы предупредили, что такой поворот возможен. Но, что сделаешь?... Перевел. Но тут профессор Соболевский вставляет слово: ”Если говорить о переводе серьезно, то лучше сделаем иначе. С языка Софокла переведем на гомеровский язык...”. А это значит — с аттического на ионический диалект. Что за черт... Накануне бы сказали, мол, надо обратить внимание на диалекты. Видимо, считали все это разумеющимся само собой. Что же, стал переводить отрывок из ”Электры” на гомеровский язык. Но, скажу тебе, это было не так и трудно. Гомера я крепко знал еще с гимназии. Итак, читаю. Один из экзаменующих снисходительно роняет: ”Довольно”. А Покровский не мог удержаться от комментария, кисло протянул: ”Переводите вы ничего, ничего. Но зачем же так долго думаете?”. Ему то что? Он к тому времени сколько лет корпел над латынью и греческим. Все-таки поставили зачет. Конечно, такое колкое замечание, недовольство тобой, задевало самолюбие, заставляло стараться во всю прыть”.

Игумен Геннадий Эйкалович, Калифорния

БИБЛИОГРАФИЯ

Roger Hagglund. A Vision of Unity: Adamovich in Exile. Ardis, 1985. pp. 119; Georgy Adamovich: An Annotated Bibliography — Criticism, Poetry and Prose, 1915-1980. Ardis. 1985. Pp. 102.

Больше 15 лет тому назад Роджер Хагглунд защитил докторскую диссертацию об Адамовиче — критике и поэте. Недавно он переработал ее в книгу. А тщательно составленная библиография была издана отдельно.

Уже больше сорока лет в академических кругах "русистов" в США господствует т.н. формальный метод или, как теперь его называют, структуральный. Наложено *табу* на биографию, историю, на т.н. литературный быт или *среду*, исключается всякая оценка материала. Многие книги и статьи американских да и других западных литературоведов напоминают анатомические препараты, они лишены всех признаков жизни. Правда, есть и здоровая реакция на такую анатомию.

Хагглунду удалось извлечь из Адамовича все самое главное и ценное.

Один из отцов формализма, кн. Н. Трубецкой утверждал, что без сочувствия нет понимания. Хагглунд получил стипендию для "изучения" предмета своего исследования и год общался с Георгием Викторовичем Адамовичем в Париже. Проникся к нему симпатией и поэтому его понял, хотя и не идеализировал.

Хагглунд показал Адамовича на фоне кофейного Монпарнаса 30-х гг. и хорошо разъяснил т.н. "парижскую ноту" — тот канон простоты, который Адамович утверждал, а к нему очень прислушивались молодые еще эмигрантские поэты и писатели в Париже.

Хагглунд отмечает, что всякое вообще искусство для Адамовича не должно было быть только искусством и выделяет его статью "*Невозможность поэзии*". Это значит, что поэты должны стремиться к недостижи-

мому — к правде, любви, Богу. Без этого искусство никакой цены не имеет. Адамович был противником тенденциозной литературы, например, советской, но высказывался за то искусство, которое у французов, да и вообще на Западе, называется ангажированным. У нас оно было представлено писателями пророческого типа — Гоголем, Достоевским и Толстым, которого Адамович особенно ценил.

Хагглунд упоминает об известной полемике Адамовича с Ходасевичем. Он допускает, что Ходасевич был кое в чем прав, но и педантичен. Адамовича возмущало падение культурного уровня не только в СССР, но и в эмиграции. Правда Адамовича была в его утверждении, что этика, совесть, "человечность" куда существеннее эстетики, культуры, мастерства. И ему казалось, что именно в эмиграции есть "человечность", утраченная в СССР. И есть в эмиграции одиночество, есть свобода в уединении, без которой никакое творчество невозможно.

Р. Хагглунд сжато и метко передает все главные суждения Адамовича о русской литературе (да и не только русской). Адамович жил литературой и в литературе лет шестьдесят и можно было бы составить энциклопедию из его критических отзывов, зачастую спорных, но всегда ярких, возбуждающих мысль. Марина Цветаева издевательски укоряла его за противоречивые суждения. Но критика Адамовича тем и замечательна, что в ней можно найти чуть ли не все возможные "про" и "контра" об одном и том же писателе, к примеру, о Достоевском, которого Адамович не раз совсем "уничтожал", но и мог "отдавать ему должное".

Оригинальность Хагглунда в том, что в творчестве Адамовича в целом — как в стихах, так и в очерках — он находит *единство* (так и назывался его сборник стихов). Скажут, стихи — одно, а критика — другое, но Р. Хагглунд сумел подняться на какую-то высоту, с которой ему стало виднее, понятнее всё, что написал Адамович.

Р. Хагглунд знает, что Адамович зачастую был скептиком, умел иронизировать, разоблачал всякую маниловщину в искусстве и в религии, но, вместе с тем, всегда оставался романтиком — и был верен чему-то единственно важному, высшему; ему иногда казалось, что оно ему вдруг приоткроется —

Там где-нибудь, когда-нибудь
У склона гор, на берегу реки
Или за дребезжащею телегой
Бредя привычно под косым дождем...

Полной веры Адамович не обрел, но стремился к вере и совесть его христианская.

На Западе Адамовича мало знают. Его французская книга *"Другая родина"* (т.е. Франция, где он прожил около 50 лет) прошла почти незамеченной. Но его ценил Андре Жид. В продолжение долгого времени западные и американские литературоведы скептически относились к эмигрантской литературе. Но теперь это изменилось. Проф. В.М. Сечкарев впервые прочел курс об эмигрантской литературе в США — в Гарварде. Выяснилось, что и в Сов. Союзе есть немало читателей, влюбленных во все эмигрантское. Возник живой интерес к В. Набокову, к поэзии Б. Поплавского; в СССР зачитывают до дыр книгу проф. Г.П. Струве о русской литературе за рубежом. Читают там и Адамовича. Но наша третья эмиграция пренебрежительно относится ко всем старым эмигрантам и почти не знает Адамовича. Между тем, критики (настоящих среди "Третьих" что-то пока не видно) могли бы многому научиться у Адамовича или Вейдле.

Хорошо, что Р. Хагглунд включил в свою работу многочисленные отзывы о нем старых эмигрантов — Р. Гуля, Г. Иванова, В. Вейдле, И. Чиннова, мои, а также "средних" — Н. Ульянова, В. Маркова и др. Можно было бы упомянуть и В. Набокова, который, по-видимому, изобразил Адамовича в своем романе *"Дар"* (под именем Христофора Мортуса). Монографию Хагглунда следовало бы перевести на русский язык, у нее нашлось бы немало читателей в Сов. Союзе.

Юрий Иваск

А. Опульский. Вокруг имени Толстого. "Глобус". Сан Франциско. 1981 г.

В многотомной мемуарной литературе о Толстом мне еще не встречалось ссылок на интерес к личности писателя, проявленный со стороны маршала Клина Ворошилова. Об этом я узнал впервые из воспоминаний бывшего научного сотрудника Государственного музея Льва Толстого в Москве Альберта Опульского. Ворошилов, оказывающийся, был в конце 1947 г. начальником отдела культуры ЦК КПСС, и в этом качестве соизволил один раз навестить музей Толстого. Живо, картинно и не без юмора передает этот любопытный эпизод Опульский.

Рассказывает он и об усилиях властей по сокрытию всяких следов существования в Америке дочери Толстого Александры Львовны. Интересно и с теплой симпатией говорит он о больших трудах внучки писателя Софьи Андреевны Толстой-Есениной для охранения музея от попыток политизировать и советизировать его. Тут мы встречаем красочные, живые портреты директора музея в Ясной Поляне, Ник. Пав. Пузина и некоторых его сотрудников, там мы узнаем интересную историю случайного нахождения писем Л.Н. Толстого к Н.Н. Страхову.

С большим остроумием рассказывает автор о своем участии в организации юбилейных торжеств в ноябре 1950 г. на бывшей станции Астахово совместно с А. Твардовским, и характеризует ряд писателей "юбилейщиков" или "воспоминателей". Целая глава посвящена портретам и судьбе двух литературных секретарей Толстого, Н.Н. Гусева и В.Ф. Булгакова. Порою трогательные, порою комические сцены находим мы в описании деятельности советских скульпторов и художников, занимавшихся толстовскими темами и иллюстрациями к его произведениям. Интересны малоизвестные взаимоотношения Толстого с фотографией и кинематографом. Наконец, дает автор и попытку объяснения причин упадка роли и значения музея Толстого при последнем его директоре Н.Н. Беспалове ("храм толстоведения превратился в комбинат").

Самые трогательные страницы в книге, мне кажется, те, где Опульский защищает Толстого и Софью Андреевну от часто праздных, ищущих сенсации измышлений об их семейных отношениях. "Когда пишешь о взаимоотношениях супругов Толстых, очень легко переступить черту, которую переступать недоступно", — заключает Опульский. И с ним трудно не согласиться.

Интересно авторское сопоставление внучки Толстого Софьи Андреевны, жившей в России, с любимой его дочерью Александрой Львовной: "Первая была умна, обладала большим шармом, энергией, жизненным опытом, знанием людей. Но... не эти качества помогали ей в ее многочисленных добрых делах.... Не будь она Толстая, она была бы немошна и безгласна, как любой советский гражданин"; вторая "собственным лбом пробилась столько стен и собственными руками осчастливила столько людей, а на пороге смерти увидела свою человеческую ценность лишь в том, что она была близка к своему великому отцу".

Наконец, еще одно большое достоинство воспоминаний Опульского, довольно ярко отличающее их от множества других мемуаров —

скромный тон автора. Простым, но выразительным языком он свидетельствует о виденном. Читатель слышит голос автора, учится вместе с ним порой тяжелым урокам истории и реальной советской жизни со всеми ее несуразными, а часто и опасными поворотами.

Вл. Гребенщиков

Н.А. Дмитриева. Михаил Врубель. Жизнь и творчество. "Детская литература", 1984.

В Москве вышла книга Н.А. Дмитриевой, посвященная художнику М.А. Врубелю. Еще в 1962 г. Н.А. Дмитриева участвовала в коллективном труде "История Русского Искусства" под редакцией И. Грабаря, где в седьмом томе была помещена ее статья о М. Врубеле, но тогда она только вскользь касалась житейской стороны жизни Врубеля, стараясь не выходить за пределы художественного анализа произведений художника.

В настоящей работе Н.А. Дмитриева говорит о всех художественных и жизненных проблемах Врубеля и делает это весьма убедительно. По-новому освещает она влияние жены, воздействие музыки Римского-Корсакова на творчество художника и указывает на то, что "герои Врубеля обращены на зрителя, за пределы рамы и от них исходит какой-то властный зов", "пространства картины им словно бы не хватает". Глубоко верно замечание Н.А. Дмитриевой о том, что "подлинная стихия картин Врубеля — молчание, тишина. В молчание погружен его мир, он изображает чувства, которые не умещаются в словах". "С героями картин Врубеля происходит у зрителя как бы безмолвное душевное общение".

Заканчивая свою книгу, Н.А. Дмитриева говорит: "Токами высокого духовного напряжения пронизан мир Врубеля".

Надо приветствовать издание столь серьезной монографии о творчестве Врубеля, которая может служить пособием не только для "среднего и старшего возраста", но и для всех, кто ценит и изучает русское искусство.

Е. Климов

Странный альбом

Во Франкфурте на Майне в издательстве "Büchergilde Gutenberg" в 1984 г. издан большой альбом под названием "Тоска". В нем помещены красочные репродукции работ немецкого художника Герста Янсена. Называю это издание "странным", ибо не могу понять, в чем здесь дело. Даны портреты русских писателей — Державина, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Некрасова, Чехова, а также портреты матери Достоевского и Анны Петровны Керн, вдохновившей Пушкина на стихотворение "Я помню чудное мгновенье"; дано несколько зарисовок русских крестьян. Около портретов даны выдержки из сочинений писателя или его писем, иногда в переводах на немецкий язык.

Все это было бы неплохо, но задаешь себе вопрос: а при чем тут тоска? И почему даны репродукции не оригиналов портретов, а наброски работы Герста Янсена, и притом плохие? То глаз, то нос, то ухо попадают не на свое место, то череп срезан. И, видя все это, спрашиваешь себя: кому это надо? Если автор альбома хотел заинтересовать немцев обликом русских писателей, то не проще ли было дать хорошие репродукции с оригинальных портретов а не плохие копии.

Е. Климов

Новое Русское Слово

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ

76-й год издания. Выходит 6 раз в неделю в Нью-Йорке

Главный редактор: АНДРЕЙ СЕДЫХ

Свыше 200 сотрудников во всех странах мира. В Новом Русском Слове печатают свои произведения виднейшие эмигрантские писатели, поэты и публицисты.

Полная информация о жизни эмиграции.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: Воскресное и ежедневное издание:

один год — 90 амер. долларов

6 месяцев — 50 амер. долларов

Воскресное издание только:

один год — 35 амер. долларов

Подписку и объявления направлять по адресу:

NOVOE RUSSKOYE SLOVO

519 8th Avenue — New York, 10018 N.Y., USA.

ТРИ ТОМА ТРИЛОГИИ

РОМАНА ГУЛЯ

"Я УНЕС РОССИЮ"

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ТОМ I. "Россия в Германии". Второе издание. Текст исправленный и значительно дополненный. Много фотографий факсимиле, указатель имен, стр. 364, цена 12 долларов.

ТОМ II. "Россия во Франции". Исправленный и значительно дополненный текст по сравнению с текстом, печатавшимся в "Новом Журнале". Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 356, цена 15 долларов.

Заказы направлять по адресу "Нового Журнала": "New Review" 2700 Broadway, New York 10025.

Выходит из печати

том III



"РОССИЯ В АМЕРИКЕ"

Об эмиграции — Великий исход — На стекольной фабрике — У мадам Пруст — Шато Нодэ — Мсье Ле Руа Дюпрэ — Сережа и граф — Меринов - Шпейер из Тулузы — Ротмистр Рустанович — Пайес — Париж — Мой уход из масонства — Совпатриоты и коллаборанты — В. А. Лазаревский — С. П. Мельгунов — Виктор Кравченко — Н. В. Вольский — Б. И. Николаевский — "Народная Правда" — Лига Борьбы за Народную Свободу — "Новый Журнал" — Светлана Аллилуева — Переписка через океан Георгия Иванова и Романа Гуля — Томас Витни-Джордж Кеннан — Д. Шуб — Юлий Марголин — Полет в Израиль — К вопросу об "автокефалии".

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ (главный редактор)
Ю. Д. КАШКАРОВА и **Е. Л. МАГЕРОВСКОГО**

■
В 1986 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1986 год 35 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 10 долларов

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час дня
